вослед. А девушка стыдливо, беспокойно и радостно опускала голову. Не одно молодое сердце приворожила ее красота, не один челн вечерами приставал к татарскому броду, да ни в один из них не торопилась сесть Оксана. Никак не хватало ей времени: приходилось справляться и с женской, и с мужской работой, потому — что другое, как не свои руки, принесет в ее сиротство и кусок хлеба, и сорочку белую, и сапожки с подковками звонкими, в которых можно и горе топтать, и на людях щеголять... Даже самые привередливые хозяйки, которым не угодит ни муж, ни батрак, ни сам черт, охотились за сиротскими руками. И только неряхи пялили глаза на дивчину: полоть и то она в чистой сорочке выходит!

— Да вода-то у нас не покупная! — отшучивалась Оксана и лебедушкой проплывала между тех жадин, кто, пот и грязь не отмывая, гнался за богатством.

— Это она так парубков завлекает,— шипели завистницы, видя, что ни один из хлопцев не пропустит Оксану мимо, не проводив ее долгим взглядом.

Сама Оксана не обращала внимания ни на эти взгляды, ни на это шипение: ей надо было на кусок хлеба заработать, честь беречь!

А время шло: весной — сеятелем, летом — косарем, осенью — молотильщиком, зимой — мельником. Весна убирала девичьи головы венками, зима — позойниками. И на свадьбах подружек в душу Оксаны уже закрадывался предательский холодок: «Отчего ж я не думаю ни о ком?»

Это не любовь, а неясная тревога материнства приходила к ней прежде любви. Не раз эта тревога раньше времени толкает девушку к тому, что не стало любовью. Подсознательно чувствовала это и Оксана и все чаще по вечерам всматривалась в татарский брод, в дорогу за бродом и в Млечный Путь над миром.

Меж туманных звезд ветряки ловили ветер. Под туманными звездами лежала вся ее хлеборобская сторона, поседелая от древности, жита и полыни. И кто-то должен прийти оттуда, сказать несказанное, разбудить то, что уже, как дитя, несмело трепетало под сердцем. Юная любовь всегда начинается с ожидания. Еще не полюбив, девушка с непонятной тревогой ждет его, и чьи-то незнаемые очи являются ей из предвечерья, и чьи-то шаги слышатся ей, и кому-то на все четыре брода посылает она свой голос во тьму.

Кто придет на ее зов?

И он пришел.

Когда и в селах люди помаленьку потянулись к книге, к ученому слову, к науке, к ним из города приехал статный, со строгими бровями агроном. С его загорелого лица будто никогда не сходило лето, а из черных глаз — пытливость. Говорили, что он по целым дням приглядывался к крестьянским заросшим сорняками полоскам и все толковал с хлеборобами, как бы удвоить урожай. Легко сказать — удвоить! Как уродит, так уродит, а если нет, тогда что? Но Ярослав Хоролец верил, что и на бедняцком поле уродит не только золотая пшеница, но и лучшая доля, обращал в свою веру людей, и встречали его одни улыбкой, другие — шипением.

Впервые Оксана увидела Ярослава у своих соседей Гримичей, куда собрались на совет хлеборобы. То ли страстные слова, то ли смелые глаза его встревожили, смутили девушку. Потихоньку зашла она к Гримичам, потихоньку и вышла от них, да не было уже тишины в сердце ее.

А как-то осенним предвечерьем пришел Ярослав и к ней вместе с плутоватым Семеном Магазанником. Тот явился собирать налог, Ярослав же, и двух слов не сказавши, оставил в заклад собственную душу — девичья краса ошеломила его.

В хате без умолку трещал Семен Магазанник, набивал себе языком цену и набивался на вишневку, а Ярослав, исподволь посматривая на девушку, хмурился, словно туча грозовая. Нет, не для него расцвела эта краса. Поди нарисуй эту сдержанную гибкость стана, ее бархатистые, с изломом брови, таящие в себе и нежность, и решительность, этот доверчивый, со скифской неразгаданностью взгляд... Вот и назовут ее, красу эту, любовью или надеждой, и, глядя на нее, самому захочется стать лучше и добрее. А глаза ей подарил татарский брод, голубые, с просинью — с неожиданным отблеском осеннего неба. И чиста она, как рассветный час. А он пришел с этим плутом Магазанником взыскивать налог! Налог на красоту?.. Да как можно! Тоскливо и сумеречно стало на душе у Ярослава, и смолкло его слово, подстреленное ее красотой.

— Не скупись, Оксана, ставь магарыч! Знаю, какие чары и в лице твоем, и в бочонке ведерном,— пустословил приземистый, как тугим узлом завязанный, Магазанник с его похожим на жернов лицом и носом-грушею. — А вы что, товарищ агроном, в молчанку играете, язык прикусили? Почему не куете, не мелете? У нас не любят крепко сурьезных. У нас от гостя требуется языком вовсю ворочать, чтоб тебе и кумерция, и какая-никакая политика имелась. Это, дорогая Оксана, хе-хе-хе, такой человек, что всю науку хлеборобскую назубок знает и все, что возле нее веретенится. Вот, к примеру, у Шевчука крысы поганющие до пчел добрались, изничтожают — и все тут. А товарищ агроном возьми и присоветуй: обведи, мол, ульи красным цветом, и хочешь — верь, хочешь — не верь, а только нечисть эту как корова языком слизала.

— А красного все крысы боятся,— чуть улыбаясь, уронил Ярослав.

Магазанник и бровью не повел, только пристально поглядел на цветущую головку подсолнуха, что красовался в кувшине с водой, и вроде сам себе сказал:

— Это за разум подсолнуху голову отняли,— а потом уже без всякого подвоха обратился к Оксане: — А еще, красавица, гость твой собирается для мужика плугом счастье добыть!

— В самом деле? — удивились ресницы и надломленные брови, а в синей кручине очей притаились недоверие, улыбка и девичье лукавство.

— Истинная правда, Оксана. — На хмуром лице агронома ожил смуглый румянец.

— Да, да, не дивись!.. Видишь, какого я пахаря тебе привел, а ты что в подпечье не заглянешь и к печи ни шагу? Не варила, что ли, не пекла? — молол свое сборщик, а его веселый жульнический глаз так и прицеливался то к печи, то к полке с посудой и насмешливо измерял расстояние между чубом Ярослава и косами Оксаны.

Девушка не сводила с агронома удивленного взгляда.

«Что она думает обо всем этом и... обо мне? Нужен я Оксане как прошлогодний снег».

— Так много говорят о счастье, а его так мало на свете,— вздохнула девушка. — Каким же вы плугом думаете землю под счастье вспахать? Золотым?

— Где там! Не золотым и не серебряным, а гуртовым! — с издевкой захохотал Магазанник.

— Это что, так смешно, дядько? — сдвинул стрельчатые брови Ярослав и стал еще краше в молодом своем гневе.

— А как же не смешно? Ей-богу, смешно, если приноровить вашу, как пишут в толстых книжках, романтику да к мужицкой практике. — Магазанник не столько для агронома, сколько для Оксаны приукрасил свою речь ученым словцом и уже совсем другим взглядом измерил расстояние между чубом и косами. — Вот расскажу я вам на этот случай притчу-сказочку... Давным-давно, еще при царе Горохе, пахал поле один умник-разумник и нашел горшок с золотыми побрякушками, насилу его на воз втащил — такой увесистый. Прикрыл соломой, привез домой и все одно счастье не нашел: повадились к нему всякие ложкохваты, и от золота остался один только надтреснутый горшок. А вы хотите, чтоб вся наша голь перекатная в люди выбилась. Да на всех и солнце светить не хочет: тоже свое понятие, реализм и политику имеет... Ну, мечи, Оксана, из печи хоть на ужин, так какую ни на есть бурду, надо не только языку, а и брюху дать работу.

— Ох, вы и скажете... — поморщилась Оксана.

— А вы, товарищ агроном, с каких позиций смотрите на ужин?

— Спасибо, я не голоден.

— Напрасно отказываетесь, ей-богу, прогадаете! — не унимался Магазанник. — Оксана хоть и сирота, а хозяйка что надо. У нее овсяный корж и тот, как месяц, сияет. Я к ней давно по-соседски присматриваюсь,— и так подмигнул своими зелеными с песчаником глазами, что девушка сникла. — А из каких исходя принципов смотрите вы на стаканчик-другой хотя бы маломощной медовухи? У нашей невесты и это есть.

— Я не пью.

— Нисколечко? — не поверил Магазанник.

— Пока бог миловал.

— Уж больно вы идейные. — На грубом лице Магазанника мелькнуло недовольство, резче обозначились глубокие морщины на тяжелом лбу. — С такой идейностью, натурально, можно и с копыт долой.

— Вам этого бояться нечего, — осуждающе бросил Ярослав,— вы своими копытами из подземелья все выбьете.

— Не глубоко ли вы, ученые, копаете? — вскипел Магазанник.

— Уж как умеем. — Терзая себя, растревоженный девичьей красой, Ярослав поспешно вышел из хаты, омрачившей свет его молодой души.

По старинному обычаю девушка должна была проводить хлопца до порога или до крыльца. Колеблясь, Оксана вышла за Ярославом в сени. На них плотно налегла темень, охватил запах висевшей на перекладине привядшей калины, окутала тишина, и в ней было слышно, как брод подает голос броду.

— Может, и правда поужинаете? — смущенно спросила девушка.

Он ощущал ее дыхание, чувствовал нежную, трепетную молодость, калиновый хмель ее волос и не знал, что с ним делается и что ему делать...

— Спасибо, Оксана,— сказал сдавленным голосом, дернул дверь, и его обдало росистым дыханием вишенника.

На пороге помолчали, неумело попрощались, и Оксана со страхом почувствовала, что встретила свою судьбу. Вот так и приходит *оно* — на радость или на горе — и склоняет к себе доверчивое девичье сердце.

За порогом густой синью курились берега, за порогом волновалась осенняя вода, подмывая звездный небосклон. Он пошел к этой неспокойной воде, где глухо стонали привязанные челны и где с чьего-то весла стекали капли воды, отсчитывая минуты вечности.

В думах о нем Оксану потянуло к броду.

...Гей, броде татарский, яворы и калина на сережках да челны у самых звезд, а счастья так мало...

— Кого поджидаешь? — вышел из хаты Магазанник, осторожно положил руку на девичье плечо. — Хе-хе-хе, и тепло, и силу чуешь!

Оксана брезгливо сбросила его руку и в сердцах отрезала:

— Если ваш язык покоя не знает, так хотя бы рукам воли не давайте.

Магазанник не обиделся, а вздохнул.

— Нет хуже на свете, чем быть вдовцом. Только сунься приласкать кого — сразу по рукам! А когда был я парубком, так и меня по вечерам искали чьи-то очи, чьи-то руки...

— Тогда, видать, дядько, и глаза ваши, и руки искали чью-то ласку.

— А что ж они теперь ищут?

— Целковый! — словно нож, всадила слово и скользнула мимо, обдав его дуновением чего-то непознанного, недосягаемого, перед чем стали в тупик его изворотливость и наглость.

— Вот оно что, тихая ты, да не очень,— пробормотал уже ей в спину и почему-то положил на двери руки, посмотрел на эти темные ковши, стиснул их и почувствовал, как в душе отозвались

тоскливая тяжесть прожитых лет. «Разве я такой уж старый? В Польше куда более старых называют кавалерами. Вот только Степочка у меня...— впервые с неприязнью подумал про свое хитроватое чадо.— Не будь его, может, тогда и Оксана не въедалась бы с этим «дядько». Да, бесовская это порода женщины, а мы все равно стоим перед ними попрошайками...»

Ярослав больше не заглядывал в ее хату. Оксана еще несколько раз видела его в селе, но он, здороваясь, мрачнел, отводил от нее потемневший взгляд и сразу куда-то исчезал: почему-то у агрономов никогда не бывает времени.

И щемило девичье сердце, и куда-то пряталось то, что, как дитя, робко шевелилось в груди.

А время шло: то стекало с рыбачьего весла, то поскрипывало в крыльях ветряка, то отлетало вдаль птичьей стаей.

Миновала осень, отбушевала вьюжная, метельная зима, настала тревожная пора ряста — пора цветения и отцветания. И тогда снова же от Семена Магазанника Оксана узнала, что Ярослав собирается уезжать из села.

— Как это уезжать? — невольно вырвалось у нее.

Магазанник насторожился, над его тяжелым лбом нависла тень.

— Натурально как: в район — на возу, в округ — балагулою[1], а дальше поездом. Наговорил, растревожил, разбередил сердце, посулил два колоска вместо одного, а сам подальше от мужика. Оно и понятно — книгу легче листать, чем землю пахать... А у тебя часом сердчишко не ёкнуло, не затряслось, как заячий хвост? А?

— Помолчите, дядько.

— И помолчал бы, да любо мне с тобой словом перекинуться... Что ж ты меня на пороге держишь?

— Я уже налог заплатила...

— Боишься, что мои глаза попасутся на твоем личике? Не бойся. А ты не приметила, промежду прочим, что я хоть и вдовец, а добро имею не конечное и хозяюшку мне искать надо?

— Вот и ищите вдову с хозяйством. Будете вдвоем копеечку к копеечке в рубли складывать!

Магазанника вдруг свело судорогой, и в зеленоватых щелках глаз его резче обозначились серые песчинки.

— А я подожду, пока ты вдовой станешь, у меня еще время есть,— пробормотал под конец.

Но до Оксаны не дошел смысл его зловещих слов, испуг пришиб, ошеломил девушку. Как удержать, приворожить Ярослава? Неужто он позабудет ее? Хоть бы еще разок пришел... налог, что ли, требовать. Ведь ей же нельзя прийти к нему! Она пересилила б, переломила б свою гордость, но кроме гордости есть еще девичий стыд, от матери унаследованный, от вековых обычаев, от песни, от калины в лугах и приворотного зелья в лесах... Все это так, да на душе не легче.

И тогда Оксана вспомнила полузабытое предание, услышанное от деда Корния. Однажды вечером старый звонарь рассказывал, что некогда девчата колоколами привораживали сердца парубков... Почему б и ей не попытать счастья! Хоть и не слишком верит она в ворожбу, да хуже, верно, не будет. Не пережить ей разлуки с Ярославом...

Когда затих приселок и когда, казалось, выше стали деревья, удлинились тени от них, девушка черпнула из криницы ковшик чистой воды, завернула его в платок и крадучись непроторенной тропкой пошла в село. Так надеялась никого не встретить... Да не убереглась: из корчеватого ольшаника с бреднем на плече вышел кряжистый Стах Артеменко, самый сильный парубок в селе. С шести лет он, словно перекати-поле, катится с места на место, чтоб заработать на кусок хлеба. Гнули его чужие холодные десятины, чужие горячие плети, чужая скотина, черная злоба да безжалостная скаредность, что из детской слезы может выжать медный грош. Но наперекор всему Стах набирался силы, как дуб в поле, только в больших глазах его затаилась полынная печаль степей. Узнав Оксану, удивился, обрадовался, и грусть всколыхнулась в его подобревших глазах.

— Куда это ты, Оксана, на ночь глядя?

— В село...

— Ужин кому-то несешь? — кивнул на узелок.

Оксана молча опустила голову.

— Есть же счастливые люди на свете! — из самой груди вырвался вздох у хлопца.

— Это о ком ты, Сташек?

— О том, кому ты ужин собрала.— Прикоснулся рукой к ее узелку, поправил бредень на плече и с той же неутоленной тоской во взгляде свернул к татарскому броду.

И Оксана, жалея его, оглянулась и вспомнила, что, куда б она ни шла, Стах издали украдкой всегда следил за ней, и тоже вздохнула с жалостью к нему, с жалостью к себе.

Над тихим миром разливалась-курилась звездная мгла. За татарским бродом, на пустоши, бродил низом туман. Утонув в нем по грудь, там паслись уставшие за день в борозде кони, пахнувшие молодой мятой и пахотой. Знакомый мир то замыкался, то распахивался перед ней, обдавал то страхом, то надеждой. Полная неясных чувств, Оксана дошла до высокой громобойной колокольни, молчавшей все эти дни страстной недели, как молчали когда-то в эту пору апостолы. Внизу, в звоннице, хранилось зерно и были заперты образа святых с лицами запорожцев и при оружии. По велению владыки они были выдраны в свое время из старинного иконостаса.

Вверху, близ колоколов, притаились весенние ветры. Оксана плечом налегла на дубовые двери. Они заскрипели, вспугнули эхо, а оно — летучую мышь. Сгустком темени она метнулась над головой, испугала Оксану, и вода из ковшика плеснулась из

---

[1] Балагула — крытая повозка

землю. Недобрая примета. Идти или не идти к этим поднебесным колоколам? Оксана в раздумье прислонилась к дверному косяку и, преодолевая страх, стала с опаской подниматься на колокольню. Снизу, из подпола, пахнуло прелым зерном, старыми хоругвями, залежалым воском, а сверху донеслось перешептывание пересохших досок.

По скрипучим ступеням Оксана добралась до самого верха. Колокола чутко отозвались на ее шаги, будто собрались заговорить с ней. Самый большой из них чем-то походил на деда Корния, когда тот в потемневшем соломенном брыле выходил из степного предвечерья.

С вышины Оксана взглянула на землю. Таинственная, словно недосказанная сказка, она поднимала ввысь синеющие, в зоряной россыпи, хаты, подпирала небо сильными руками яворов. У самого леса, точно цвет папоротника, расцвел одинокий огонек, потускнел на миг и вновь раскрыл встревоженные лепестки. Кто там у одинокого огня греет руки или душу, а быть может, кличет любовь? И, может, в самом деле любовь, таясь, спешит навстречу любви, чтоб испытать ее пьянящий хмель в ночи и жалость расставания на рассвете — все то, что испытали сестры ее.

Подумав об этом, о счастье своих подруг, Оксана сникла, и ворожба показалась ей суеверием. Ну и что с того, что она сбрызнет колокол водою и взмолится:

«Колокол мой певучий, колокол голосистый! Как бьется твое сердце, так пусть забьется сердце Ярослава, как все слышат тебя издалека, так пусть услышит меня Ярослав, как ты завораживаешь, призываешь к себе людей, так заворожи, призови ко мне Ярослава...»

Но разве может мертвая медь призвать любовь, если не призвало ее даже сердце?

Не судьба, видать. Не судьба...

Оксана снова с мукой посмотрела на землю — теперь она куда-то плыла, и с нею вместе плыли синеющие, в зоряной россыпи, хаты, выбеленные туманом дороги, развесистые купы деревьев, и в безвестность плыла звонница со смолкшими ветрами, со смолкшими колоколами, ждущими пасхального дня. Девушка, прощаясь, как к живому, припала к большому колоколу, и он что-то зашептал ей. Вот только что? Ведь колокола хранят в себе и праздничные, и погребальные голоса. Постояв еще с минуту в этом медном окружении, Оксана, как в забытьи, стала спускаться вниз. Пред нею шевелилась темень, вокруг нее сновал цепкий страх. Вот бы теперь повстречался ей Стах — все было бы спокойнее. И вдруг за речкой зацвел золотой куст костра. Не Стах ли это освещает ей дорожку?

За ветряком, видневшимся на кургане, всходила поздняя луна. Рассеивая росу, она раскачивала тени и заговорщически посматривала на землю. Скрестив на груди руки, Оксана умоляюще обратилась к луне, и та ласково улыбнулась ей. Этого было достаточно, чтобы девушке повеселеть и уже примиренно остаться наедине со своим одиночеством.

Неподалеку от татарского брода, где вставал на цыпочки низинный туман, показалась фигура человека. Доброго или злого? Оксана замерла и не поверила собственным глазам: навстречу по нехоженой тропинке шел Ярослав. От неожиданности он в изумлении остановился, нахмурился, но в девичьих глазах светилась не вина, а сама любовь. Значит, так хорошо было Оксане коротать с кем-то ночку, что даже тень смущения не легла на ее лицо! Кому же светят эти очи-зори?

— Разве можно, Оксана, ходить так поздно? — сказал с укором. — Уже скоро первые петухи запоют!

— Я люблю, когда петухи поют, они людям зарю выпевают,— доверчиво поглядела на хлопца и безотчетно потянулась к нему.

— Вот это так! — оторопел Ярослав, а потом грубо, чтобы смутить ее и приглушить свою боль, спросил: — А еще кого ты любишь?

— А вам разве не все равно? — улыбнулась она грустно.

Ярослав в душе выбранил себя за грубость.

— Не все равно, Оксана, да ведь ты не признаешься.

— И не сказала б, а должна.

— Как так?

— А что поделаешь? Ведь вы, говорят, уезжаете от нас,— и с тоской смотрит на Ярослава и на туман, что стоит за ним.

— Ну, так что же, Оксана? — У Ярослава дрогнул голос, и теперь уже он безотчетно потянулся к ней.

— А вправду едете?

— Еду...

— Ох!..

Черные птицы рванули ее за плечи, за грудь. Не с той ли колокольни, где она напрасно надеялась приворожить к себе Ярослава, прилетели они? Борясь со слезами, Оксана отвела взгляд от брода, где бежала-играла вода — догоняй не догонишь...

— Ну, так что же, Оксана? — Несмелая надежда зародилась в его душе.

Подавляя боль и стыд, она потупила взгляд:

— Вы уедете, а я буду сохнуть по вас.

— Ты что говоришь! — едва не вскрикнул Ярослав. — Не может этого быть!

— Почему ж не может? — обронила, точно в сновидении.

— Да ведь ты красавица писаная!

— И что с того?

Ярослав посмотрел ей в глаза: не прячется ли там насмешка? Но они смотрели открыто и прямо.

— В самом деле будешь сохнуть по мне?

Оксана оглянулась вокруг, на травы, дремавшие в ночном мерцании, на голубовато-серебристый сон, который луна навевала на землю.

— Целый свет видит, что вы первый, перед кем я открылась!

— Оксана, Оксанка, Оксаночка!.. — склонились над ней его удивленные и радостные глаза, а боль-

шие руки несмело взлетели, застыв над ней, словно крылья ветряка.

Девушка испугалась, что руки эти могут улететь от нее, а он страшился, что она отшатнется от них. Потом руки его, будто само счастье, скрестились на ее плечах, охватили ее, подняли вверх, и в слезы ее смущения брызнуло лунное марево. Неужели это правда? Неужели не сон? И словно сквозь сон услышала шепот:

— Оксана, Оксанка, ты ли это?

— А разве я с кем-нибудь другим схожа? — уже радостно лукавил ее голос, и смущался, и дивился, что умеет лукавить.

На шелковые травы упали ее косы. Ярослав одной рукой держал ее, а другой перебирал и рассыпал эти тяжелые косы и пьянел от их пахучего хмеля, от ночной росы, обрызгавшей их, от волны, бившейся в татарском броде...

Ой, брод татарский, яворы да калина на твоих берегах да любовь, не знающая берегов...

II

За шесть лет она родила ему двоих голубоглазых сыновей. Когда в клубе отмечали рождение их первенца, председатель сельсовета Геннадий Шевчук очень хотел, чтобы ребенка назвали Карлом — в честь человека, давшего миру «Капитал». Но Оксанина тетка Марина умоляюще протянула к сельчанам свои испятнанные разноцветными красками руки:

— Люди добрые, нет у нас капиталу, и не надо нам его, и не хочу я, чтоб племянника моего родного так звали. Разве он к нам от шведов прибился?

— Ты мне, старая, не путай шведских Карлов с международным коммунизмом! Ты еще английских Генрихов вспомнишь нам! — свирепо взглянул на нее Шевчук. — И разве ж я про тот капитал говорил, что в мошне лежит? Я про тот, что к науке принадлежит! А сына можно назвать и Владимиром. Что на это мама скажет?

Шесть лет как один благословенный день прожили Ярослав с Оксаной. Было у него счастье и в широком поле, и в своей опрятной хате, где во всякую пору года пахло зерном и калиной. А на седьмом году, когда он в грозу подплывал к дому, в татарском броде его настигла вражья пуля, прошила насковозь и ушла под воду. Ярослав сперва услышал ее всхлип, а уже потом почувствовал боль. Не понимая, что с ним, оперся руками о весло, поднялся в лодке во весь рост и вошел головой в небо. Оно легло на плечи, он придержал его, узнавая и уже не узнавая движения света, земли, воды.

Вздохнула волна, и вздохнул Ярослав, и перед ним встал вечер, когда он встретился с Оксаной, когда перебирал ее упавшие в туман косы. А теперь почему-то все туманится перед ним, и во мраке развеваются косы Оксаны.

Неужто вот так приходит небытие?.. Еще ж не нажился он на свете, не нажился...

Блеснула молния, в ее призрачном свете качнулось поле красной пшеницы, над которой бился несколько лет... Если он может думать о пшенице, то это еще не смерть. Вот только сердцу стало тесно в груди и яркий цвет пшеницы режет глаза. Хотелось пить. Он лег на дно лодки и почувствовал, как вода относит куда-то то ли чуб его, то ли жизнь...

На челне и принесли Ярослава к Оксане. Из челна лилась вода, из человека вытекала кровь.

Падая на колени, припадая к рукам Ярослава — из них уже ушло тепло, — так заголосила, затужила, сердешная, что душа человеческая еще на миг задержалась в хате. Ярослав едва разомкнул отяжелевшие веки и увидел черные слезы на глазах Оксаны. Почему ж они черные, а не синие, как цвет льна?.. И косы ее черными стали. Почему не играет на них солнце?.. И почему все отходит, удаляется от него — и глаза, и слезы, и косы? Неужто так прощаются с миром, где есть любовь, дети, красная пшеница, и челны, и солнце?.. Гром покачивает затененную хату, хату, не кинувшую тень ни на единого человека! Ни на одного!.. И хата его будто оказалась на реке, поплыла, как челн, а слезы Оксаны пролились росой... Прощайте, очи, прощайте, косы, прощайте, сыны! Как же доведется вам без отца на белом свете, на черной земле?..

И уже не наяву, а в неясном видении представилось все Ярославу, и не голос, а словно сама душа звучала в его словах, обращенных к жене:

— Не плачь, Оксана, не надо. Пусть не истекают твои звезды слезами. Слышишь? Нагнись ко мне, сам я уже не могу. Я любил тебя на этом свете, буду любить и на том. Только ты не вдовствуй, выходи замуж, дети ведь... Мое время прошло.

И время остановилось в его глазах, и она стала вдовой.

Хватаясь за стены, за двери, ничего не видя от горя и слез, она еле выбралась из хаты, за которой глухо стонала волна. Все, что открылось перед ней, показалось бескрайней пустыней. Земля уходила из-под ног. Оксана потянулась к небу, простерла к нему руки. Туча, повиснув над бродом, погрозила ей огненной розгой, а потом заплакала на весь свет: она тоже поняла — не стало человека.

Из хаты выбежал ее старшенький, прижался к маминым коленям, охватил их ручонками.

— Мам, а почему папа наш все молчит? — спросил испуганно, еще не ведая, что такое смерть и что такое людская злоба...

В селе кто-то пустил слух, что Ярослава подкараулил Семен Магазанник, или, как прозвали его в селе, Черт со свечечкой. Но сразу же нашлись свидетели, удостоверившие, что, дескать, в ночь убийства они вместе с Семеном были в округе, где он сбывал самодельные шерстяные покрывала, которые ткала его пугливая, как огонек свечки, покойница жена.

Всю жизнь Семен Магазанник в будни рвался к богатству, в праздники — к святости. С богатст-

вом у него из-за большевиков не вытанцовывалось, а со святостью — переборщил. Раньше, куда бы Семен ни шел, он брал с собой свечу, ставил ее не только перед богом, а и перед нечистью. Вот и прилипло к нему прозвище Черт со свечечкой.

Правда, когда и тугодумы взяли в толк, что загранице со всеми скоропадскими, деникиными и врангелями не одолеть молодую державу, пронырливый Семен успел перестроиться. Он сбросил личину святости, втихомолку распродал лошадей и волов, большое хозяйство свернул до маленького, разницу обратил в николаевские золотые и перелицевался из богатеев в маломощного середняка. Строя из себя активиста, он хитростью втерся в доверие, горлом и нахрапом добывая себе всяческие выгоды.

— Сейчас нейтралом жить нельзя, потому — эпоха! — просвещал он при жизни свою вконец забитую им покойницу жену. — Сейчас главное — идеи и пропорции: кое-кого надо гробить, кой-кому насолить, а кой-кому надо и «ура» кричать. Вот тогда до чего-нибудь и докричишься. Ну, и еще одно помнить надо: где нельзя перепрыгнуть, там услужи, превознеси, поклонись — от поклонов горба не наживешь. Политика дело хитрое и тонкое, все равно как золотая нитка. Политика кого угодно может через решето просеять. Что ж ты молчишь? — наливалось злостью его похожее на жернов лицо.

Жена из шелковистой льняной кудели или из шерсти тянула бесконечную нитку, прислушиваясь к гуденью сада, где уже бродил сок в деревьях, и тоскливо думала о своей горькой судьбе: почему не повстречался ей хороший человек, без кротовых тайников в голове, без злой искры в груди, с честной перед богом и людьми душой? С какой любовью встречала бы она его, когда б он возвращался с поля или луга! Как бы жалела, как оберегала бы его, повиликой вилась вокруг! С какой бы нежностью баюкала у груди тугие узелочки, приносящие сперва радость, а потом старость! Да не выпало ей это простое бабье счастье. Магазаннику нужен был только один ребенок. При своем хитроумном муже она сделалась не хозяйкой в доме, а лишь скорбной в нем тенью, без слов, без песни. Когда Магазанник бывал навеселе, он долго приставал к ней: почему с ее ангельским голосом она не поет ни ему дома, ни перед образами в церкви?

— Когда-нибудь запою,— отвечала она угрюмо, отводя погасшие глаза, сдерживая наплывающие слезы.

— Дура баба! — злился Магазанник. — И богу известно, что слезы — это вода. Говорю, лучше спой!..

Запела она уже перед смертью, да так запела, что и у Магазанника пробудились совесть, жалость и страх: беспрестанно думая о своей золотой нити, он оборвал нить ее жизни.

Вскоре эта его золотая нить политиканства стала приносить Семену выгоду, и люди начали побаиваться новоиспеченного «активиста». Прячась за крикливыми лозунгами, он мог проучить и прижать любого не слишком изворотливого односельчанина. На это у Магазанника хватало и ловкости, и наглости, и жестокости.

Долго присматривался к этому плутовству старый Мирон Магазанник. Отделив сына, он переселился на хуторок и не мог нарадоваться пасеке, саду, небольшому пруду, где напевно журчала вода и плескались утки да чирки. Вечерами, когда затихали пчелы, он в неизменном своем кожухе подходил к воде, садился напротив кладки, настланной поверх изъезженных колес, и прислушивался, как молодицы в подоткнутых юбках, торопясь, стирали и полоскали белье.

Над водой гулко раздавались голоса, сочно хлопали вальки, и красиво вырисовывались женские фигуры в грубых полотняных сорочках. Время от времени какая-нибудь молодица проворно бросалась к берегу, поднимала с травы беленький узелок, агукая или напевая, прижимала его к себе, и младенец, причмокивая губками, вбирал материнское молоко и лунную дрему.

Вот нарисуй такой вечер — и мать, и дитя, и грудь, вымытую, обрызганную росою и лунным полусном,— и призадумаешься, что такое быстротекущая жизнь и как надо ее ценить. Однако за мелким плутовством человек теряет великое в себе и перестает быть человеком. На глазах терял человеческий облик и его сын. Насмотревшись и наслушавшись всякой всячины о Семене, старик больше не заходил к нему в село — стыдился людей. А сын приезжал на хутор только для того, чтобы набрать для тайной продажи сушеных фруктов, меду. Ох, жадность и эта хитрость! Не приведут они к добру!

Как-то, в сочельник, когда отец был еще жив, подвыпивший Семен привез ему ужин: узвар, кутью и связку вяленых, будто потемневшее золото, лещей. Открыв скрипучие двери, он сразу нырнул в густой праздничный полумрак, где все жило таинственной жизнью: и мерцающий свет лампады, и разомлевший трепет восковых свечей, и притаившийся огонь в печи, и строгость исхудавших святых в божнице, и в красном углу шорох ржаного снопа, которому снилась свежая борозда, и он тихо стекал зерном на пол.

Все это сразу напомнило Семену те далекие годы, когда он был ребенком и ждал, словно счастья, первой звезды в сочельник: как только затеплится она, из хаты выходила тихая, с глазами-васильками мать и, улыбаясь, кланялась, приглашала мужа и сына ужинать. Господи, какая же у него была мать, а он при жизни ничем не порадовал ее.

Горечь, ощущение чего-то невозвратимого, навеки утраченного сжали сердце, боль коснулась отяжелевших век, и Семен почувствовал, как от него начали отслаиваться наросты нечисти. Сколько ее накопилось за годы! Он хотел посмеяться над собой, но из этого ничего не вышло, не насмешливая, а растерянная улыбка скривила губы. Что же так растревожило его? Далекая праздничная вечерняя звезда или воспоминание о матери? Она так ждала

от своего дитяти только хорошего... Но дитя растеряло все материнские надежды и вряд ли соберет их.

Из боковушки вышел нарядно одетый отец, в руке он держал пучок какого-то сушеного зелья — то ли для горилки, то ли для чая, так как ни того, ни другого питья старик не чурался. Годы пригнули его плечи, а на голову пала зима. И Семен, прогнав минутную слабость, чувство жалости, степенно поздоровался, учтиво подал вечерю, а вдохнув запахи хаты, удивился: на свежевымытом дубовом столе стояло двенадцать постных блюд, вбирая в себя колеблющийся отсвет полутьмы.

— Даже саламаха. Кто это вам так ладно все приготовил?

— Василина. Такая молоденькая, а уже овдовела.

— Не надо было замуж выходить за бандита! — сразу смел с души смягчение, ибо для чего оно? А сам вспомнил круглолицую, полногрудую вдову, что-то прикинул в уме.

Отец уловил тайную греховную мысль, и на высоком его лбу резко обозначились морщины.

— Разве она могла знать в той метели, что муж ее станет бандитом?

— Надо было знать! — в голосе Семена зазвенело жесткое равнодушие.

Старик нахохлился, словно птица в непогоду.

— До черта умными вы стали! А я разве знал, что ты будешь разбойничать у немецкого блюдолиза Скоропадского?

На лице Семена проступили яркие пятна румянца.

— Как у вас, батько, язык поворачивается такое говорить, да еще в сочельник?

— Не я святой вечер сделал грешным, — ответил отец и разлил в граненые чарки настоянную на травах водку.

Сын одним духом опустошил чарку, хекнул, вытаращился на богов — они ожили, заморгали пересохшими ресницами — и запихнул в рот кусок свежеиспеченного хлеба. Потом, заливая то ли тревогу, то ли совесть, опустошил вторую.

— Чего вы, батько, сегодня такой нетерпимый? — исподлобья глянул на отца, сидевшего в красном углу, у снопа ржи. Седые колоски дремотно спадали на седую голову, на свежую полотняную сорочку, но старику, видно, было приятно чувствовать эту добрую тяжесть.

— Чего? — переспросил, а мысли его витали где-то далеко. — Давно хотел как на духу поговорить с тобой. Непонятным, чужим становишься ты. Для чего тебе грехоплутствовать, обманом жить? Кто тебя неволит топить и свое хозяйство, и людей? Только не петляй, правду говори хоть теперь, когда я уже по дороге к богу.

— Это почему же? Вы как дуб-долгожитель, — выжал Семен слова сквозь обиду и снова потянулся за водкой.

— Не хватит ли?

— Думаете, горилка неверная девка? — Прищурился на старика и, морщась, выпил чертово зелье. — Ху!.. Значит, вам очень хочется знать правду?

— Только правду. Смотрю я иногда, как ты пакостишь вокруг, и сомневаться начинаю: мой ли ты сын?

— Я, батько, ваш сын, — ответил тихо и опустил голову. — А грешным меня делают предательская судьба и страх.

— Какой у тебя страх?

— Страх гетманщины — раз и новой власти — два. Это вы мудро сделали, что своевременно отделили меня. А то несколько десятин и отхватили бы у нас.

У отца тоской наполнился взгляд, беспокойно забились густые ресницы, что и до сих пор не поседели.

— Лучше бы у меня не было этих нескольких десятин, а был бы сын, ты ведь у меня один остался... Для чего надо было изводить скотину, которая мне, а потом тебе работала бы на хлеб?

— Так надо, батько, чтобы не дразнить завистников. Бедность никогда не понимает богатства. А разве я не дотянулся бы до него при другой власти, уважающей рубль и прибыль. Пристало ли мне хозяйничать на считанных десятинах? Я бы и с сотнями управился. У меня земля не отлеживалась бы, а работала, как батрачка.

Сумерки легли на иссушенное лицо Мирона.

— Не гонись за богатством — искалечишь жизнь или превратишь ее в бумажки, а они не принесут ни здоровья, ни радости.

— Будто вы не гнались за ним?

— Потому и остерегаю тебя. Смолоду и меня, глупого, один черт впихнул в пакость — это когда я начал чумаковать, — и уже не соль, а деньги стали слепить глаза. Вот и научил меня безрогий, как мошенничать деньгами, ибо цены тогда на золото и ассигнации у нас и на юге до какого-то времени были разные, значит, разницу можно было положить в карман. Наверное, так оно всегда бывает: бумажки имеют цену до времени, а над золотом и время бессильно. Торговля могла бы продырявить мою душу, да спасли меня несчастье и счастье.

— Как это — несчастье и счастье? — недоверчиво шевельнул Семен бровями и усами.

— Ты же знаешь, как судьба забросила меня в Болгарию, воевать с Осман-пашой. Тяжелые это были бои и трудные дни. На Шипке я и Георгия заслужил — самое большое свое богатство, там и свинца такую порцию получил, что хватило бы и на последнюю вечерю. Не одну ночь в госпитале чувствовал, как *она* с косой подходила ко мне. Вот тогда, когда находился между жизнью и смертью, было время подумать, что такое суета сует. А потом, уже дома, битого, продырявленного, встретило меня на пасеке счастье — та девушка, которая стала твоей матерью. Это она любовью своей и боли мои утолила, и от торговли отвадила, и наказала держаться только земли и жита — ведь без хлеба мы ничего не стоим. С нею мне везло в поле, везло и в лесу, и со скотиной, и с пчелами.

Правда, хозяйничать не пришлось на голом месте: оставил твой дед и волов, и десять десятин. Другим, падким на торг, целковый весь век спать не давал. А я спал спокойно, и чаще всего снились мне жито и волы. Отходит их время, отходит и мое... Да хватит об этом. Говори о страхе.

Семен провел рукой по лбу, разгладил морщины недоверия, хотя и позавидовал спокойным снам отца. Где их только прикупить?

— Да что о нем? Службу свою у гетмана прикрываю, как могу, активничаю, прижимаю людей, чтобы самому не пойти на дно.

С болью заглянул в молодые годы. Они приблизили к нему те виселицы, у которых и он гарцевал на коне, когда вешали других. Давно уже пропал тот конь, погибли и люди, а страх не покидал его. И по сей день встают перед глазами погибшие, и по сей день, будто живой, видится красавец командир с редкой фамилией — Човняр. Как убивалась по нему молодая жена, как плакало у ее груди дитя, словно и оно что-то понимало, как без слов стонал, поднимая руки к небу, седой отец. Смерть и горе людское столкнулись у виселиц, и неизвестно, что было сильнее... А вечером, выискивая добычу, Семен нежданно-негаданно приплелся во двор старого Човняра. У тына лежало несколько занесенных снегом челнов и срубленные ивы, что пойдут на челны.

В хате молча сидели убитые горем люди, а на столе лежало шесть с восковыми свечами буханок хлеба — столько было сегодня повешенных. От его шагов вздрогнули огоньки свечек и всхлипнуло дитя на руках овдовевшей сегодня молодицы. «Баюшки-баю»,— прошептала она сквозь слезы, и дитя потянулось к груди. И тут жизнь и смерть стояли рядом.

Суеверный страх охватил Магазанника, он отвел взгляд в сторону и быстро направился к дверям.

— Хлеба святого возьми на дорогу.

Он оглянулся. Старый Човняр поднялся из-за стола, подал ему буханку, с нее то ли воском, то ли самой печалью стекала свеча. Десятки молчаливых глаз взглянули на пришельца. Взглянула и жена командира. Магазанник почувствовал, что она узнала его. Торопливо выхватил хлеб из рук старика, а горячий воск ожег не только пальцы, но и будущее. Держа хлеб перед собой, Семен выскочил во двор, где мерзли занесенные снегом челны. На них уже не поплывет молодой Човняр, разве что когда-нибудь, через годы, дитя его поднимется в далекие рассветы по дороге отцов своих. Вечер сразу же погасил свечу, как день погасил жизнь...

Неужели все это было?

Сейчас Семен боялся смотреть даже на своего отца: чем-то он напоминал старого Човняра... Грехи наши тяжкие, когда-то их можно было отнести в церковь, получить всепрощение. А перед кем теперь откроешься и станет ли легче после исповеди? Поэтому и вертишь жизнью, как цыган солнцем, да этого не понимает даже родной отец, ничего не понимает, он все еще радуется пчелам, скотине, земле.

Долго смотрел старик на сына, а потом с осуждением сказал:

— Очень хитро надумал ты вертеться и изворачиваться! Рано или поздно придется расплачиваться за страх и содеянное зло. Сначала страх точит чью-то кровь, а потом доберется до твоей!

— Авось перемелется. Все теперь изворачиваются, как могут, и дворянин, и крестьянин.

— Изворачивайся в торговле, а людей не тронь. К чему тебе их слезы? Не зря говорят: кто варит лихо, тот будет хлебать беду. Я в свое время под Плевной с турками воевал. Чего ж ты со своими воюешь?

— О ком вы?

— Об агрономе Ярославе. Вот человек!

— Слишком далеко зашло у нас с этим человеком.

— Пойди к нему, повинись, может, и поладите.

— Поздно, батько. — Тяжело поднялся из-за стола, поклонился образам, торопливо перекрестился.

— Так и получился у нас святой вечер грешным. Неужели и в моей хате между нами палачом стоит страх?

— Да, батько. И никуда нельзя скрыться от его безжалостных, тяжких жерновов. — Семен, насупившись, стоял перед отцом и проклинал судьбу, что забросила его к гетману Скоропадскому. Потом пожалел: зачем было доверяться старику? Хорошо ему говорить! Ведь он был в Болгарии гренадером, а ты на своей земле карателем.

Отец набросил на плечи кожух — после ранений вечный холод морозил его — и уже на пороге остановил сына:

— Одно тебе могу сказать — опустошишься, как трухлявое дупло, если не перестанешь обижать людей. И не жни, чего не сеял.

«И не жни, чего не сеял»,— лишь губами повторил Семен, вздрогнул, ибо снова всколыхнулись призраки прошлых или позапрошлых дней.

— Это ваши слова?

— Нет, партизана Михаила Чигирина. — Старик показал рукой на сноп в красном углу: — Неужели у тебя уже нет любви к житу, к красному маку в нем?

Семен посмотрел на колоски, а за ними встало лето.

— Нет, жита я люблю, особенно когда они созревают. — Семен и в самом деле любил те сизо-серебристые всплески, что бежали-колыхались до самого горизонта, наколыхивая молодое зерно.

— Вот и держись плуга, а не болтай языком, а то как сползешь с земли, не за что будет держаться. Слыхал, что ты из жизни делаешь бестолочь да слишком распускаешь язык и осуждаешь людей. Разве забыл, что слово есть бог, а не суд?

Семен запомнил это, а отцу ответил:

— Легко вам такое говорить, когда живете в стороне от людей, а ближе к пчелам.

— Сам кошевой Иван Сирко на старости лет недалеко от Сечи был пасечником и не журился. А тебе надо зажуриться.

— Почему?! — снова вспыхнул Семен.

Глядя мимо него, отец ответил:

— Вижу, что на тебе, догадываюсь, что в тебе, а что останется после тебя? Подумай и над этим: всем нам не миновать своего последнего пристанища.

Не по себе стало Семену в этот странный свят вечер. Он отчетливо увидел кладбище с яблонями и вишнями, где и ему придется лежать. И ясно ощутил, как что-то повернулось в его душе, стараясь оторваться от тех хитростей и мерзостей, в которых потопил свои последние годы, на минуту заколебался. Может, и переборол бы он себя и пошел по новой тропинке или дороге, если бы не глупая гордость и глупая злоба против отцовых речей: все умники, когда смерть не за горами.

Будто коня, осадил вздыбленную душу. Едва зашевелилась пробудившаяся вспышка добра, как Семен тут же погасил ее, засыпая проклятыми семенами гонора.

Отец не понял, что творится с сыном, и начал еще донимать его святым писанием:

— Ты заглядываешь в старые книги, в Библию? Вспомни, что пишется в Первой книге Моисея: «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним».

Семен ничего не ответил, лишь свысока глянул на старика и молча, словно мешок, вывалился из хаты, тяжело упал в сани, стегнул лошадей, и они тронулись рысью, высекая снежную пыль.

«Дождался праздничка!» — ругал отца, но и корил себя за то, что и вправду распустил язык больше, чем следовало. Если что и вынес он из тяжелого разговора, так это слово о деньгах: бумажки имеют цену до времени, а над золотом и время не властно. Вот и теперь золото, серебро и бумажки в одной цене. А как дальше будет?.. Он тряхнул вожжами, кони побежали по заснеженной вырубке, на которой торчали молоденькие березки, а мысли устремились к Василине, к ее сочным губам, к ее дородности. Вот где можно найти человеку отдых и усладу! Сейчас подъедет к приземистой вдовьей хатке, внесет бочонок меда и скажет, что приморозил на холоде душу. Может, она и отогреет ее. Так бог и карает нас, грешных...

Старый Мирон с порога наблюдал, как удирает сын, и снова вспомнил святое писание: «...ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Потом взял увесистую пешню и пошел на пруд долбить продушины.

Благословенная тишина и звездные титлы стояли над синим заснеженным миром. Неужели и в такой вечер в чьих-то головах, в голове его сына может рождаться подлость? Если это так, тогда для чего живете вы на свете, гнусные оборотни?!

Мирон ударил пешней, лед ахнул, покатил свист и стон под камыш, который еще совсем недавно раскачивали дикие утки. Семен хотел пострелять их из дробовика, но Мирон не позволил. Что ж это за пруд, коли нет в нем рыбы, а над ним птицы?

В продушину боком начали всплывать плотва и красноперка, потом появились щуки. Их можно было ловить руками и бросать на лед, но в такой вечер не хотелось обижать даже рыбу. Пусть подышит, прихватит месяц на плавники — да и снова в притихшие воды.

Он долгим взглядом прощания обвел сине-серебряную даль, сад, что никогда уже не порадует его цветом, камыш, что никогда больше не зашелестит ему, и понял, что вряд ли увидит, как из него весною будут выплывать чирки и утята. И жаль ему стало этот бог знает кем созданный мир и еще не пробудившийся яблоневый цвет, что, убаюканный, спал на морозе, и птиц, которые никогда уже не прилетят к нему, и сына... Откатился он от него, так и не поняв, что такое человеческая жизнь. А когда поймет, поздно будет. Подрубишь душу — погубишь все. Тянется он за нечестивым рублем, и невдомек ему, что все это суета сует.

Как розовые птицы, зашумели, запели кудрявые камыши в изморози, и пух их полетел в праздничную даль, где слегка поскрипывал мороз или земля и в тихий сон погружалось село. А месяцу все хотелось играть в жмурки с ним, и он, прищурясь, то забрасывал его в самое небо, то внезапно так стряхивал скатерть снегов, что даже кособочились хаты. А может, это не месяц, а злыдни кособочили их? Ибо щедрая кутья остается щедрой, но для кого-то она голодная. Вот уже и большевики стали наседать на сельскую нищету, только что выйдет из этого, если дядьки все еще дрожат над прадедовским трехпольем?

Стоит под месяцем в заброшенном мире человек, который уже будто живет и не живет, вспоминает что-то очень давнее и недавнее, перетряхивает годы, и печали, и просветы, утешается всем добрым, что приходило к нему, что сам сделал, а плохое отбрасывает и в мыслях, и рукой, что уже, наверное, в последний раз этой осенью сеяла жито. Господи, как хорошо сеять!.. А еще лучше жать. В жатву он выезжал в поле с женой, по-девичьи стройной, с девичьими косами. Весной они пахли жасмином, а в жатву — цветом повилики и молодой, еще не затвердевшей ржи.

«Зеленое жито, зеленое жито, а еще зеленее овес». Это уже вечером, улыбнувшись ему, запоет Докия, да так запоет, что даже перепелка умолкнет во ржи.

«Это ж надо»,— только головой покачает он и поведет коней в долину, на туман, а его все будет догонять ее голос.

Когда возвратится с долины, Докия уже будет спать под полукопной, положив голову на сноп, только не будут спать ее ресницы — то ветерок всколыхнет их, то роса, то зернышко прогретого жита.

И почему так быстро миновало все? Поседело твое жито, улетела твоя перепелка, и в очи печально заглянула ночь. Вот будто и немногого хотелось бы еще: чтобы сын его стал человеком, чтобы еще выйти в поле сеятелем да хотя бы краешком ока увидеть тот день, когда у всех людей будет хлеб на

столе... Не увидит он этого дня, ох, не увидит — его время пришло.

И склонил старик отяжелевшую голову, но вдруг встрепенулся: кто-то невдалеке подал ему серебристый голос, раз и второй. Да это ж подо льдом проснулся ручеек, что очищает воды его пруда. Чего не спится тебе? Сретенье или весну почуял?

На снегу со стороны хутора послышались чьи-то шаги. Старик глянул на утоптанную тропинку. К нему, покачиваясь, не то шла, не то плыла Василина. Даже мешковатый кожух не скрадывал ее дородности. Вот кому бы детей носить у груди, да носит она в груди только боль и горечь.

— Дядько Мирон, я пришла к вам вечерять, — грустно улыбается вишневыми устами, а в глазах сошлись в одно жажда любви, печали и загадочность.

— Вот и хорошо, что пришла. У своих не захотела праздновать?

— Побыла я немного в приселке, посмотрела на счастье своей сестры, на детишек ее и зарыдала неутешными слезами. Потому и прибежала к вам. Вас печалит старость, а меня моя бесталанная молодость.

— Тогда зови деда Корния, и отпразднуем сочельник!

— А он уже стоит возле хаты с ружьем: хочет в мороз выстрелить, — усмехнулась Василина.

— Вот и вспомним, как мы под Плевной с турками воевали. — И тихонько запел: — «А за нами татари, як ті чорні хмари, а за нами турки, як із неба кульки...»

— У вас еще голос есть! — удивилась Василина.

— А как же! Ведь вокруг степь, и лес, и небо. Жаль только, что года мои уже подкатились под небо.

Не зная, чем утешить старика, Василина подала ему несколько промерзших пучков калины:

— Это вам от Оксаны.

Старик приложил подарок к щеке.

— И калину жаль... Как там Оксана?

— Красивая, словно маков цвет. Только о муже беспокоится. Ваш Семен все придирается к нему, выжить хочет, — сказала она, понизив голос.

— Тупоумный он. Вырос, а ума не вынес. Тяжко бывает человеку дорасти до человека.

Они вошли в садок, где между тенями деревьев голубовато дымились и поблескивали промерзшие лунные полянки. Там их увидел дед Корний, крикнул: «Гей-гей!» Поднял вверх ружье и выстрелил в мороз, чтобы он не морозил ни жита, ни пшеницы, ни цвета в садах. Когда испуганный мороз убежал, дед Корний пошел навстречу Мирону и Василине.

— С праздником, гренадер!

— С праздником, звонарь! Что-то я сегодня твоих колоколов не слыхал.

На продолговатом лице Корния ожили старые морщины.

— Потому что придурковатый батюшка прогнал меня со службы.

— Шутишь? — не поверил Мирон.

— Правду говорю.

— Чем же ты не угодил ему?

Старый звонарь приветливо улыбнулся в пышные усы, на которых поблескивала изморозь.

— Под Новый год, когда люди собирались на собрание, я и ударил во все колокола «Интернационал». Говорят, славно вышло, а попа чуть было кондрашка не хватила. Захотел, чтобы попросил у него прощения, а я заупрямился, и в колокола теперь звонит Милентий, которому медведь на ухо наступил.

Мирон засмеялся, поцеловал Корния, потрогал его задубевшую на холоде кирею и вдруг насторожился:

— Еще чья-то добрая душа прибивается к нам.

Из лунного марева синевы, словно из сказки, летел гривастый конь, под его копытами мягко гудела и взрывалась голубоватыми кустами дорога.

— Кто же это может быть? — сам себя спросил Корний, приглядываясь и к коню, и к крылатым санкам.

Да вот они поравнялись с воротами, из них проворно выскочил невысокий, коренастый человек, чем-то он напомнил гриб боровик.

— Михайло! Михайло Чигирин! — удивленно воскликнул дед Корний. «И с чего бы это бывшему партизану, что живет на краю района, в такой вечер прибиться к нам?»

— Узнали? — словно удивился Чигирин и поздоровался со всеми.

— Тебя да не узнать! Куда же ты на ночь глядя собрался?

— К вам, дед Корний.

Старик засмеялся.

— Веди возок, а мы послушаем.

— Вправду к вам, — и начал стирать изморозь с усов и бородки.

Теперь встревожился дед Корний, ибо не раз его брали в другие села звонить за упокой.

— Что-нибудь случилось у вас?

— Да, случилось, — белозубо усмехнулся Чигирин. — Под Новый год иду я с женой к своему другу партизану и вдруг слышу далекие колокола. Остановился и сам себе не верю — так они славно вызванивали «Интернационал»! Скинул я шапку, а душу заливает торжественность. Думал, это какие-то артисты приехали и зазвонили. Только потом дознался, что это вы, дед Корний. Вот и примите от меня подарочек. — Он вынул из кармана кожушка шерстяные рукавицы и протянул старику. — Это чтобы руки возле колоколов не мерзли.

— Спасибо, Михайло, — смутился дед Корний. — Вот и получил первый подарок от партийного человека.

— Пойдем в хату, — коснулся Мирон руки Чигирина.

— Спасибо. Я сейчас же и домой. На этом слове — будьте здоровы. — Чигирин поклонился всем, вскочил на санки, и конь сразу же понес его в синецветный полумрак.

— Дивно, — только и сказал дед Корний, а затем,

[illegible] и сани начали исчезать за холмом, взмахнул длинными руками и запел:

Ой там за горою, та за кам'яною...

Василина сразу подхватила:

Ой там виходило та три товариши.
Що перший товариш — ясне сонце,
А другий товариш — ясен місяць.

И вдруг Мирон увидел на глазах у притихшего Корния слезы.

— Чего ты? — заволновался Мирон. — Молодость, Шпику вспомнил?

— Да... — скривился старый звонарь.

— Говори, Корний.

— Что говорить? — затуманились глаза старого.— Уже и песни не могу петь, годы отобрали голос.

— Так вы по голосу горюете? — удивилась Василина. — Никогда бы не подумала.

— В молодости о многом не думают. Какой голос у Миронова сына, только не поет он им, а поедом ест людей. А сейчас и за агронома взялся...

С молодым агрономом Семен никак не мог поладить и тайком начал копать ему яму. Но неожиданно коса нашла на камень, а кроме того, Ярослав прослышал, как показал себя Магазанник в гражданскую войну на службе в державной варте, у его светлости гетмана Скоропадского. Теперь гром грянул уже не над Ярославом, а над головой Магазанника. От такого грома, гляди, не спасут и леса, куда после тридцатого года забрался Семен, чтобы вволю поорудовать топором в чаще, плугом на вырубках, косой на полянках. За уворованное добро он и сцепился с Ярославом, надеясь выжить того из села. Да не удалось! Вот и пришлось что-то другое придумывать. Разве знает человек, где жизнь столкнет его со смертью?

Как оно дальше обернулось, об этом ведает только ночь грозовая. Но она еще не представала свидетелем на суде.

Годы никогда не возвращаются к человеку, но человек возвращается к прожитым годам, и прошлое так подступило к Данилу, что казалось, протяни руку — тотчас коснешься его и запечатлеешь на бумаге то, о чем не раз думал.

«Крыйок-крок, крыйок-крок!» — снова подал голос погоныш, а из дальнего болота еле слышно донесся клич журавля.

Были себе журавль да журавка...

III

Миновал год, как не стало Ярослава. Ох, каким долгим был этот год для Оксаны и... Семена Магазанника. Вдову подтачивало горе, лесника — страх. Кто знает, чем обернется недобрая людская молва: долго ли скинуть лесника? Что он будет делать без своих угодий, без припрятанной в лесах скотины, без пасек? Хоть убей, он сейчас не скажет, сколько у него свиней: как подались весной в дебри, так только после первого снега с приплодом объявятся. Пусть там кто-то переживает трудности роста, он обойдется без них. В лесах привольно и всякой живности, и ему. Только как нужна для этих достатков толковая, проворная хозяйка! И мысли Магазанника все чаще и чаще обращались к Оксане, к ее спорым рукам. Такая шутя с любой работой управится, да и красоту ее горе не смыло, только глаза притемнило. Бороздою прошло горе через сердце и запечатлелось в глазах. Свадьбой, весельем, любовными утехами надо прогнать тоску, иначе весь век уйдет у тебя за водой и слезой.

Только дети и работа давали Оксане забвенье и отраду. И вдова чернела, иссушала себя работой с раннего утра до глубокой ночи.

— Надорвешься, оглашенная! — шумела на нее тетка Марина, забегавшая порой в своем поношенном платке с выцветшими красками. Должно быть, от этих красок и глаза у тетки Марины разные.

— Ничего, осилю,— вдова поднимала осенние ресницы, обращая глаза к татарскому броду, где высматривала уже не мужа, а сына: он полоскался в той самой лодке, в которой пуля скосила Ярослава.

Лодка эта долго лежала без дела. В расщелинах ее успела вырасти, умереть и снова зазеленеть трава. Весной Владимир попросил мать:

— Столкнем лодку на воду?

— Для чего? — спросила его с болью, осматривая челн. Она помнила еще ту иву, из которой его выдолбили. И, верно, невыплаканные слезы той ивы втихомолку выплакивает она, Оксана.

— Сколько лодке пропадать попусту? Пора кому-то и на рыбалку ездить. А я ведь старший у тебя! — рассудительно ответил сын.

И так он вымолвил это «старший», что все ее запреты отпали.

— А ты хоть умеешь грести?

— А почему ж нет? — повеселел мальчик и благодарно взглянул на мать. — Я и Миколку возьму!

— Ой нет, сначала один!

Колеблясь, открыла ворота, посмотрела на брод, где сейчас по шею, по пояс, по колено в воде стояли вербы в желтых огоньках цветенья. Цвела и та верба, под которой они не раз встречались с Ярославом. Она еще больше постарела, в дупле ее бурлит вода, а на верхушке радугой играет сизоворонка.

«Синяя птица счастья» — называл ее Ярослав.

«Только где ж оно, это счастье? Разве что в детях?» — задумчиво взглянула на Владимира (ему не терпелось сесть в лодку).

А вот и Миколка бежит, придерживает шлейку на штанишках и смеется от радости — догадался, что мать разрешила покататься.

— Вот здорово, Володя, что мы поедем!

— Кто поедет, а кто на берегу останется,— хмыкнул старший.

— Как же это? — встревожился Миколка, переводя взгляд с матери на Владимира.

— Тебя не пустят.

— Мам! — просит мальчик.

— Мал еще! — прикрикнула на сына, хоть и жаль его было.— Видишь, играют воды, как Дунай...

[illegible] и [illegible]етское упрямство отразились на лице [illegible]

— Не пустите на наш челн, на чужой сяду.

— Ты что болтаешь?! — рассердилась Оксана.

— Будто мы с Владимиром не катались на чужих челнах. Пустите, мам...

— Ладно, неслухи, что с вами делать!

И они втроем медленно столкнули лодку в брод.

— Ты же смотри, сыночек, осторожно, вода ярится,— наказала Владимиру. — Может, я с вами поеду?

— Не надо, ребята засмеют,— и оттолкнулся веслом от берега. И хоть весло было слишком тяжелым для него, в глазах мальчика светилась бездонная радость... Почему же так мало радостей у взрослого?! Ох, дети, дети, хоть бы вам улыбнулось счастье...

Прислонившись к вербе с подмытыми корнями, она долго тогда не уходила от татарского брода. Перед ее мысленным взором на воде покачивалась не только лодка с детьми — перед ней проходили виденья недавнего и незапамятная старина ордынских времен. О них не раз читала и слышала от старых людей и от Ярослава. Время давило на нее, теснило душу, затмевало все вокруг. Это она убегала от ордынцев в гиблые болота за татарским бродом, это над ней свистел аркан, это ее гнали людоловы в неволю по колючей стерне, как гнали связанный прокисшими сыромятными ремнями ясырь пленников:

А жерниця ноги коле,
Чорну кровцю проливає,
Чорний ворон залітає.
Тую кровцю попиває.

Это все было, было!.. И все еще, сдается, не растопился лед дикой злобы, все еще на сердцах и державах нарастает дикое мясо.

— О, наконец голос твой услыхала! — подошла к ней тетка Марина. — Только зачем ты про ворона черного? Ну его! А я вот вырвалась на часок — хочу хату твою разрисовать,— и махнула узелком, в котором лежали неизменные порошки друшпана[1].

— Рисуйте, тетушка... И откуда только цветы эти у вас берутся?

— Из головы, Оксана. Там и хорошая думка цветет, и гадина снует. Какая у кого голова... Давай я тебе стену с улицы подсолнухами разрисую?

— Да нет, они живые меня по всему огороду высматривают.

— А ко мне в Копайгородок Магазанник ни с того ни с сего приперся. — Марина что-то вспомнила, рассмеялась. — Во все праздничное вырядился, а чеботы волчьим жиром намазал.

— Это еще для чего?

— Чтоб собаки по закоулкам попрятались. Не с пустыми руками — связку сушеных грибов в подарок привез. Все про тебя допытывался да нахва-аливал! Просил, чтоб хату ему разрисовала. А дома у себя вовсю старался: белки от желтков сам отделял и опять про тебя расспрашивал.

— Пусть его нечистый расспрашивает!

— Да нечистый его стороной обходит. С[illegible] в [illegible]ничестве припеваючи живет. У него ведь так[illegible] ве — каплю, себе — кварту. А ты ж как? Ча[illegible] с детьми? Хату подпорками, вижу, подпираешь?

— Надо будет, и плечом подопру, не поленюсь, а никуда не пойду,— ответила на то, чего недосказала тетка Марина.

Стояла тихая, ласковая пора. Приветливый июль скопнил сено и уже подумывал собирать с будущей недели жито в полукопны. Думала об этом и Оксана, возвращаясь с младшеньким домой. Миколка перебирал стебли пшеницы, лепетал, что Владимир сплетет ему из них брыль, и по-детски радовался всему. Не торопясь они пришли домой, под золотое сияние подсолнухов, которые так любил Ярослав. С татарского брода доносились детские голоса и крики куликов. Оксана раз-другой кликнула Владимира, и он тут же примчался, повис на воротах, черный, как галчонок. И как только глаза у него не почернели?

— Чего, мам?

— Ужинать время.

— Я еще немножко побуду с ребятами.

— Не надоело за целый день?

— Да не-ет.

— Смотри, не долго.

— Я скоро, мама. — И только ворота за ним заскрипели, а он уже бегом к броду — к посвисту куликов, к смеху своих товарищей, воевавших с камышами и водой.

А в калитку, побрякивая ключами, бочком пролезает Семен Магазанник. Идет, раскачиваясь, в праздничной слежавшейся одежде, с праздничным лицом и шельмоватыми глазами:

— Добрый день, красавица, добрый день! — подкашивает своей узловатой тенью ее ноги.

Оксана вздрогнула, спряталась от чужой тени под защиту подсолнухов: они, как два солнца, легли на ее плечи, осветив опечаленную красоту вдовы.

— Здравствуйте, дядько.

— Какой я тебе дядько? — Магазанник заморгал, усы его встопорщились, а бугристое лицо выразило недовольство. — Если мужчина старше женщины на какой-то десяток с хвостиком лет, так он еще не дядько... А я только вот старшенького твоего в лодке видел!

Оксана положила руку на подсолнух, что наклонялся под тяжестью своих деток.

— В той самой, в которой убили Ярослава...

Теперь вздрогнул лесник, но тут же богобоязненность смиренно обмакнул в елей сочувствия.

— Не надо, Оксана, не надо. Мертвым — покой, живым — жизнь, какая она ни на есть. Ох, и красивые у тебя подсолнухи, такие большущие! — прицепивается то к подсолнухам, то к ресницам чародейки, что гасят и не могут погасить синюю печаль лет.

— Это для Ярослава подсолнухи. Для него сажаю...

Глаза Магазанника заволокла мглистая [illegible].

— И опять же напрасно. Ему в раю святые [illegible]

[1] Друшпан — собирательное название красок.

[illegible] хоть и не верил он в рай. — Лесник [illegible] пальцами «козу» Миколке, но [illegible] не засмеялся, а нахмурился и попятился от [illegible] дядьки. — Тяжело небось одной с двумя?.. И не [illegible], не говори, сам знаю: ко всему можно привыкнуть, только не к беде. Это ж надо вспахать, и посеять, и норму выполнить, и со своим огородом управиться! А еще ж и сварить, и спечь, и обшить, и обстирать, и хату прибрать, и за коровой присмотреть, ну, и детям дать толк. За такими хлопотами и лета, и брови увянут.

— С каких это пор вы, дядько, таким пакостливым стали?

— Вот опять «дядько». От этого может затянуть облаками и загреметь на душе. — Висевшие у него на черном поясе ключи от кладовой зазвенели. — А мне б так хотелось, — напомнил давнишние слова Ярослава, — чтоб и в твоих глазах проснулись зори!

— Как же им проснуться?! — вскрикнула вдова, и давний предвечерний туман, простершийся над татарским бродом, окутал ее.

— А ты не горлань, — боязливо огляделся он: не услышал ли кто с улицы? — Давай пойдем в хату, сядем рядком и потолкуем ладком.

— Нет у меня времени на посиделки!

— А ты оставь гордыню, зайди, — понизил голос Магазанник, — не раскаешься. — И снова раздалось звяканье ключей. — Я тебя по-добрососедски учу: живой должен думать о живом. У тебя двое детей, у меня один Степочка. Ты с лица красивая, а у меня есть царь в голове, — чем не пара! Я тебе, как княгинюшке, угождать буду, если ты ко мне со всем уважением. За этим и пришел... Долго я ждал, пока ты станешь вдовою...

На Оксану, будто темная метелица, обрушилась та давняя ночь девичьей любви и этот предзакатный день вдовьей печали. То давнее было несказанным в своем чуде, а это предзакатное — омерзительным.

— Дядько, и не стыдно вам этакую срамотищу городить?!

— Какая ж это срамотища! — повел тот округлыми плечами. — Тут дело житейское. Вместе надо одолевать беду, ибо порознь ее и гром не убьет. Неужто тебе не опостылела одинокая хата, одинокая постель?

— У вас на голове уже белый цвет гуляет, а вы — жениться! — Оксана прижала к себе младшенького. — От ваших слов и вашего притворства святые подсолнухи станут грешными. Уйдите с глаз!

Отказ возмутил Магазанника, и голос его понизился:

— Ну чего ты гонишь меня, я ж не пришел твои подсолнухи красть! Я пришел вдовью нужду убрать, а ты — в крик. А чего? Ждешь, чтоб кто-нибудь принес тебе лихо в торбе? Лучше раскинь умом, загляни в завтрашний день, разве не видишь — ведь теперь с хлебом и то трудно.

— Говорю, уходите!

Зеленые щелки глаз Магазанника палились зло-[illegible], еще заметней стали в них серые песчинки.

— Что ты уцепилась за это «уходите», как за кнут? Чем я тебя обидел? Своей любовью?

— Хватит, дядько! Какая там у вас любовь, когда вы каждую юбку встречаете и провожаете бесстыжими глазами!

— Ох, и ведьмочка ты! Уста как бутон, а из уст камни швыряешь. — Семен чуть не выругался, но сдержал себя — выдержка пригодится больше ругани. Сегодня, значит, не вышло по его. Ну да есть еще у бога дни: не вышло теперь — выйдет в четверг. А если и в четверг не выйдет, все одно из этого сватовства какую ни на есть пользу заполучит: раз он посватался к Оксане, она уж никак не заподозрит его в убийстве Ярослава. Вот оно как! Старого волка за хвост не поймаешь!

И двинулся к себе в леса — к своим свиньям, к своим коровам, к своим пчелам. Они несли ему на певучих крыльях достаток и почет: лучшего меда не было во всей округе. Об этом и нужное начальство высказывалось. А лесник не скупился одарить кого нужно духмяным медом в свеженьких ведерных липовках. Все у него чин чином, ладится, только нет хозяйки в доме. Что с тех поденщиц! Много ли от них проку? А Оксана и красотой своей хату его осветила б, и со всеми делами управилась бы! И с чего это она заартачилась при такой бедности? Хочет, как в молодости, чтоб ей на ушко ворковали про любовь? Так для чего тратить на это время людям, которые уже давно знают, что такое муж и жена? Не склонил он ее сегодня, склонит завтра. Землю не обманешь, а человека можно.

У татарского брода Магазанник встретился с могучим Стахом, покосился на его мускулы, которые так и перекатывались под кожей.

— С такой бы силой пни корчевать! Идем, горемыка, ко мне работать. Не пожалеешь!

— Погожу, дядько.

— Думаешь, в моих лесах заработок меньше, чем на смолокурне?

— Да нет, видно, больший.

— Так бери плату годовую — да и на мои вырубки и залежи.

— Боюсь такого благодетеля.

— Хоть скажи: почему?

— У вас, дядько, не серчайте, я наймитом стану подъяремным, а мне хочется человеком быть! Потому и записался в соз. Там и начну прокладывать свою борозду.

— Ох, и умники все! Лишней сорочки нету, а туда же — норов показывает. А зачем так в присёлок торопишься?

— К Оксане.

— Это чего ж ради? — удивился и забеспокоился лесник. — Свататься, что ли?

— Да вы что?! — В больших серых глазах парня проснулась печаль. — В сельсовет ее вызывают.

— Не за долги ли?

Стах пренебрежительно махнул рукой:

— У вас только долги да проценты на уме.

— Какие проценты? — насторожился Магазанник.

— Думаете, село не знает, как вы наживаетесь? — ... Стах неприязнью и пошел в приселок.

Лесник перевел растревоженный взгляд на татарский брод, где купалась и сновала в челнах детвора.

— Эй, кто перевезет? Конфету заработает.

— А я и даром перевезу,— отозвался с лодки сын Оксаны Владимир.

Магазанник покосился на лодку и отрицательно покачал головой.

— Э, нет, на твоей посудине ни в жизнь не поеду.

— Боитесь, дядько? — засмеялся кто-то из ребят.

— Что греха таить, боюсь садиться в твою душегубку. — И сжал губы: зачем он болтнул такое о челне?..

Когда густой летний вечер и обманчивые лунные невода упали на леса, хмурый Магазанник добрался до своего глухого жилища и удивился: у высоких ворот стояла дородная Василина Голубь. До самой смерти Мирона она ухаживала за ним, и старик, умирая, вопреки воле сына, завещал ей пару быков, годовалого телка и лодку — вдова очень любила вечерами кататься на ней. Чудак был его отец! Есть ли у старого гренадера на том свете волы, озеро да лодка?

Не раз, приезжая на отцовский хутор, Семен пробовал приволокнуться за Василиной, но из его попыток ничего не выходило. От одного прикосновения к ней вдова вспыхивала и беспощадно била ухажера по рукам. А сила у нее была как у доброго косаря. И почему при таком здоровье дремала тогда ее женственность?

Улыбаясь полными, жаждущими ласки устами, Василина поклонилась ему, и Магазанник похотливым взглядом оценил пышную грудь, которой тесно было под расшитой яркими цветами блузкой. Чего бы только не дал он за то, чтобы побыть рядом с Василиной хоть одну ночку! Хмель ударил в голову. Магазанник забыл даже об Оксане. Пропадает наш брат из-за баб и сладких любовных утех. Если бы не прогнал бог Еву из рая, спокойнее было бы на земле.

— Чего тебе, Василина? — Магазанник взял ее тяжелую руку.

— На поклон к вам пришла,— в голосе зазвучали и та насмешка, и то милое превосходство, и та женская загадочность, в которых до сих пор не в силах разобраться мужчины.

— Спасибо. Не часто красота кланяется мне,— вдохнул он запах ее осенних кос, от них веяло не осенью, а ромашкой и неспелым житом.

— Какая там красота... Лишь бы здоровье, чтобы земля не пустовала,— смутилась вдова. Немало ей пришлось потрудиться на чужих полях, и теперь она так радовалась подаренным быкам, что разговаривала с ними, будто с людьми. — Хата моя прохудилась, не разживусь ли у вас на балки и стропила?

— Собираешься примака взять? — сказал Семен, лишь бы что-нибудь сказать, пытаясь скрыть волнение.

Василина зарделась, доверчиво глянула широко открытыми глазами и призналась:

— Угадали,— и, как бы оправдываясь, добавила: — Тяжело нынче женщине без мужа, всякий, кому не лень, обидит.

Тоскливо стало Магазаннику. Он не смог смириться с мыслью, что кто-то другой будет любоваться ее дородной фигурой, кто-то другой будет слушать ее бархатный, призывный клекот-смех. Губы и горло внезапно пересохли.

— Кто тебя сватает? — спросил он хриплым голосом.

— Да... — потупила голову.

— Говори, чего скрытничаешь? Может, на свадьбу подарю тебе кое-что за черные брови. Хоть бы во сне приснились они мне.

— Тоже скажете...

— Так кто все-таки?

— Влас Кундрик из соседнего села, знаете его?

— Влас Кундрик?! Лавочник?! — зловеще обрадовался и выпучил на Василину глаза Магазанник. — Совсем свихнулась! За такого оборотня выходить?

— Почему же он оборотень? — испуганно спросила вдова.

— Этот обольститель забил тебе голову сладкими речами, а ты развесила уши, поверила ему.

— Как же не верить, никто прежде так ласково не называл меня,— в голосе Василины дрожали слезы. — Что вы знаете о нем?

— Пойдем ко мне, я тебе расскажу про эту тварюгу, которая только и знает считать чужие деньги и грехи.

В хате Магазанник зажег огарок свечи, встал напротив взволнованной Василины, которая то бледнела, то краснела.

— Слушай теперь. Хорошо, что ты вовремя наведалась ко мне, а то выскочила бы замуж очертя голову. Кундрик еще не выманил у тебя быков?

— Собирался продать их на ярмарке.

— Вот видишь! Главное в его любви — выдурить чужую копейку. А потом ищи и быков, и Кундрика. Он сразу трем несчастным голову крутит, а теперь и тебя, четвертую, обхаживает. Не ты, быки твои нужны ему! Что он глазами увидит, то из рук не выпустит.

— Откуда вы знаете?

— Твой Кундрик навеки испакостился: его и хлебом не корми, только дай повод похвастать. Недавно торочил про всех своих полюбовниц. А он не из стыдливых, слов не выбирал и в выражениях не стеснялся.

— Боже мой, за что такое надругательство?! — Щеки Василины запылали от гнева. Она закрыла их руками и заплакала.

Магазанник подошел к ней, начал вытирать слезы, что текли между пальцами, и, слегка привлекая Василину, сочувственно заворковал на ухо:

— Ну, перестань, успокойся, горемычная ты моя, горемычная...

И случилось невероятное: вдова не вырывалась из его объятий, не била по рукам, не сопротивлялась, когда он начал ее целовать. Забылась, или ей стало все безразлично.

[illegible] дохнул и погас огарок. Магазанник [illegible] к себе Василину, поцеловал ее брови, [illegible] пахли ромашкой и житом. Вдова — ни сло- [illegible]да, веря и не веря в свое мужское счастье, он осторожно подвел ее к постели. Непонятная, желан- [illegible] Василина молча легла, и он головою припал к груди, что так ждала ребенка, а дождалась любов- [illegible]ника.

Семен не помнил, как провалился в жаркий, дурманящий сон, а очнулся от неутешного плача.

— Что с тобой, Василинка? — спросил он испуганно и потянулся к ней.

— Пропала моя головушка, ой, пропала... — голосила она, стоя у кровати.

— Отчего пропала? — успокаивал ее ласками и поцелуями.

— Теперь я уже не женщина, а полюбовница. Будьте вы прокляты, ненасытные!

— Разве полюбовницы не женщины? Их и цари, и короли почитали,— не нашел лучшего ответа, обнял Василину, а она со злостью ударила его по руке.

— Вот этого уж и не надо,— усмехнулся ей, ибо не почувствовал Семен боли, а только волны услады и усталости.

— И правда, не надо,— согласилась она и положила его руку на мокрую от слез грудь.

Он, снова хмелея, потянулся к ней:

— Ложись, Василинка. Еще не светает...

— Теперь мне все равно,— вздохнула она, сожалея о чем-то безвозвратно утраченном.

А из леса неожиданно долетел чей-то голос любви:

Та мала нічка — петрівочка,
Не виспалась наша дівочка...

IV

Еще для кого-то год жизни остался позади, а для кого-то жизнь отсчитала последние часы, и поседевшая мать-земля, ежась под метелями, уже думала о весне.

На Подолии в день Петра Вериги почти никогда не трогается лед. У нас лед вскрывается в дни голубого марта. Сначала гонец весны привольно гуляет по лесам, добывает из-под снега еще не распустившиеся подснежники, потом размораживает сок в березе и, когда она блеснет счастливой слезой, отправляется на реки и озера. Под его шагами на плесах просыпается ледоход. Поведет своим серебряным смычком — и уж только прислушивайся: над берегами и в заберегах вздыбливается будоражащий перезвон, в берегах бьются, грохочут, беснуются льдины, и [illegible]достно вздыхает освобожденная волна. Как любо [illegible] после зимнего мрака заиграть под солнцем и ударить в бубны причаленных челнов, чтобы взметнулись [illegible] вверх, разорвали свои оковы, вспомнили волюш[illegible], и купальские вечера, и сиянье глаз в пред[illegible]ре.

С подснежником на шапке март прошелся над [illegible] бродом, и под его поступью взломались льдины,— они сослепу налетают одна на другую, на корневища яворов, на влажный, поросший краснотalом берег. Закипел он, вспенился, взлохматился от прядей вырванного аира, нежно пахнущего прошлогодним летом. А к гомону реки прибавляется детский гомон: ледоход — праздник для детей и тревога для матери. Сколько ни говори, сколько ни грози, а все равно какой-нибудь сорвиголова захочет — вынь да положь! — прокатиться на льдине. Вот и сейчас отыскался такой сорванец: оседлав льдину, широко расставив ноги, под восхищенными взорами ребят кружит-плывет в мартовские весенние миры, в это фиалковое, трепещущее над деревьями марево, что манит и безудержно притягивает. Ну разве, взглянув на такого отчаянного смельчака, не придет охота забраться на лед еще какому-нибудь проказнику? Вот уже и Владимир сбивает шапку набекрень и наклоняется к брату:

— Миколка, ты ж будь мне молодцом!

Миколка сразу настораживается, из-под заячьей шапки растерянно блестят синевой глаза. Он давно знает: когда ему наказывают быть молодцом, значит, доведется оставаться одному.

— А ты куда, Володя? — Малыш подавленно смотрит на старшего брата, но держит себя геройски.

— А я сюда-туда, аж вон куда! — беспечно машет тот в сторону брода увесистой ивовой палкой.

— На льдину? — ужасается Миколка.

— Ага.

— Не надо, Володя. Я боюсь! — У малыша жалко кривятся губы, и он забывает, что ему полагается быть молодцом.

— Плакса ты, плакса и есть! Вечно у тебя глаза на мокром месте,— насупился старший и недовольно отвернулся от брата.

Это действует безотказно: Миколка никогда не был ревой и очень не любит, когда Владимир на него сердится.

— Володя, а что, если мама узнает? — косит он синими глазами на дом. — Ох, и достанется нам на орехи!

— Да откуда она узнает? Ты ж не скажешь?

— Я-то не скажу-у,— с тоской тянет Миколка, не зная, как удержать брата. — Только не надо на лед, а то еще сапоги промочишь...

— Так я ж сегодня смазал их березовым дегтем. Вот видишь?

— Ага,— но смотрит не на сапоги, а на яростные льдины.

— Ты не бойся,— успокаивает малыша Владимир. — Когда подрастешь, тоже поплывешь на льдине.

— Я сейчас хочу, с тобой.

— Сейчас нельзя, подрасти надо.

— Тогда и ты не плыви.

— Я только самую капельку, у самого берега...

Миколка молчит, думает. И подрасти ему не терпится, и за брата боязно, и самому на лед хочется. Оно б и ничего — проплыть от брода к броду, лишь бы чего-нибудь не случилось и мама не узнала, а то будет одной рукой хвататься за веник, а другой за сердце.

— А я пойду за тобой вдоль берега.

— Вот и хорошо! — скалит Владимир зубы.

Теперь страхи окончательно покидают Миколку, он, воспрянув духом, чуть набекрень сбивает шапку, чтобы побольше походить на брата, и даже видит себя на льдине — чем он хуже других?

А Владимир со своей ивовой палкой в руках уже входит во вспененную воду и так присматривается к льдинам, словно что-то читает в них. Вот эта, верно, слишком мала, эта вроде с трещиной, а вот эта в самый раз! Опираясь обеими руками на палку, он взлетает вверх и проворно опускается на льдину. Она кренится, мальчик пугается, но тут же успокаивается: льдина выравнивается, и ее движение сладко отзывается под ногами весенним клекотом.

— Вот здорово! — радостно восклицает Миколка. До чего жалко, что он еще маленький!

Владимир показывает брату кончик языка, машет палкой и горделиво поглядывает на берег, а он все удаляется и удаляется.

— Володя, ты ж держись поближе! — кричит Миколка и, раздвигая краснотал, мчится берегом, чтобы не потерять из виду брата.

— Вот некому выпороть сорванца! — слышит Миколка, как осуждают брата, хочет вступиться за него, но в эту минуту, зацепившись за корневище, падает на ивняк, на серебристые котики.

Когда Миколка вскакивает на ноги, он видит брата уже посреди брода, где льдины трутся одна о другую, как рыба в нерест.

— Володя! — отчаянно кричит Миколка, срывает с головы своего зайца и машет им. Ветер поднимает пшеничный вихор — он тоже призывает Владимира на заросший ивняком и вербами берег.

Но старший, видно, уже не слышит Миколку: у него теперь одна забота — отталкиваться и отталкиваться от настырных льдин, что так и норовят сбить его с ног. И сбивают! Миколка цепенеет от страха, а Владимир, перескочив со своей накренившейся льдины на другую, поскользнулся, упал на одно колено, но сразу же поднялся.

Теперь к реке сбегаются все, словно на ярмарку, машут руками, кричат, подсказывают, как выпутаться из беды. Только Миколка стоит неподвижно, не замечая, что его заячья шапка упала с головы, и не сводит взгляда с Владимира. И вдруг случилось что-то ужасное: какая-то невидимая льдина снизу ударила в льдину Володи, расколола ее пополам, и мальчик камнем ушел под воду. Только ивовая палка и заячий треух всплывают наверх.

— Утонул! — истошно вскрикивает кто-то, а Миколка плачет во весь голос.

Но это был не конец: в полынье появляется голова, а с берега кто-то бросается в воду и призывно кричит:

— Держись, Владимир! Держись!

И мальчик держится. Вцепившись пальцами в лед, он отчаянно пробует выбраться на льдину, но она встает торчмя, и Владимир уже захлебывается.

— Держись, малой! — подбадривает его пловец, расталкивая льдины и ловко скользя между ними.

— Я держусь, дядько Стах,— уже не чувствуя пальцев, насилу выдавливает из себя мальчик.

— Ты ж у меня казак! — прибавляет ему мужества и голосом, и взглядом Стах Артеменко. Через какую-то минуту он уже выхватывает ребенка из воды и как нельзя серьезней спрашивает: — Вымок?

Вот так всегда эти взрослые! Ни в тын, ни в ворота сморозят что-нибудь младшим, а потому Владимир в лад ему отвечает:

— Вымок, но в сапоги воды не набрал!

— Ох, и врунишка ты! — улыбается посиневшими губами Стах и гребет на берег, такой теперь заманчивый и желанный... «Как здорово выбраться наконец из воды,— мечтает Владимир,— вбежать в хату — да на печь! И чтоб мама ничегошеньки не узнала. Да, верно, люди добрые расскажут ей все до капельки, а уж тогда без причитаний и слез не обойтись...»

— Ой, дядько Стах, у вас кровь с лица течет!

— Да это я об льдину зацепился, ерунда! — еще бережней защищает Стах своим телом ребенка.

Они выбираются из воды, к ним первым бросается заплаканный Миколка, а от приселка уже бежит Оксана. Ноги у нее подкашиваются, запыхавшись, она на миг останавливается и, не вытирая слез, бежит дальше. И теперь Владимиру не жаль себя, жаль только маму. Бледная, постаревшая, она замирает подле них троих и опять же, как только одни взрослые могут, спрашивает не голосом, а воплощенным отчаянием:

— Живой?

Ну кому не видно, что он живой! А вот же спрашивает про такое...

Не дождавшись ответа, мать обхватывает его руками, прижимает к себе и тискает так, что на нем чавкает мокрая одежда.

— Мама, вы не плачьте, а то и я сейчас заплачу,— вздрагивают губы у мальчика. — Это меня дядько Стах вытащил, а сам об лед порезался!

— Ой, Сташек... — клонится головой к хлопцу, а он неловко поддерживает ее.

— Правда, не плачь, Оксана. Вот обманем кашель, все и минется.

— Это не я, это доля моя плачет,— с благодарностью глядит на Стаха полными слез глазами, а у сына спрашивает: — Что бы я, оголец, делала без тебя? Скажи, что?

— Разве я знаю? — беспомощно отвечает Владимир. («И всегда мама найдет такие слова, чтобы разжалобить....»)

— Ой, живей, живей домой! — опомнившись, руками вытирая слезы, торопится Оксана. — И сразу мне на печь!

— А я, мам, со страху есть захотел,— шепчет Владимир, зная, чем задобрить мать.

— Горюшко ты мое,— понемногу отходит Оксана, крепко целует сынишку, с неутихшей болью и неугасшими воспоминаниями спешит прочь от [illegible]ного татарского брода.

Дома Оксана загоняет сына и Стаха на [illegible]ную печь, сует сухое белье, поит горячим [illegible]

[illegible] земляникой, досыта кормит и, уложив Ми[illegible], отжимает мокрую одежду.

— А это что? — спрашивает удивленно, разглядывая кое-как схваченный нитками лоскут рыбацкой сети.

— Сорочка нижняя,— улыбается Стах. — Я ее из бредня сшил.

— Для чего она тебе?

— Чтоб рыбой и нашими бродами пахло.

— Чудеса,— пожимает плечами Оксана и принимается за стирку.

Стах молча следит за вдовой, молча палит едкий самосад да иногда хмыкает что-то под нос, отвечая своим мыслям.

— Стах, не пора ли спать?

— Ушел мой сон на броды... А ты слышишь, как ваша хата гудит?

— Сухое дерево, вот и ловит все ветры и даже волну с брода. Как там хлопец? — подходит к сыну, поправляет ряднину. — Вроде не горит огнем.

— Это я горю огнем,— вырывается у Стаха.

— Правда? — пугается вдова.

Стах невесело усмехается.

— Да нет, это я от табака, что ты взяла у Гримичей. Ну и забористый! О, слышишь, вроде гром раздался.

— Это лед на броде. Скоро весна. Само счастье послало тебя,— снова со страхом возвращается к нынешнему происшествию. — И как ты, Сташек, не побоялся в воду кинуться?

— Надо ж было хлопца спасать.

— Чем только я тебя отблагодарю!

— Спасибо, Оксаночка.

— Не называй меня так,— вздрогнула она.

— Почему?

— Только мама и Ярослав так меня звали.

В хате надолго водворяется молчание. Стах, накурившись, как будто заснул. Оксана погасила свет и прилегла возле Миколки. Он улыбался во сне. И каким тяжелым ни был сегодняшний день, Оксана сразу, словно в воду, погрузилась в сон. Проснувшись, она растерялась: недалеко от нее, примостившись у окна, сидел уже одетый Стах.

— Ты что? — спросила пугливо.

— Ничего. Месяц взошел у твоего окна, вот и гляжу. — Он посмотрел на нее с той безнадежностью, в которой, запрятанные далеко вглубь, таились искорки надежды.

Она отвела глаза и спросила, лишь бы спросить:

— Почему не спишь?

— Я ведь говорил: ушел мой сон на броды. Слышишь, как звонит в свои колокола?

— Весна... Как Владимир?

— Ни разу не кашлянул.

— А сердце у меня что-то так болит...

Стах тряхнул взъерошенным чубом и сказал не то Оксане, не то обращаясь к кому-то еще:

— А сердце и должно болеть — и за себя, и за других, если ты человек, а не жадная утроба, которая не знает уже, что еще пихать в себя, вот как Мамашик пихает...

— Ох, Сташек, у меня и в мыслях не было, что ты такой. — Теперь она с удивлением стала искать его глаза, прикрытые тенью. — Ты это вычитал где-то?

Стах, должно быть, обиделся и ответил не скоро:

— Вычитал, Оксана, вычитал в той большой книге, которую я пашу, которую засеваю и жну, только пока на хлеб себе досыта не заработаю. Еще очень бедны мы, но честны — и делами, и сердцем, и вами, женщинами. А теперь доброй тебе ночи, Оксаночка...

На этот раз вдова не возразила, когда Стах снова назвал ее этим именем. В добром удивлении она и в сон взяла слова Стаха о сердце, которое должно болеть за других, о честности, помнила его взгляд, который и в безнадежности таил надежду...

Когда Оксана снова проснулась и забралась на лежанку, чтобы взглянуть на сына, Стаха на печи не оказалось. Подошла к окну, прислушалась. Немного погодя, полураздетая, обеспокоенная, вышла во двор. Никого. Только поздний месяц пробивался из-под туч, а внизу тревожился татарский брод.

Вдруг мучительная метель догадок, отзвуки прошлого и водоворот настоящего (тот вечер, когда Стах на лугу встретил ее, и высказанные им слова, и невысказанная боль, и звонница, и вчерашняя беда) ворвались в душу. Охваченная непонятным страхом, Оксана, наспех одевшись, нащупала в сенях весло и бегом кинулась к татарскому броду. На волнах все еще перешептывались, позванивали льдины, и каждая несла вдаль подхваченный лунный свет. Оксана отвязала от комля лодку, спустила ее на воду и, огибая льдины с отраженными в них лунными всплесками, поплыла к другому берегу.

Шелест птичьих крыльев всполошил ее: из-под самых ног с шумом взлетел одинокий селезень и, заслоняя месяц, взвился в небо.

А может, это не селезень, а душа умершего?.. Забытые, дремавшие суеверия проснулись в ней, и, казня себя, она раскаивалась: почему хоть сегодня не нашла для Стаха ласкового слова, улыбки или взгляда, которых он, наверно, так ждал от нее? Разве только счастливый человек приносит облегчение другому? Счастье может принести и неудачница. Только как? Хотя бы тем, как, пересиливая страдания, ты даришь отраду своим детям. До чего поздно, до чего поздно начала она догадываться, как много может женское сердце!

Одолеваемая тяжелыми думами и боязнью пересудов, Оксана вошла в село. На околице, спускавшейся в ложбину, она услышала голоса влюбленных и замерла в испуге. Да нет же, это журчит на леваде ручей, перенявший когда-то у людей шепот любви и всхлип младенца. Вот это, наверно, и есть жизнь: шепот любви, младенческий всхлип и покачивание земли на серебряных лунных нитях. Только почему так покачивает ее? Ох, Сташек, Сташек...

Уже дойдя до самой звонницы, Оксана неожиданно услышала печальный, стиснувший ей сердце голос — голос, который стал умерять ее боль:

Світи, світи, місяцю,
Ще й ясна зоря,
Просвіти доріжку

Аж на край села.
Прослали доріжку
Аж на край села,
Аж до того двору,
Де живе вдова.

Но Стах не приближался, а удалялся от вдовьего двора. Вот уже пропал за вербами, за хатами, вот и стихла его песня, и вдове полегчало, и она уже казнит себя за глупые мысли. Обессиленная, хочет присесть хоть посреди улицы. Но тут ее могут увидеть, и Оксана подходит к церковной ограде, отворяет калитку и останавливается то ли перед старой звонницей, то ли перед своими молодыми летами. И не верилось ей, что были у нее те молодые года, пока вверху, в колоколах, не зашумели притаившиеся ветры...

Сама не зная для чего, открыла двери звонницы и скрипучими ступенями начала подниматься к тем ветрам и к тем колоколам, которым вот уже столько лет откликалась ее душа.

Опять перед ней потянулись в неизведанное выбеленные месяцем дороги, опять поднимались ввысь осыпанные звездами хаты и окрестные хутора. И снова в сердце не было покоя.

«А как там Владимир?» — встрепенулась и сразу же вспомнила древнюю мудрость: «Дитя спит, а доля его растет». Что же суднлось ее детям?

Молчит звонница, молчат колокола, молчит земля...

На рассвете, приготовив детям завтрак и выпроводив их из хаты, Оксана неожиданно увидела чудную сорочку, сшитую из рыбачьей сети. Сорочка и в самом деле пахла рыбой и волной, а в ее ячеях запуталась крохотка татарского зелья.

«Надо же..» — и вдова усмехнулась, грустно покачала головой и начала доставать из сундука холсты — скоро надо белить их. Оксана очень любила расстилать холсты на ровном берегу неподалеку от девичьего брода, там, где она когда-то пускала с девчатами купальские венки. Ох, когда это было...

Оксана оделась и пошла к девичьему броду. Знакомая дорога воскрешала в памяти молодые годы. Вокруг на лугу голубели проворные трясогузки, а за вербами и краснотaлом шуршала, всхлипывала и позванивала серебром река. Луговиной Оксана дошла до живой изгороди краснотала, что ласкала сережками лицо и руки, глянула на воду и обомлела: впереди, недалеко от берега, на льдине стоял ее упрямый Миколка. Широко расставив ноги, он крепко держался за вогнанный в льдину шпинь. Мало ему было вчера материнских слез. Она едва не вскрикнула, но побоялась испугать ребенка, а Миколка уже увидел мать и аж пригнулся. Страх пронизал ее с головы до ног.

— Правь к берегу, Миколка,— сказала она строго.

Малыш выхватил шпинь и начал грести им, как веслом, подгоняя льдину к берегу. И когда он научился так орудовать? Вот льдина острым краем резанула берег, а Миколка, не выпуская шпинь из рук, выскочил на луговину и с виноватым видом встал [illegible].

Некоторое время они молчат.

— Ну, что ты скажешь? — наконец спрашивает Оксана укоризненно, но не сердится и не ругает его.

— А разве я хуже других?

И слезы окропили ее душу. Она подошла к Миколке, обняла его, поцеловала.

— Не хуже, сынок, не хуже, только о матери подумал бы...

V

Скудный был урожай в этом году, да и того не стало. А когда из последнего выполнили план, прокурор Прокоп Ступач раскричался вовсю, что мягкими культурами, мол, не отделаться, и наказал вымести все подчистую, вплоть до семян на посев.

— Чем сеять будем? — выходили из себя мужики, голосили бабы.

— Хоть слезами! — грозно ответствовал страж порядка, сверля гневным взором самых неугомонных.

Правда, с посевным зерном Ступач перестарался — и рожь, и пшеницу все же привезли на посев: нашлась еще работа и людям, и государству. Отсеялось село, да и начало ложиться и вставать с печалью...

Затужила и Оксана: как же ей перебиться с детьми? Сколько ни делила свои убогие запасы, все выходило одно: не перезимовать ей. Снова и снова считала каждый початок кукурузы, каждый снопик фасоли, каждую маковку и вся холодела: ведь не было главного — хлеба. Кабы знала, посеяла бы в прошлом году жито на огороде. Только горе вперед знака не подает. Теперь дети встречали у нее больше ласки, да видели меньше хлеба.

— Мам, а почему у нас хлебушка все нету и нету? — без конца допытывался Миколка. Своей светлой головкой он так походил на золоточубый подсолнух...

— Не уродило нынче, сынок,— гладила она родную головку и отводила глаза.

— А почему у дядьки Форчака уродило?

— Дядько Форчак — он кладовщик,— вразумительно объяснил старший. — Вот я рыбки наловлю, и мама опять ухи наварит.

Но Миколка тихо вздыхал:

— Воду сколько ни вари, она водой и останется. Вот если б краюху хлеба к ней!..

От этих слов хотелось заголосить, а надо было сдерживаться, утешать детей да нахваливать то печеный картофель, то лепешку кукурузную, то пустую похлебку. Да хоть бы этого было вдосталь. Что же зимой их ждет? И, страшась зимы, Оксана реже выходила на работу, чаще брела со своими тяжелыми предчувствиями в лес — по грибы, кислицу, желуди.

Как-то уже после первых заморозков встретила на вырубке Магазанника. Откормленный, грузный, он неторопливо шагал с ружьем на крепком плече, а на широком поясе у него сиротливо болтался подстреленный заяц. Достаток и самодовольство отпечатались на лоснящемся лице, и сытость дремала в глубоких подглазьях, в складках двойного подбородка.

— Кого я вижу в своих дебрях! — удивленно подняв уголки бровей, плотно погрузив забрызганные за[illegible] кровью сапоги в побуревший вереск. И куда только подевалась его недавняя сонливость! — Вот живет-живет человек и нежданно-негаданно встретил[illegible] ся со своим счастьем! — засматривает он в хмурые вдовьи глаза.

— Вечно плетете несусветное,— сказала она с досадой.

— Самое заветное говорю, потому как звездочкой ты передо мной сияешь,— заиграли глаза под редкими ресницами. Помолчав, лесник покосился на Оксанино лукошко: — Последние опята подбираешь?

— А куда денешься? Приходится...

— Небогато нынче грибков, небогато. Они тоже время чуют,— уронил многозначительно, скользнув взглядом по низеньким пенькам. Близ них зацветали горячим изжелта-красным цветом поганки. — От первых утренников пожухли было, а теперь понемногу отходят... Как живешь-можешь?

— Вода есть, еще бы к ней хлебца на добавку, можно б и жить... — горько усмехнулась Оксана.

— Беда,— Магазанник сочувственно собрал в складки переносье. — Твои хлопцы любят грибы?

— А что им остается!..

Магазанник заглянул в лукошко.

— Может, ты мне супцу с опятами наварила б да зайчатину с чесночком стушила? — и махнул в сторону своего жилья. — Вот поднял зайца в молодняке, а к нему ведь женские руки надобны.

— А что у вас, хозяйничать некому?

— А вот и некому. Так мне обрыдли поденщицы эти. Ну как?

— Ничего, для вас они расстараются!

В зеленоватых Семеновых глазах поскучнели серые песчинки.

— И чем я тебе не по нраву? Так уж лицом не вышел?

«Душой не вышел»,— хотела ответить, но промолчала.

— А я тебе только добра желаю. Звезду с неба и ту бы достал! — и поднял вверх руки, но поймал не звезду, а лишь шелковую ниточку «бабьего лета».

— Ох, не верится, дядько, что вы такой добренький!

Магазанник сердито насупился, смял в пальцах тонкую паутинку.

— И когда ты этого «дядька́» забудешь? Для меня твой «дядько» хуже занозы... Хочешь, покажу местечко, где есть белые грибы?

— Так уж и белые? — не поверила Оксана.

— Истинный бог. Незавидные, правда, искореженные, будто грешники в аду, а все ж таки белые.

В дубняке что-то зашуршало. Оксана от неожиданности вздрогнула, а лесник засмеялся.

— Не бойся, это мой выводок поросячий на желудях и гнилушках сальце нагуливает. Как выгнал со двора после первого грома, так сейчас только с приплодом объявились. Двух кабанчиков,— заметил он озабоченно,— надо будет для откорма отобрать. Люблю ту пору, когда во дворе пахнет морозцем, ржаной соломой и паленниной, а в хате узваром и кутьей. Тогда и душа, как в раю, отдыхает, и время останавливается...

С вырубки они вошли в густую чащу и всполошили свиней. Юркие поросята и подсвинки так бросились врассыпную, что в глазах зарябило, а старые встревоженно уставились заплывшими глазками на хозяина.

— Паць-паць-паць! — ласково позвал лесник, и откормленная, гороподобная хавронья, узнав его, благодушно захрюкала. Семен подошел поближе, почесал у нее за ушами, потрогал сапогом отвисшее брюхо и удивленно сказал сам себе: — Смотри-ка, опять с приплодом! Ну прямо не свинья, а крольчиха, поросится и поросится, да все рябенькими рукавичками. Хоть и дурная у нее голова, зато брюхо разумное.— и хозяйская рачительность расплылась по лицу Магазанника. У ног его невозмутимо похрюкивала хавронья, стряхивая блох на хозяйские сапоги. — А теперь двинули за грибами.

По дороге он украдкой пожирал глазами лицо и грудь Оксаны и будто невзначай изредка [illegible] то ее плечо, то руки. Господи, и откуда [illegible] грешных такая неземная красота? Ее бы со [illegible] рядом поставить! Семен остановился.

— Вот здесь я наткнулся позавчера на [illegible] белых грибов. — И показал на холмистую поляну, где тесно сгрудились молодые дубки, листву которых уже тронула осень. — Поищи хорошенько под листьями, там их еще много,— и, раскачивая своей [illegible], быстро зашагал к себе.

А вскоре вернулся, переодетый во все [illegible] лушутя низко поклонился вдове:

— Уважь, Оксана,— освети мою келью, [illegible] минуту-другую...

— Чего я там не видела? — нахмурилась Оксана.

— Не обижай! Ты ж любовь моя [illegible]! Дозволь угостить-попотчевать гостью [illegible]. Не взыщи, разносолов всяких не имею, сластей [illegible] припас, а вот колбаской из вепрятины могу хоть [illegible] удивить: на угольях из черешневых [illegible] — пахнет так, что за полверсты почуешь.

— Так уж и за полверсты? — [illegible] Оксана, а у самой мучительно засосало [illegible].

— Не меньше,— угодливо глянул на [illegible]. — Пошли помаленьку.

Он все-таки упросил ее зайти [illegible], с тяжелыми ставнями жилье. В [illegible] дух сушеных груш, сала, [illegible] кваса и едкого дегтя. К этому [illegible] запах старых книг, [illegible], красного дерева шкаф.

— Книжками или шкафом интересуешься? — перехватив ее взгляд, игриво подмигнул Магазанник. — Книги здесь редкие, даже про любовниц французских королей имеются. И опять же шкафом полюбуйся, панский он, из красного да розового дерева. [illegible], как переливается!

Лесник повесил на колышек берданку, [illegible] стил ее, зажег самодельную свечу, [illegible] на угол стола, и многозначительно посмотрел на Оксану:

[illegible]ние — перед твоей красой, мол, даже днем [illegible] воск жгу. Потом проворно метнулся к посуднику, к печи, в кладовую.

«Черт со свечечкой»,— вспомнила Оксана прозвище Семена, подойдя к столу с горевшей на нем свечой, и погасила колеблющийся огонек — он уже подкрадывался к торчавшему из воска пчелиному крылышку.

— Ты что? — недовольно спросил лесник.

— Негоже воску плакать днем.

— Перед красотой и люди плачут.

— Помолчите, дядько.

Магазанник неодобрительно покачал головой, вздохнул, но ничего не сказал и принялся сновать по хате. Вскоре старый, тоже панский стол был весь уставлен угощением. Чего тут только не было! Свежее подчеревье, аппетитный круг пахучей колбасы, полная миска вареников, соты, истекающие медом, пирожки с горохом и к ним тертый чеснок, капуста с тмином и бутыль водки.

— Вот и есть у нас кое-какой полдник. Горошниками я тебя не порадую, они такие, что и гром не разобьет,— не хозяйка лепила их. — И хоть не хотел, а вспомнил глаза, полные истомы, в которых тесно было пламени и чаду желанья. — Ох, грехи наши, грехи... А вот колбаской из вепрятины не грех и в столице похвалиться. Попробуй! — Магазанник разломил пополам сочное коричневатое кольцо и придвинул Оксане.

Колбаса и вправду была на славу, от нее исходил дразнящий, пряный запах, и она просто таяла во рту. Магазанник на все лады упрашивал Оксану хоть пригубить чарку — не за него, так за детей — и все-таки добился своего. Сам же выпил и за детей, и за Оксану, и за ее красу, и за то, чтобы грома не бояться: всякое нынче случается. Уже сейчас в предзимье фунт хлеба стоит три рубля. У зимы ж рот и вовсе ненасытный. Не всякий, кто живет в этом году, переступит следующий.

От этих слов у вдовы навернулись слезы. Лесник захлопотал возле нее, назвал себя дурнем и снова принялся потчевать дорогую гостью.

Но Оксана сказала, что ей некогда, и поднялась из-за стола. Магазанник своей рукой-ковшом осторожно коснулся ее исхудалого плеча.

— Посиди еще часок, осчастливь мою хату.

— У вас счастья и без того полный короб, добро сторицей родит.

— Добро у меня водится, а вот счастье стороной обходит,— вздохнул лесник, незаметно приглядываясь к гостье: у уголков ее глаз нужда уже проложила первые морщинки. — Ты видишь мое житье, а я как свои пять пальцев знаю твои достатки. Не вытянуть тебе нынче. Выходи за меня, я тебе дело говорю, если не по любви, так из-за беды. А там, глядишь, и любовь придет. Недаром говорится: стерпится — слюбится. Об этом и в книгах мудрые головы толкуют,— и он ткнул толстым пальцем в господский шкаф.

Дрожь прошла по телу Оксаны.

— Не говорите мне, дядько, про любовь.

— А чего ж не говорить про любовь? Потом поздно будет.

— Вспомните свою жинку, все знают, какая была у вас к ней любовь...

— Так то к ней, а то к тебе. Разные у человека годы, по-разному он и любовь ценит. Тогда я заглядывался на десятины, теперь на красоту. Ты про детей подумай. Может, я твоя доля!

В ней вспыхнул гнев:

— Не быть вам моей долей!

Но Магазанник пропустил ее слова мимо ушей.

— Ударим, Оксана, по рукам, скажи свое последнее слово.

— Мы ведь не на ярмарке, дядько. Это там торгуются да рядятся. — В глазах Оксаны появилось упрямство.

— Так я тебе противен?

— Я этого не говорила. Бывайте здоровы.

— И знать меня не хочешь?

— Думайте как хотите...

Частые морщины пересекли лоб лесника, а на перекошенном от злобы лице проступили капли пота.

— Дурная и неразумная ты еси! Почему вместо житейских радостей ставишь крест на себе? Для кого и для чего бережешь себя? И королевы так высоко себя не ставили! Ну, скажи, кому это нужно? Гляди, чтоб потом в лихолетье со всей своей святостью не стала моей полюбовницей...

На минуту Оксана окаменела. Потом в глазах ее блеснули молнии.

— Пусть гробовая доска станет тебе полюбовницей!

Она еще успела увидеть, как помертвело, вытянулось, словно дыня, лицо Магазанника, и опрометью кинулась из хаты — в сонное похрюкивание свиней, в сонные вздохи кринок, что выгревались на плетне, в сонный свет солнца, лившийся с деревьев. Тут в самом деле остановилось или умирало время.

Магазанник не попытался догнать ее. Он не мог опомниться и растерянно застыл посреди хаты. Не мог взять в толк: откуда в ней это упрямство, да еще перед лицом такой нужды?! И как с этих нежных уст могут срываться столь неистовые речи? Ох, уж эти мне бабы! Все одним миром мазаны, все пошли от конотопской ведьмы! Магазанник приник к окну. Но со двора в лес убегало не отродье ведьмы, а сама разгневанная красота, а из ее лукошка сыпались наземь грибы.

«Рассыпай, рассыпай! Только что ты зимой будешь делать?»

Гнев так же внезапно отпустил Магазанника, как и охватил. А на смену пришли горькая жалость, сожаление о том недосягаемом, что жило совсем рядом, но сторонилось и боялось его. Неужели так и не познает он того дива, что приносит истинная краса? Неужели вместо святости любви его ждут лишь греховные утехи?

Падал и не падал первый снег, курилась и не курилась земля, напоминая спутанную дымчатую пряжу

…него вечера. И дальние деревья казались лоскутья… осеннего вечернего неба.

У татарского брода по-детски причмокивала, посасывая берег, волна. Это напомнило Оксане то радостное время, когда она кормила детей. Вдова выпрямилась на мостике, окончив полоскать белье, и с горечью почувствовала, что грудь ее увяла — недоедание делало свое. А кто-то ведь объедается сытной колбаской, томленной на черешневом угольке... Выбрось из головы пустые бредни. Вот детей надо накормить пусть какой ни есть затирухой. Как она только перезимует?

Куда девать, куда прогнать эти мысли, эту муку и одиночество, вселившиеся в душу? В тяжелом раздумье Оксана уложила выстиранное белье на коромысло, поудобнее пристроила его на плече и, покачиваясь под тяжестью ноши, заспешила домой. Вдогонку ей, по-детски всхлипывая, посасывала берег невеселая волна.

Заслышав материнские шаги, дети бросились ей навстречу, и Оксану пригвоздило к месту привычное:

— Мам, а что у нас на ужин?

Притворилась веселой приласкала золотистую и темную головки.

— Что-нибудь да будет.

— А что, что? Затируха?

— Вот и не угадал. Казацкий кулеш.

— Казацкий? — удивляется Микола. Обыкновенный ему хорошо знаком, а про казацкий слышать не приходилось. — Какой же это?

— Со шкварками и дымом.

— Со шкварками?! Ох, и здорово! — Лицо мальчугана расплылось в радостной улыбке. — А где вы сала достали?

— Тетка Марина принесла.

— Она колола кабана?

— Опять не угадал. За свои цветы заработала.

— А я у тетки Марины видел цветы, на стене нарисованные, все равно как живые,— вспомнил Владимир. — И для чего ей цветы осенью?

— Чтоб напоминали лето, когда все родит,— вздохнула Оксана.

Уже допревал кулеш и шипела заправка, уже дети от нетерпения барабанили деревянными ложками по миске, когда Оксана услыхала во дворе чьи-то шаги. Щелкнула щеколда, вторая, и в хату с мешком на спине вошел Стах Артеменко. Сбросил на пол свою ношу, и от нее повеяло запахами ветряка и лета. Натруженной рукой Стах вытер вспотевшее лицо и смущенно посмотрел на Оксану.

— Вечер добрый. Не прогоните примака?

Это «примак» испугало вдову и напомнило ту тревожную ночь, когда после несчастья с Владимиром ей померещилось невесть что и она бросилась искать Стаха, как, быть может, теперь он ищет ее. Женское чутье подсказывало ей, что Стах любит ее. Раньше Оксана не боялась этого, а после той ночи стала бо…ся и его, и... себя.

Владимир сразу же подбежал к своему спасителю, …естно поздоровался, как взрослый, пригласил к …у, достал четвертую ложку.

— Сейчас, дядько Стах, вечерять будем, казацкий кулеш поспевает.

— Не знаю, как мать,— с надеждой он покосился на Оксану, что пылала то ли от огня печи, то ли от жара в голове.

Она понимала не досказанное им, но ответила с приветливым спокойствием:

— Мать — как дети. Гостю всегда рады. Кулеша хватит, а за хлеб не взыщи, не то что муки, а и обмет весь давно выскребла.

Стах показал на свой мешок:

— Может, Оксана, пресный корж испечешь? Муку я принес...

— Как это принес?! — встрепенулась Оксана и с ухватом в руке стремительно повернулась к Стаху.

— Так вот и принес. Про детей подумал, про крестника своего,— и притянул к себе Владимира. Тот крепче прижался к нему. Миколке даже завидно стало.

— Что ты выдумал, Стах? — посмотрела укоризненно. — У тебя что, от муки закрома ломятся?

— Почитай, это все,— ответил, переминаясь с ноги на ногу. — На один замес, думаю, наберется...

— Разве ж так можно?

— Нужно, Оксана,— сказал твердо, поднимаясь из-за стола, чтобы глаза смотрели в глаза. — Хоть немного помогу вам.

— А сам как же?

— На Кавказ подамся. Там, говорят, и работа есть, и недорода не было.

— Дядько Стах, не уезжайте,— вмешался Владимир,— оставайтесь с нами. Будем вместе рыбу ловить. Оставайтесь...

— Вот кто меня жалеет,— дрогнул голос Стаха. Он смотрел на Оксану с невыразимой мукой. Молча ждал ее слова и страшился его. Страшилась его и Оксана. К чему все это? Опустив голову, она уже прислушивалась не к голосу минувшего, уплывшего, как вешняя вода, догоняй — не догонишь, а лишь к сумятице чувств, нахлынувших на нее.

— Мама, скажите вы, чтоб дядько Стах остался. — Владимир умоляюще посмотрел на мать.

Вдова печально подняла голову.

Темнея лицом, уже без всякой надежды Стах искал ее глаза, ждал приговора. Ничего не видя перед собой, он подошел к ней.

Оксана провела рукой по глазам, грустно взглянула на Стаха.

«Жду твоего слова, Оксана...» — сказал не пересохшими губами, а взглядом.

«Для чего?» — спросила немо.

— Не могу без тебя...

— Время ли думать об этом,— сказала она, жалея его, жалея и осуждая себя.

— А может, лучшего и не будет?.. Говори, Оксана...

Борясь с неуверенностью, с мучительными сомнениями, Оксана едва прошептала:

— Что ж, если хочешь, оставайся. Дети ведь, невзгоды, вдовьи лета... Не раскаешься ли?

Стах не поверил своему счастью. Неужто Оксана станет его женой?! Он хотел поверить ей самое сокровенное, но не осмелился — на них смотрели притихшие дети, они тоже почувствовали что-то необычное. У Стаха лишь вырвалось:

— Оксана, Оксанка, Оксаночка...

Это не порадовало, а ножом полоснуло: зачем, зачем возвратил он ей слова Ярослава?! Она застыла, словно во сне, неподвижно, подавленно.

— Мама, а кулеш выкипает,— оторвал ее от воспоминаний Миколка.

Оксана выхватила горшок из печи, а Стах, веря и не веря себе, все еще искал ее взгляда.

Вот и одарила она его тем взглядом, которого он ждал столько лет!

Оксана чувствовала, как нужен ему этот взгляд, и нашла его в себе. А какое смятенье поднялось в ее душе, одним вдовам понять под силу.

Поздним вечером, когда уснули дети и в хату проникло дыханье татарского брода, Стах неумело обнял ее, подвел к окну, откуда струилась лунная дремота.

— Какая ты красивая, Оксаночка!

— Уж и не чаяла услышать такое...

— Я тебе об этом всю жизнь говорить буду.

— Много ли ее осталось нам...

— Ты про что?

— Разве сам не знаешь? — пригорюнилась она.

Подошла к детям, поправила на них ряднину. Она сама ее выпряла, выткала, выбелила в голубой весенней воде. Чего только не умеют ее руки, а в нынешнем году ненужными они стали.

Стах снова обнял ее, и она, колеблясь и борясь с собой, скорей из жалости, чем от любви, несмело положила ему голову на грудь и неслышно молвила:

— И сама не знаю, как оно вышло...

— Это все мои годы, любовь моя умолила тебя. Как я мучался, думая о тебе... Как-то весной прилетел к моей скворечнице одинокий скворец, да и начал и пением, и свистом, и взмахами крыльев звать к себе пару! А ее нет и нет. Так, поверь, в песне птицы задрожали слезы.

— А потом что?

— Недели две тосковала птица, как человек, и дождалась своей пары скорее, чем человек, и тогда на радостях запела соловьем.

— Вправду так было?

— Вправду.

— Так ты думал... о моих детях?

— Не переставал думать и о тебе, и о детях... Да про безрассудство наше думал.

Оксане стало страшно.

— Про наше? Твое и мое?

— Нет, про тех ступачей, что и семена выметают из села. Где они жили, где росли, на каких дорогах человечность растеряли?.. Оксаночка, не найдется ли у тебя чего-нибудь выпить? Я ведь не знал, какое счастье мне привалит.

— Вишневка прошлогодняя.

— Вот и хорошо!

Она зажгла лампу, принесла из кладовой бутылку, достала глиняные чарки, на которых нели рисованные петухи.

— Закусить-то нечем...

— Сегодня обойдется и так. — Стах наполнил чарки, погасил свет.

— Зачем это?

— При луне лучше. За тебя, Оксаночка, за нас, за наших детей и за нашего единственного свидетеля — луну. Ты любишь ее?

— Очень.

— А я тебя.

— Ой, лукавый!

— Не лукавый, а завистливый.

— Кому ж ты завидуешь?

— Сам себе,— и коснулся ее уст, что пахли вишняком.

Весной, когда цена за фунт хлеба подскочила до шести рублей, в хате у Оксаны неумолимо поселился голод. Оксана, слабея, еще кое-как держалась, а дети совсем обессилели, глаза у них ввалились и горели лихорадочным блеском. Сдал и Стах, но он, как мог, поддерживал всех. Сначала посулил первую крапиву, погодя пообещал скорый первоцвет, за ним недолго до щавеля и липового листа, а там вот-вот и ранняя черешня поспеет. Он, мол, знает в лесу дерево, которое ягодами прямо как гроздьями обсыпано и черешни вкусные-превкусные. Вот когда наш Миколка полакомится!

— А вы меня подсадите на эту черешню? — допытывается повеселевший Миколка.

— А как же! Разве мне самому неохота с таким казаком да в лес махнуть!

И на исхудавшем, пожелтевшем личике «казака» просыпалась жизнь.

— Так махнем?

— Как пить дать. А сейчас я на речку — вдруг какую-нибудь поживу подкинет.

Как-то Стаху повезло — в вершу попалось несколько славных линьков. Он вытряхнул рыбу в торбу и подался к Магазиннику: тот тайком и только «надежным», что умеют держать язык за зубами, продавал зерно и печеный хлеб. За пуд ржи или пшеницы брал по двести пятьдесят рублей, а за фунт хлеба — шесть.

Хата лесника была заперта изнутри. Стах постучал раз, другой. Кто-то осторожно вышел в сени и столь же осторожно спросил:

— Кто там?

— Это я, Степочка.— Стах узнал Семеново чадо.

— Что надобно?

— Хлеба купить.

— Где у нас тот хлеб? — будто удивился Степочка. — Вы слыхали звон, да не знаете, где он.

— Так люди же говорили...

— Чего только не наболтают. А теперь будьте здоровы.

— Пусти его,— отозвался откуда-то из недр дома сам Магазинник.

Степочка загромыхал деревянным засовом, зазвенел цепью, звякнул крюком, просунул в двери нече-

...ую голову и придирчиво осмотрел пришедшего ...ним, оценивающим взглядом.

— Заходите, коль пришли,— и снова захлопотал с весами.

— Вот и примак Оксанин прибился к нам,— насмешливо встретил Стаха лесник.

Он сидел за большим дубовым столом, на нем исходил паром свежеиспеченный хлеб, стояли весы и миска с водой. К столу сиротливо жались две согнутые женские фигуры. Женщины были так изможденны, что, казалось, дунь ветер — и они свалятся.

Магазинник смочил нож водой, ловко раскроил пополам буханку, бросил дымящуюся половину на весы.

— Пятнадцать рубликов, точно, как в аптеке!

Одна из женщин, вздохнув, вынула из-за пазухи завязанные в платок деньги. Магазинник тем временем бесстыдно засматривал в вырез ее сорочки. Молодица взяла хлеб, понюхала, отщипнула корочку.

— Вкусно? — спросил лесник.

— И не разберу, уже отвыкла,— слезы заблестели в запавших глазах молодицы.

— А вот это уже лишнее,— наставительно произнес Семен. — Не за горами зелень всякая, а там и новый хлеб. Пшеничка да жито так славно перезимовали!

Молодица вытерла слезы.

— Хоть бы дожить, хоть бы дожить...

— Ну что, примак, как живешь-можешь? — и впери[л] пытливый взгляд в Стаха. — Слыхал, из воловьих шкур холодец варил?

— Было дело.

От удивления Магазинник вышел из-за стола. Низкорослый, сытый, он походил сейчас на осеннего барсука.

— И что, Оксана ела?

Стаха передернуло. Едва сдерживая себя, он опустил глаза, чтобы лесник не увидел ненависти в них. А тот продолжал упиваться своей властью.

— Что ж ты молчишь? — не унимался лесник. — Оксана хоть попробовала твое варево?

— А вам какое дело? — не стерпел Стах.

— Ишь ты, какой занозливый! Можешь не говорить, сам знаю. И здесь норов свой показала. Ну, а ко мне с чем пожаловал?

— Рыбку принес на обмен, линьков.

— А ну, покажь! — оживился Магазинник. Он запустил обе руки в торбу. Но вдруг какая-то потаенная мысль промелькнула у него на лице, и оно стало выражать еще большее злорадство.— Нет, Стах, рыбки у тебя не возьму.

— Да вы поглядите, какая рыба, живая еще, бьется...

Магазинник помолчал, подыскивая слова для ответа.

— Знаешь, как люди говорят: грушка — минушка, сливка — слюнка, рыба — вода, хлеб — всему голова. Ныне нет мне расчету хлеб задарма на воду переводить. Были б у тебя денежки, тогда другое дело. Бери сколько душа просит. Видишь, какой хлебушек ...женький да ноздреватый — ни закала, ни остюков.

— Вот кому бы лавочником при старом режиме быть,— озлился Стах и пошел прочь из хаты.

— Я тебе припомню этого лавочника! А болтнешь лишнее, так и Оксаны не увидишь! — зашипел Магазинник; стоявший на страже Степочка заиграл всеми мускулами и на рысях захлопнул за Стахом двери, привычно загромыхав запорами.

Слабость и щемящие весенние запахи леса дурманили Стаха. Поблизости из чащи донеслось знакомое: кап-кап-кап. Стах сделал несколько шагов. Перед ним из надсеченных стволов берез стекал в ведерки первый, еще мутный сок. Когда-то его мать заправляла березовый сок сушеными яблоками. Он настаивался, набирал крепости и становился лакомством для детворы! Где детские эти годы и где могила матери?..

У него самого мог уже быть ребенок, если б не лихой нынешний год. Хоть бы уберечь Оксану с детьми! Руки свои отдал бы за хлеб, да кому они сейчас нужны, его руки...

«Кап-кап-кап»,— внятно выговаривал сок, отсчитывая бегущие минуты, и так настойчиво возвращал к прежним годам, когда мать старалась собрать то на сорочечку ему, то на сапожки, что от сознания своей беспомощности хотелось застонать...

Стах утолил жажду живительным соком, до дна испил горькую чашу воспоминаний и побрел между деревьев куда глаза глядят.

Закатывалось солнце. Для кого-то до завтра. Для кого-то навсегда.

Уже в мглистых сумерках Стах добрел до опушки, обрывающейся у перекрестка по-весеннему влажных дорог.

Где-то невдалеке зарокотали машины. Они шли вдоль самой опушки, а с того места, где он стоял, повернут, должно быть, в лес. Что же они везут? И вдруг в ноздрях защекотало не от едкого запаха бензина, не от разгоряченного дыхания моторов, а от кружащего голову пахучего зерна. Через минуту Стах уже безошибочно определил — везут ячмень. И не удивился, когда на показавшихся машинах разглядел туго набитые мешки. На перекрестке грузовики, сворачивая в лес, замедлили ход. Отчаянная мысль обожгла воспаленный мозг. Раз нельзя иначе, пусть будет так.

Пусть будет так... Пусть будет так...

Он неслышно добрался до обочины, приник к росшему у самой опушки столетнему дубу, слился с ним воедино. На повороте появилась еще одна машина и также сбавила скорость. Уже не размышляя, Стах в одно мгновение подкрался к ней, вцепился в борт и забрался на мешки. На него пахнуло крепким духом ячменя. Справившись с первым страхом, приноровившись к движению, Стах развязал мешок, наклонил его к своей торбе, и в нее посыпалось зерно, покрывая непроданных линей.

Свершилось непоправимое. Впервые в жизни совершал он кражу, перед ним разверзлась безысходность. Если бы Магазинник купил рыбу, этого бы не случилось. Этого бы не случилось. Этого бы не случилось... Мысль, словно стреноженный конь, билась

и билась на одном месте, а ведь надо еще завязать мешок, чтобы не просыпалось зерно. Надо еще спрыгнуть с машины.

Он отобрал ячменя так мало, что никто и не заметит. Никто и не заметит... Никто и не заметит...

Сначала надо было выбросить торбу, а потом выбраться самому. Стах побоялся, что в темноте не найдет ее, и, крепко прижав свое сокровище, соскочил на обочину. Соскочил неловко, упал, ударился лицом о корни и почувствовал, что пошла кровь. Стах бессознательно притиснул к ранке край мешковины, а потом испугался: ведь кровь может просочиться внутрь. «Это ж кровь перейдет на зерно»,— снова забилась мысль...

Уставший, с окровавленной щекой, Стах кое-как добрался до своего нового дома. Положив зерно на завалинку, набрал из колодца воды, пообмылся, вытерся полой пиджака и неслышно толкнул двери. Но Оксана услышала, бросилась навстречу и, будто предчувствуя беду, с болью спросила:

— Стах, ты?

— Я, Оксана...

— Где так долго пропадал?

— Замешкался малость.

Она нашарила спички, зажгла свет и ахнула:

— Что с тобой? Откуда кровь?

— Не бойся, обойдется.

— Кто это тебя?

— Упал я. Дай мне какую-нибудь тряпицу.

Оксана подумала, что ему надо вытереть лицо, и подала полотенце. Стах разложил его на полу, принес торбу, распорол ее там, где темнело, и ответил на немой вопрос жены:

— Тут кровь... я выберу зерно, чтоб детям не попало, и посею на огороде.

— Ой, Стах, пропали мы, пропали!

Оксана обхватила руками плечи и вся сжалась в комочек. Больше она ни о чем не спрашивала.

Зерно с запекшейся на нем кровью Стах посеял уже при луне, но впервые в жизни он не испытал привычной радости сеятеля. Застыв у свежей грядки, он не знал, что делать: идти ли в хату или переждать ночь на завалинке? Не знать бы никому таких ночей!..

А утром со стороны татарского брода к ним поднялись милиционер Гривко и Магазанник. Широко, по-хозяйски расставив ноги, лесник зловеще встал в дверях, устремил свои злые щелки на окаменевшую Оксану.

— Признавайся во всем! Не отнекивайся! Я сам видел, как вчера твой на машину залез. Нечего сказать, хорошего себе примака взяла!

В углу, чуя несчастье, заплакали дети. Милиционер Гривко, которого еще с гражданской как огня боялись бандиты всей округи, поглядев на детей, изменился в лице. В это время навестить свою двоюродную сестру зашел Данило, да так и замер на пороге.

— Сознавайся, сознавайся, меньше будет спрос. Бандит твой ничего не скажет! — наседал Магазанник.

У Стаха вся кровь отхлынула от лица, резче обозначились оспинки.

Оксана пробудилась от своего оцепенения:

— Какой он тебе бандит?! Бандит, живодер — это ты! Мешочек ячменя для детей муж набрал. Сколько его там было — от силы фунтов пятнадцать. А ты таскаешь сотни пудов, прорву свою никак не заткнешь!.. За фунт хлеба дерешь из последнего.

— Да откуда ты, полоумная, сотни пудов взяла? — окрысился Магазанник. Он уже был не рад, что сгоряча ввязался в эту историю. Вчерашняя злость на Стаха помрачила голову и погнала его, дурня, сюда. А теперь, смотри, после таких слов Оксаны еще и милиция что-то прикинет. — Где ты взяла эти сотни?

— А про десятинки, в лесу припрятанные, забыл? А о том украденном, что на заготовки не довез, забыл?

— Вот видишь, в какое мы логово попали? — Семен криво усмехнулся милиционеру. — Эта как ударит в колокола на рождество, так и до пасхи звонить не перестанет.

Гривко — он всякое повидал на своем веку — поднял с пола распоротую торбу, вытряхнул из нее несколько зерен ячменя, заметил высохшее пятно крови, еще раз взглянул на ребятишек и негромко сказал Магазаннику:

— Зачем нам к этому горю горькому еще новую беду приплетать? Вы же видите, дети тают, как воск...

— А закон? — затвердели безжалостные Магазанниковы глаза. — Как на это закон посмотрит?

— По закону тебя надо на крутое тесто перемесить, чтоб знал, как с людьми обращаться! — сказал Гривко в самое ухо леснику.

— Вот до чего мы дожили! — закричал во всю глотку Магазанник. — Обо всем защитнику нашему товарищу Ступачу расскажу. Пусть он рассудит нас!

Упоминание о прокуроре вконец пришибло милиционера.

— Для чего это вам, дядько? Ведь надо же детей спасать! — с укоризной молвил Данило Бондаренко.

Но Магазанник уже закусил удила.

— И такие слова я слышу от народного учителя?! И это учитель покрывает расхитителей державного добра?! Для чего же тогда он свои техникумы-институты кончал?! Читал я, читал, как ты за правду в газетке расписаешься. Так то, значит, в газетке, а в жизни пусть Магазанник за правду борется?!

— Не юродствуйте, дядько. Нечего зря стараться, отольются вам еще детские слезы!

— А я такую веру имею, что теперь кое-кто сверху тобой заинтересуется,— отрубил Магазанник и многозначительно обратился к милиционеру: — Так идти мне к товарищу Ступачу?

Гривко только голову понурил и, вздохнув, сказал Стаху:

— Собирайся, человече добрый. Жаль мне тебя, да что поделаешь... Перемену белья захвати.

Как в дурном сне, не помня себя, вынимала Ок[illegible] из шашелем источенного сундука. Стах подошел к Оксане, положил руку ей на плечо.

— Достань мне ту сорочку, что из бредня сшил. Пусть и в дальнем краю мне пахнет нашими бродами.

Оксана отыскала сорочку, слезы брызнули у нее из глаз, и что-то как оборвалось внутри. А Стах так взглянул на нее, будто обнял взглядом всю их жизнь.

— Жди меня, Оксана, жди...

— Я не слышу, ничего не слышу,— и вся потянулась к мужу. Она с ужасом поняла, что от отчаяния потеряла слух.

Лишь много позднее до нее дошел смысл слов, сказанных тогда Стахом...

VI

За татарским бродом кони топчут ярую мяту и седой туман. За татарским бродом, на казачьем, из алого мака и сизого жита выплыл полный месяц, а на кургане, неспешно вращаясь вокруг своей оси, заскрипел старый ветряк. Нынче вдоволь будет ему работы, намашется он крыльями, нагрохочется жерновами, приветливо встречая хлеборобов. Данило вдруг отчетливо ощутил запах свежемолотой муки и первого хлеба. Старые люди и теперь еще не режут первый хлеб ножом, а благоговейно разламывают его руками.

Как он любил преджатвенную и страдную пору, когда после всех тревог тихая мистерия полей становилась радостью души, когда, глядя на склонившийся колос, яснели людские думы и что-то доброе шептали уста.

...Над полями разлилась разомлевшая теплынь. Данило Бондаренко бредет по степи, а вокруг сизое жито и красная пшеница поют и поют свою колыбельную. И вся росная земля кажется ему сейчас колыбелью, колыбелью жизни и надежд. И не беда, что будни каждодневно обрушивают на него большие и малые заботы, неумолимо сталкивают с глазу на глаз не только с правдой, но и с кривдой. Душа его полна неизбывной веры, а глаза светятся тем, что одни зовут наивностью, а другие — поэзией. И в самом деле, разве этот наливной колос, эта красная пшеница, это кудрявое просо не поэзия?! Не только тот поэт, кто исписывает бумагу стихами, но и тот, кто думает неотступно думу о хлебе, чья душа живет всеми радостями и тревогами человеческими...

«Этак, чего доброго, недолго и к чужой славе примазаться! — посмеялся над собой Данило и вдруг услышал со стороны татарского брода чьи-то размеренные шаги. — Видать, еще кому-то не спится перед жатвой, еще кто-то болеет за урожай, радуется новому хлебу,— подумал Данило. — Да нет, этот только на хитростях да на целковом выезжает. Надо же в такую ночь испортить себе настроение!»

— О, да это вы, Данило Максимович! — весь замирает от напускной радости лесник и уважительно сдергивает широкий, как решето, картуз, отбрасывает за плечи берданку.

— Да, это я,— не скрывая насмешки, подражает Данило высокопарному тону Магазанника.

Лесник нахлобучивает картуз и обиженно разводит руками.

— Эх, Данило Максимович, ну, случилось нам когда-то побить горшки, так неужто до сих пор веры в меня не имеете?

— Откуда ж ей взяться?

— И совсем даже напрасно,— вздыхает лесник. — Давно мне охота потолковать с вами по душам, а вы коситесь на меня, как на лешего. И с чего бы это?! Разве не одинаковые пчелы в наших ульях роятся? — и он постучал пальцем по лбу.

— Ой, боюсь, в вашей голове не пчелы, а шершни гудят,— невольно рассмеялся Данило.

Лесник опять деланно вздохнул и заговорил с чувством превосходства:

— Эх, молодо-зелено... Все мы смолоду горячие да несговорчивые: жизнь-то еще не обтесала, в железных тисках не обмяла. Вот и носимся очертя голову со всякими идеями да справедливостями. А как завертит-закружит житейская суета, как увидишь, что люди вон как научились хитрить, так от идей ничего не останется. Вот и приходится плыть по течению, а иначе ведь недолго и на дно угодить! А как нужда вдруг прищучит, так и вовсе улиткой в раковину свою заползешь. Идеи, известно, цветочки, а ягодки ой какими горькими бывают! Вот женитесь, детишки, даст бог, пойдут, да как один закричит: «Хлебца», другой: «Молочка», а жена: «Денег нет», так сразу станет меньше романтики. Тогда и меня перестанете судить судом тех праведников, которым достаточно в голове идей, а на плечах пальтеца на рыбьем меху.

Данило с удивлением прислушивался к разглагольствованиям лесника.

— В вашей-то голове идей шаром покати, зато в закромах запасов хоть отбавляй: полсела может прожить да еще останется...

— Из чужой криницы легче воду черпать, чем свою выкопать,— нахмурился Магазанник. — Неужели нам места на земле не хватает? Или все старое забыть не хотите?

— Не могу...

— И опять же напрасно. Это я за старое зуб на вас иметь должен. А я ж махнул рукой на свои тысячи кровные да на обиды, что изгрызли, доняли меня до печенок, и иду с вами на мировую! Вы что, забыли разве, как на обе лопатки меня положили?!

— А вы забыли, за что?!

— Знаю, но зачем вспоминать об этом? Чем попрекать человека его же добром да достатком, лучше подумайте, как ваш колхоз с моей легкой руки разбогатеть может...

— С вашей легкой руки?

— [illegible] ещё! — горделиво расправил [illegible] Одно ваше слово — и я кину свою [illegible], вступлю в колхоз и так вам пригожусь, [illegible] никто!.. Хотите послушать? — подобострастно спросил Магазанник.

— Что ж, говорите.

— Серчайте не серчайте, Данило Максимович, а я все ж таки скажу! Не умеем, ох, не умеем хозяйничать на земле! Никакой у нас рациональности, как по-ученому говорят. И откуда ж ей взяться, этой рациональности, когда не умеем живую копейку за хвост ухватить? Подумать только, как мы торгуем... Есть готовенькое — продаем. Нет — сидим на мели и в ус не дуем. А жалованьице-то идет... А деньги-то под ногами валяются! Вот, к примеру, такое, с позволения сказать, дерево, как осина. Что с нее возьмешь — ни огня, ни тепла. Недаром бабы говорят: не дерево, а трясучка, шипит, пенится, а толку никакого. А в хозяйских руках из этой трясучки не пена, золотой дождь потечет! — И Магазанник подставил пригоршни под этот воображаемый дождь. — Из чего самый лучший гонт? Из осины! Гонтом и помещики не гнушались крыши крыть. А у нас и гонтари начисто перевелись! И это еще не все: мало вам гонта, возьмитесь за стружку. Ка-акие из осиновой стружки цветы мастерят!..

— Кому ж нужны мертвые цветы?!

— Богам и людям. Присмотритесь как следует. Сколько этих цветов и в церквах, и на кладбищах, да и по хатам... Нету зимой живого цветка, сгодится и осиновый. По-вашему, это копейка? Не-ет, тут миллионами пахнет!

— Вот так размахнулись!

— А я вам говорю — чистый верняк! Переработайте на широкую стружку всего одну машину доброго, без сучков, осинового торца — и в кармане тысяч пятнадцать — двадцать прибыли! А сколько хлеба надо продать, чтоб такие деньжищи заиметь?! И тысячами пудов не откупитесь... Знаю, знаю, что скажете: спекуляция, мол. А вот и нет. Спекулянт всеми правдами и неправдами лес крадет, губит его. Фуганщиков нанимает, с бабами, которые цветы мастерят, коммерцию ведет. Так не лучше разве, чтоб денежки эти в колхозный карман потекли?! Не хотите со стружкой возиться — другое можно придумать. Почем в нашей глуши ведро яблок? Копеек пятьдесят — шестьдесят от силы. Груши самый первый сорт — и те больше рубля не потянут. Ну, а падалица и вовсе задаром. Черви у нас больше яблок пожирают, чем люди съедают. А если из сока падалицы да вино гнать! Денежки как с неба свалятся. Бог из воды вино делал, а мы и на дармовщинку не хотим... Сколько хошь стихов про то, как сады цветут, а ни строчки про то, как осыпаются!.. А еще неплохо мужичкам, которые побашковитей, в Сибирь податься. Там как яблочко, так рублик, как головка чесночка, так второй! Чем не заработок? За год не скажу, а за два вполне колхоз в миллионеры выйдет!

— А вы?

— Дело понятное: и себя не обижу, что-нибудь да отщипну. Другие ведь не щипать, а рвать зубами не стесняются. Время ангелов и святых прошло! — И без тени стыда захохотал. — Так оно уж ведется: гривенник вложил — целковый добыл! Пораскиньте мозгами над ценой времени, внакладе не останетесь! — И, довольный тем, что ввернул мудреное словцо, — и мы, мол, не лыком шиты, — Магазанник испытующе поглядел на собеседника.

Данило, не скрывая своего отвращения, смерил взглядом самодовольную физиономию лесника.

— И откуда что берется! Тут тебе и мертвые цветы, и живая копейка, и святые ангелы! Целая наука, как на чужом горбу денежки наживать, чужими руками жар загребать. Да только мы не плутнями, а честным хлеборобским старанием к достатку придем.

— Жди, когда это будет! Столько еще трудностей в вашем сельском раю... — донял Магазанник до живого да еще сверху соли насыпал: — Почему вы об этом молчите?

Данило вспыхнул:

— Потому, что о них больше трубят те, что в стороне стоят. Мы из кожи вон лезем, чтоб выпутаться из этих сетей, а кое-кто на этих трудностях славу праведников да деньги в придачу наживает. Вижу, сам дьявол наживы начинил жадностью вашу душу.

— Опять, видно, прошлое вспомнили, — не понял или сделал вид, что не понял страшного приговора. — Хватит вам попрекать меня жадностью. Целые державы на том сотни лет стоят! И не жадность оно, а практика!

Доказав свой «государственный ум», с досадой ударяя прикладом берданки по спелым колосьям, Магазанник заторопился в лес...

И Данилу вспомнилось то «прошлое» — первый год его работы учителем. Как-то августовским вечером он явился с назначением к заведующему школы крестьянской молодежи. Максим Петрович Диденко, вконец замотанный всякими хозяйственными хлопотами — ремонтом, севом, уборкой урожая на школьном участке, — устало поднял на него карие с теплой искоркой глаза и предложил переночевать в бывшей церквушке, «в окружении ликов святых и грешных», как он выразился, ибо другого места пока не нашлось.

Оказалось, под школу приспособили старый барский дом со множеством покоев и даже с домашней церковью, расписанной талантливым местным умельцем. Натурой ему служили свои же крестьяне. И одевал он их соответственно — в казацкие жупаны, в сапоги и постолы.

Барин, дальняя родня прославленного художника Рокотова, что родом был с Литинщины, ходил в либералах, весьма сим гордился и с удовольствием показывал гостям творения доморощенного живописца. Зато батюшка предал анафеме и барина, и живописца, потому как последний увековечил бренную плоть священнослужителя в непотребном виде, си-

[illegible] в срамной наготе, да еще среди грешников в [illegible]!

Узревши этакое диво, село несколько дней хохотало до упаду. Да если б тем обошлось! А то нет-нет даже в церкви, как вспомнят прихожане своего батюшку нагишом в пекле, так в смех! Начнется со сдавленного хихиканья какого-нибудь отпетого богохульника, а за ним пустятся во все тяжкие остальные, и в богослужение ворвется такой гогот, что хоть святых выноси,— свечи и те гасли!

Так и выжили попа из прихода: не вынес он осмеяния. Дрожки уже за село выехали, а поп все кулаками грозился басурманам нераскаянным: бога, насмешники, не убоялись!..

— Такой ночлег вам, пожалуй, больше не предоставится,— добродушно улыбнулся Максим Петрович, и вокруг рта у него полумесяцами обозначились веселые морщинки. — Вот и решайтесь для интереса. Вы ж, полагаю, не робкого десятка? А то физику нашему привиделась гоголевская панночка, так он чуть богу душу не отдал, по примеру философа Хомы Брута. Вот как бы и вам не приснилась панночка да еще Вий в придачу!

— С меня хватит и одной панночки,— отшутился Данило, так и не разобрав, всерьез ли говорит директор.

— А панночка пакостная, несносная, между прочим, у нас и наяву найдется. Прислали тут одну: до города не доросла, а село, видите ли, переросла. Не по душе ей, хоть ты что!.. Ох, и капитель мне с нею... Анитой себя окрестила: не Ганна, не Ганнуся, а подавайте ей Аниту! И личиком недурна, и глазки благостные, с поволокой, и кудри золотые, а язычок — не приведи бог, да еще и нрав как у самой злющей ведьмы... Если не окрутит кого-нибудь из новеньких, так всех нас на капусту изрубит. Вот уж кому на том свете доведется в кипящей смоле корчиться!

— А она, должно быть, не только новеньких в оборот берет?

— И мне, грешному, достается,— не утаил Максим Петрович. — За одну только церковь сколько доносов в область настрочила: заштукатурь ей богов — и все тут!

— Уж не приходится ли ей родней тот поп, которого богомаз в пекло упек?

— А ведь это мысль! — засмеялся Максим Петрович. — Очень даже похоже!.. Вы сейчас отдыхать?

— Нет, пойду раньше поля ваши поглядеть.

— Пойдем вместе.

Они вышли в сад. Там стояло десятка два ульев. Неподалеку в закатной дымке угасавшего дня замер старый конь. Пучки седины в гриве, усталость прожитых лет в потухших глазах. Распухшая передняя нога его то осторожно касалась земли, то бессильно повисала в воздухе.

Максим Петрович перехватил немой вопрос Данила:

— У нас в школе бывший червонный казак работает — Терентий Шульга. Его это конь. Про таких скакунов в старых песнях поют: «А я скочив, Дунай перескочив». Не раз спасал он жизнь казаку, не раз и сам ранен бывал, а теперь здесь век свой доживает.

Миновав ограду, Данило невольно остановился перед открывшейся его глазам картиной. Впереди, рожденные могучим дыханием земли, круглились холмы, смыкаясь с зубчатым, неровным гребнем синеющих лесов.

— Вот где чувствуешь первородное материнство земли,— тихо обронил Максим Петрович.

Он всматривался в даль, и глаза его подернулись влагой и задумчивостью.

Над августовскими молчаливыми полями из предзакатного зарева вставал тот задумчивый час, когда день уже погас, а вечер еще не настал, но уже готовился в путь, окутывая тьмой хаты. В такую пору между человеком и природой возникает трепетное единство. Природа, погрузившись в тишину, оберегает ночной покой человека. А человек, забыв на время о заботах завтрашнего дня, погружается в дарованный ему покой.

Присматриваясь к Максиму Петровичу, Данило снова ждал от него поэтического слова, навеянного полыханьем заката, а услышал неожиданно прозаическое:

— На этих вот горбах земотдел нарезал нашей школе шестьдесят гектаров земли.

— Почему же на такой неудоби?

— Больше негде было. Бог, наверно, на этих взгорках не землю пахал, а на санях катался.

Данило так ясно представил себе снежную зиму и древнего бога, который, оседлав сани, с опаской спускается с горы, что, не выдержав, рассмеялся.

— А гумус отсюда вода не вымывает?

— Раньше вымывала, а теперь многолетние травы нас выручают, особенно люцерна. Они почву помогают укреплять и культивировать. Люцерна дает за лето четыре укоса сена. И на этих гиблых горбах ученики наши, на удивленье людям, выращивают по двадцать — двадцать пять центнеров «украинки».

— А по Украине урожай всего двенадцать с хвостиком центнеров...

— Такова дань бедности, дань отсталости! С 1913 года урожайность пшеницы выросла всего на каких-нибудь два пуда. Понимаете — на два! Сами видите, как нужно помогать земле, чтоб она благодарно откликалась и помогала нам. Теперь уже те хлопцы, которые в скором будущем окончат нашу школу, будут бороться с этим отставанием. Ученики наши — истые дети земли, все больше батраки вчерашние. Поэтому не удивляйтесь, если в пятом-шестом классах увидите усатых парубков!

В уступчатые, глубоко врезанные подножья холмов волнами затекала густая синь. Край неба спустился на лес, темной мглой накрыл его и крадучись пополз по самой земле. Из этой мглистой синевы возник вдруг всадник. Что-то эпически величавое и гордое было во всей его стати, в том, как из вечернего сумрака, словно выбираясь из реки, вырисовывался конь.

Максим Петрович пристально следил за всадником, и словно сами собой у него вдруг вырвались слова старинной думы.

Ой полем, полем килиїмським,
То шляхом битим гординським,
Ой там гуляв козак Голота,
Не боїться ні огня, ні меча, ні третього
болота...

— А и вправду есть в нем что-то от казака Голоты! — сказал Данило.

В его душе нарастало тревожное чувство: где-то он уже встречал этого всадника, что видением вставал перед ним то ли из сумеречного предвечерья, то ли из далекого прошлого...

— Начинал повстанцем, потом в казачестве червонном воевал — так и пролетела его молодость. Четырежды расстреливали его. Четырежды!.. Да не одолела костлявая червонного казака! Только правую ногу довелось сменить на вербовую. Вот и прибился к нам — жито-пшеницу сеять, за пчелами ходить да сад растить...

Туго обтянутое кожей, дочерна прокаленное солнцем, с печатью глубоких раздумий лицо возникло перед Данилом. Гулкой медью прозвучал низкий голос:

— Добрый вечер добрым людям!

«И голос как будто знакомый»,— приглядывается Данило к всаднику.

— Вечер добрый, Терентий Иванович! — сердечно поздоровался Диденко. — Откуда путь держите?

— Из лесу. Там август в листве шумит, а с лесных яблонь падают и падают плоды...

Откуда же, из какой давности, вернулся к нему этот голос? Он уже слышал его, но где и когда?..

— Вы собирали яблоки на семена?

— Нет, передумал, и знаете, почему? Набрел, понимаете, на старинные записки одного монаха-садовода. Любопытно пишет. Доказывает, что нельзя культивировать яблони на дичках — у них плохо разветвляется корневая система. Не под силу ей питать крону культурного дерева.

— Интересно!.. Знакомьтесь, наш новый учитель — Данило Максимович Бондаренко.

— Бондаренко? — переспросил Терентий Иванович, и какая-то тень прошла по его внезапно помрачневшему лицу.

Данило вглядывался в человека, четырежды видевшего смерть в глаза. Почему он вдруг помрачнел?

— Вы не из Тарнорудов ли, часом?

— Оттуда. А что? — удивился Данило.

Но Терентий Иванович, ничего не ответив, слегка тронул коня ногой и уехал прочь.

— Что с ним сегодня? — пожал плечами Диденко.

После голубых полей мрачная церквушка показалась темницей. Дремотные тени святых и грешных неразличимо слились воедино. Но когда Терентий Иванович внес горящую лампу, сразу отчетливо проступили лики святых. Мужественная красота, одежда, оружие — все отличало их. Но ведь это же не иноки, а чубатые запорожцы, неведомо как, при саблях и пистолях, заполонившие церковь!

— Где нашел ваш богомаз такую красоту? — невольно замер Данило.

— В прошлом...

— Каком прошлом? — И снова ожили неясные воспоминания: где он слышал этот голос?

Шульга поднес лампу к образу, напоминавшему кошевого. В пытливом взоре, глядевшем, казалось, сквозь века, читались отголоски отгремевших битв, вспыхивали отблески догоравших пожарищ...

— Из того далекого прошлого, когда мирское переходило в церковное — не столько для молитвы, сколько для раздумий, для памяти, чтоб не забывали потомки, как жили их деды и прадеды. Было ж у нас преславное Запорожье, и жили там не только воины-храбрецы, а и щедрого дара художники-творцы. Ведь и в тарнорудской церкви было несколько ликов запорожцев с оружием в руках и с чубами на головах. Да как увидел их владыка — рассвирепел! Озлился так, что аж вышитые на его ризе апостолы задрожали. Повелел святой отец сжечь нечестивые образа, истребить крамолу!

— Сжечь образа?!

— И образа, и божницы, и грамоты, чтоб гайдамацким духом, мол, и не пахло! Такой-то был у нас преосвященный, ему одни монастырские пивницы по душе были. Ну, а тогдашний церковный ктитор, не будь дурак, спрятал все в подвалах звонницы. Там на них и набрел наш Марко, кое-что перерисовал... Сказать жинке, чтоб принесла вам повечерять? Кислое молоко у нас есть. Мария и хлеб из пайковой муки может испечь, если нужно... Опять чего-то тех, что на службе, перевели на паек, а о хлеборобах забыли... Дождь собирается: нога моя что-то потяжелела,— он стукнул по деревяшке.— Она хоть и вербовая, а погоду враз чует...

— Где это вас?

Терентий Иванович помолчал: сказать ли? Но потом открыто посмотрел в глаза парубку.

— На Золотой Липе, откуда батько твой домой дороги не нашел...

— Так вы знали его? — дрогнуло и остановилось больно раненное сердце.

— Знал, сынок, знал,— низко склонилась до времени поседевшая голова. — В одном эскадроне служили, из одного котелка ели, одной иголкой обшивались, а вот рубали кого след не одной — двумя саблями!.. Очень ты с отцом схож — и глаза, и губы, чуб и тот такой же ржаной да кудрявый.

— Отчего ж ни разу не пришли, не рассказали? — с болью вымолвил Данило, в душе назвав Терентия Ивановича бессердечным.

Еще ниже опустил голову.

— Боялся...

— Чего?

— Слез вдовьих да сиротских. Горе ведь принес бы в хату. Пережила бы мать?

— Нашла бы силы!

[illegible] ...то, опричь сердца, не ведает...

— [illegible] ни разу и не подумали про нас?

— И думал, и заходил к вам как-то — на рождество и перед Новым годом. Яблоки приносил, вроде от деда-мороза, ты еще малый был, пешком под стол ходил.

— То-то голос ваш мне знаком... Так и словечком не обмолвились?

— Говорю тебе — страх одолел! Мать бы сразу в расспросы: где да где могила дорогая, где муж голову сложил?.. А что ответишь, коль не пришлось схоронить Максима? Возле той Золотой Липы надумал он вражью батарею захватить. Мы его Энеем прозвали — все возил в седле «Энеиду». Чуть не всю на память знал... Так вот, неожиданно для всех как перемахнет наш Эней через колючую французскую проволоку, что генерал Вейган из-за границы привез,— и прямиком к вражьей батарее: очень бы нам она пригодилась... А тут снаряд прямым попаданием в коня. Охватило огнем и коня, и всадника — и не стало Максиму ни солнца на небе, ни Золотой Липы на земле... Только сломанную саблю нашли. Ее хоронили, а не Максима. Вот как, сынку, воевали мы за школу твою, за учеников твоих...

Долгая настала тишина. Теперь и Данило глядел сквозь даль времени. Словно наяву вставала перед ним Золотая Липа, накатывалась волнами боль.

— Так-то, сынку... — Терентию Ивановичу не хватало слов. Он беспомощно огляделся и повел плечами, словно стряхивая с них бремя годы.

— Терентий, где ты? — послышался из-за дверей певучий женский голос.

— Моя зовет... Так я скажу Марии, чтоб кислого молока принесла и какую-нибудь лепешку, а на хлеб не богаты, ты уж не серчай. Я хоть и на деревянной ноге, а семьей бог не обидел: растут хлопцы, как из воды! Не знаю, на каких еще Золотых Липах доведется им отделять правду от кривды...

Ночью Данило беспокойно ворочался с боку на бок, не мог найти себе места. Перед глазами неотступно стоял отец. Говорят, похож он на него лицом. А похож ли волей и душой?..

Данило впервые почувствовал на себе бремя лет и за одну ночь постарел под этим бременем.

После третьих петухов он вышел во двор и побрел наугад в притаившуюся тишину летней ночи. В полутьме близкого рассвета светились разбросанные по взгоркам и низинам хаты. Спало село, спали и людские заботы. Отдыхали и небесные сеятели, засеявшие землю росами, а небо пшеницей... И не болит ли еще у кого-нибудь сердце по тому сеятелю, что полег на далекой Золотой Липе, где из его праха проросла трава или волшебное евшан-зелье, чтоб мы навечно жили безмерностью любви к родной земле?

Рядом не от ветра, а от старости или от нахлынувших дум качнулся, вздохнув, колодезный замшелый журавль, к одному концу которого навечно была привязана колода, а к другому — бадья с водой, что [illegible] золотую звездную россыпь.

А в долине вкрадчиво ворковала река, размывая берег, будила ночь, и тихо скрипело остановленное мельничное колесо. Гляди на все это, лови чутким ухом, как сбегает вода, как сбегает время, и думай о своем часе, о своем евшан-зелье...

С затуманенной головой вернулся Данило в школу, погасил лампу и лег. К окну враз приникли звезды, зашепталась тьма, и он, как в глубокую воду, погрузился в сон. Нет, его не поглотила фантасмагория гоголевских видений. Ему привиделась неведомая Золотая Липа. Только из реки она превратилась в осеннее дерево, не ведавшее, где рассеять свое печальное золото. И это дерево выросло близ их старенькой калитки, что скрипит и тужит, словно чайка над водой... А потом привиделась мать. Она вынула из сундука смушковую шапку, тяжело вздохнула:

— Отцовская еще, примерь...

Данило проснулся спозаранку. Потянулся за одеждой, сверху лежала смушковая шапка. Отец носил ее смолоду, и это было все, что осталось от него на белом свете и на далекой черной земле, где из его праха пробилась зеленая трава...

В дверь постучали.

— Входите.

Вошел Максим Петрович. Вчерашняя усталость сошла с его лица и задержалась лишь в морщинках у висков.

— Да вы изменились за одну ночь! — не скрыл своего удивления Диденко.

— Так заметно? — спросил Данило только из вежливости, и снова мыслями его завладел отец.

— Хорошо ли спалось среди святых и грешных душ?

— Вы хотите сказать, что не только во сне подстерегают человека святые и грешные?

— Слышу речь литератора, но хочу видеть еще и хлебороба, и агронома — очень они нам нужны. Очень!..

— Постараюсь быть и учителем, и учеником.

— Это серьезно? — с недоверием и надеждой спросил директор.

— А как же! Я ведь сын черной земли. Ее тревоги — мои тревоги!

— Вот спасибо! Если вы из одержимых, как меня тут прозвали, так и агрономом станете. Над каждым колоском ворожить надо, чтобы поставить крест на бесхлебье!

Данило уважительно посмотрел на Максима Петровича: в такой трудный год, когда вокруг столько невзгод, думать о будущем, жить им сумеет не каждый.

— Я и мечтал стать агрономом, да не вышло.

— У нас выйдет! — заверил Максим Петрович. — Лишь бы землю, как душу, любили. Земле руки любящие нужны, а не разбой! — И доверительно, вполголоса, сказал: — А вы знаете, сколько дают наши делянки? По двести с лишком пудов пшенички! Только до чего ж она привередлива! Посеешь на десять — пятнадцать дней позже — и все, половины урожая как не бывало! Да ржавчина точит хлеб.

как железо. Новые, новые нужны сорта, чтоб двести пудов стали нормой среднего урожая! Настала пора колдовать над низкорослыми сортами, а то в стебельчатых соки земли достаются не столько зерну, сколько соломе. Еще во времена Хмельницкого сын антиохийского патриарха Макария Павел Алеппский, путешествуя по Украине, любовался тем, что у нас в хлебах мог спрятаться всадник! А вот о зерне ничего не написал — тут, видно, мало было радости... Что ж, поедем квартиру искать?

— Нет, давайте на поля... Чем вы теперь заняты?

— Рожь сеем с подсевом клевера. Картошку копаем, капусту рубим, огурцы и помидоры солим. Мы ж сами себя кормим...

На заросшем спорышом дворе возле колодца нетерпеливо били копытами, прядали ушами запряженные кони. Сытые, ухоженные, с горевшими огнем ноздрями. Возле них, широко расставив ноги, и здоровую, и вербовую, стоял Терентий Шульга и ждал глазами солнца.

Вот занялось оно, и рассветные тени стали перебегать ему дорогу.

Каким-то удивительным было это утро... Проехали мимо придорожной раскидистой вербы, и Данилу показалось, что Терентий Иванович как-то особенно вглядывался в нее. Нога-то у него вербовая, и немудрящее это дерево стало вроде родным ему, как всегда в беде становится человеку родней и ближе природа. Только б лучше не было этих бед...

Так думалось, так виделось, и сквозь все видения к Данилу приближалась Золотая Липа и с нею являлся отец. Он забыл отцовское лицо, звук его голоса, но чувствовал руку, что когда-то легла перед походом на ребячью головку...

О руки наших отцов! Почему отлетаете вы, словно голуби, раньше времени становитесь землею, травой, росою?!

— Видать, далеко улетели в мыслях,— заметил Максим Петрович.

— Правда ваша. «В праосень золотую и синюю!..» — вспомнились чьи-то слова.

— Все же что-то есть в этом образе! — глянул Максим Петрович в даль, затканную паутиной «бабьего лета», и с улыбкой или насмешкой перехватил мысль Данила: — Посмотрите, как на ладонях лета дрожит последнее тепло, как цепко держится за него август! А звучит и дышит все уже по-осеннему...

Данило изумился:

— Да вы поэт!

— Как многие, я люблю лирику, но на всю жизнь впрягся в будни хлеба насущного. Тут не знают сна ни мои думы, ни моя душа... Вы ведь не забыли, как еще недавно «ухаживали» мы за землей: вспахали как придется, посеяли чем бог послал, помолились на солнце, чтоб принесло погоду,— и роди, боже, на работящего и лежащего! И земля-кормилица давала, что могла,— то зерно, то кровь свою. Чиновников от земли и теперь хватает, нет у них охоты поработать с душой. Одно на уме: как бы поскорее выжать из земли все соки, выполнить план на сегодня, не заглядывая в завтрашний день! А там — хоть трава не расти!..

Они выехали на обсаженный липами шлях. Пылали в осеннем убранстве готовые отгореть деревья, кроны которых сверху пылали золотом угасания, а снизу, в дуплах, отдавалось чуткое эхо ветров. И это снова напомнило Золотую Липу, и того всадника, что через колючую французскую проволоку бросился на вражескую батарею, и тот вражеский снаряд, что взметнул коня и всадника в небо. Неужели это был его отец?!

Так начался первый школьный день сельского учителя Данила Бондаренко, простого, доверчивого, чуткого к людскому горю, непримиримого ко всякому злу. Еще много лет рядом с ним будет шагать скрипучая верба и тут же отзываться Золотая Липа — не река, не дерево, что выросло у родного порога и, раскачиваясь, отзывалось жалобным стоном чайки, врезавшимся в память с раннего детства...

VII

А потом наступили иные дни, со своими хлопотами, тревогами, со своими тенями и просветами, с душевным словом и мелочностью доносов на той же бумаге, на которой можно написать и несравненный образ, и жало змеи. В такие недобрые дни Данило вспоминал своего отца на вздыбленном коне, вспоминал и круг святых и грешных в старой церквушке и, превозмогая свои боли, еще упорнее постигал мудрость книг, изучал законы убывающего и возрастающего плодородия земли, силу сортов или шел в заснеженную дубраву или в маленькую теплицу Максима Петровича: у того всегда была какая-нибудь новость, какое-то увлечение, какая-то необычная мысль, необычное слово, хотя бы о влюбленности подсолнухов в солнце или о сне листьев. В теплице стояло лето, на дворе же покряхтывал мороз, вьюжила метелица, и теперь самый обыкновенный ржаной колос, что думал о цвете, наклонялся к тебе сказкой или праздником.

— Из колосочка будет горсточка, а из снопика — мерка? — вспоминал колядку.

— Дождемся и такого времени, когда будем не потребителями, а творцами. Сколько люди в печали и нужде посылают всевышнему молитв, чтобы дал нам хлеб насущный! И как мало мы прислушиваемся к языку колоса и полей. Встречаю как-то своего друга молодости, тоже агронома по образованию, здороваемся, стискиваем, как парубки, друг друга ручищами, вспоминаем зеленые годы, а потом спрашиваю:

«Как тебе сеется жито-пшеница?»

И погрустнел мой друг:

«Хочешь верь, хочешь не верь, а я уже забыл, как шелестит ржаной и пшеничный колос, он если и находит меня, то только во сне».

Главы I—VI первой части и II главу второй части перевела Леся Сабадаш.

«Это как же понять?!»

«Потому что подшиваю да расшиваю бумаги, составляю да рассылаю инструкции, сею циркуляры, а пожинаю одну неудовлетворенность. За все последние годы только раз был на ржаном поле: когда заболели почки, посоветовали мне лечить их ржаным цветом. Как вор, крадучись, срывал его, но не уберегся и заработал от разгневанной крестьянки «паразита». И до сих пор, как вспомню об этом, жгут ее слова». — «Так почему же ты не бросишь свое мертвое дело канцеляриста?» — «Потому, что получаю за него свежую копейку». Вот и подумайте после этого, как мизерная копейка из агронома, из творца делает потребителя. Разве не страшно, когда крестьянское дитя уже не думает о достатке хлеба для людей, когда оно забыло, как шелестит или истекает слезой рожь? Это я грустную завел. А вот послушайте, о каком чуде узнал у ленинградского ученого! — яснели бездонные очи, лучилось сухое, с полумесяцами морщинок лицо Максима Петровича.

— Неужели чудо? — Данило сделал вид, что сомневается.

— Самое настоящее! — загорелся Диденко. — Мы, живя зерном, еще так по-варварски относимся к нему, так мало знаем его историю, жизнь и прямо-таки взрывную силу. Только подумайте, что может сделать лишь одна предпосевная обработка семян! В журнале Санкт-Петербургской академии наук «Собрание новостей» за ноябрь 1775 года сообщалось, как один крестьянин обрабатывал посевное зерно в известковом и питательном растворах. Результаты были разительны! Представляете, каждая зернина ржи и ячменя выгоняла по тридцать — сорок могучих колосков, а в каждом колоске было свыше ста зерен. С одного зернышка выходила почти четверть фунта урожая. При таком посеве расходуется на гектар семян в четыре раза меньше, чем расходуем мы. Так это же на одном посеве, а если взять в государственном масштабе, можно сэкономить миллиард пудов! Что вы на это скажете?

— Если бы это так было! И почему же мы не знали об этом чуде?

— Сон лет или равнодушие усыпили его! — разгневался на кого-то Диденко. — Какая это страшная болезнь — равнодушие! Она поражает аппарат мышления, сердечный аппарат, оставляя только механический.

— Вы уже прикидываете, как применить у себя такой посев?

— А как же! Только подумайте, какое облегчение смогут получить люди и государство!.. А вы чего-то загрустили?

— Теперь уже нет: вы развеяли мою печаль.

— Чем? — чистосердечно удивился Максим Петрович.

— Самопожертвованием для земли.

— Не говорите таких высоких слов,— нахмурился Диденко. — Я не стою их.

— А кто же тогда стоит?

— Есть такие люди, которые заглядывают в непознанный мир,— опустил на руки тяжелую голову Диденко.

— О чем вы, Максим Петрович?

— Да об одном знакомом своем, похожем на Сократа.

— Тоже философе?

— Нет, враче, очень талантливом враче, которого не ослепила погоня за призрачной славой. А мог бы уже быть и профессором. Да, к сожалению, остался он в тени, в бесславии и варварском подозрении. Познакомился я с ним в свое трагическое время: тяжело заболела моя любовь, моя верная жена. Положили ее под нож, потом зашили и уже мне по секрету передали, чтобы я ждал самого худшего, потому что медицина пока еще бессильна. В безнадежности куда только не кидался я, и недоля или доля привели меня в селение недалеко от Днепра, где над травами колдовал молодой, но уже седоглавый врач Величко. Осмотрел он мою жену, перечитал все ее медицинские бумажки и хорошо-хорошо улыбнулся: «Когда у вас, добрая женщина, появится ребенок, то непременно пригласите меня кумом. Очень люблю кумовать...» Что же еще сказать? Вылечил он своими травами мою жену, вылечил и десятки обреченных людей, а завистники все время подрезают ему крылья, и до сих пор ходит он в шарлатанах от медицины, в знахарях, колдунах, хотя вся его жизнь — это травы и больные, больные и травы. И главное — не ропщет он на судьбу, только иногда скажет, что жаль будет, если его опыт и травы скосит коса равнодушия и зависти... О, слышите голос чечетки? «Че-чет! Пи-ю-пи... Чи-чи-чи...»

Ранней весной Данило прослышал, что Магазанник по шкуродерным ценам продает хлеб, сразу же вскипел ненавистью к торгашу и решил найти его тайник. После уроков он кружил по тем лесам, где таился со своими сокровищами лесник. Однако не так легко было его подстеречь. Зерно и хлеб Магазанник продавал осторожно и в розницу, то опасаясь сто двадцать седьмой статьи за спекуляцию, то боясь, что продешевит. Надеялся и на то, что цена поднимется на самый высокий уровень и тогда он сбудет зерно тем купцам, которых знал не один год. Поторопился только с картофелем, побаиваясь, что он прорастет, сморщится и потеряет в весе.

Шестьсот пудов он продал оптом винницким спекулянтам-шкуродерам за шестьдесят тысяч рублей, вложил их в железный сундучок и на рассвете, когда Степочка еще отлеживал в постели бока, крадучись пошел к лесной ложбинке, где издавна поселились барсуки. Тут их никто не тревожил, никто не бил их на жир, они спокойно и размножались. Вон какие норы насверлили, а возле них понасыпали заметные холмики земли.

Магазанник долго прислушивался и присматривался к лесу, проросшему негустым туманом, потом сбросил обшитую кожей свитку, завернул в нее сундучок и осторожно-осторожно начал копать яму.

[illegible] огляделся вокруг. Кто-то, кажется, кра[illegible]у деревьями? Магазанник застыл на ме[illegible] сразу понял, что это на лежалый прошло[illegible] лист капал тот нетерпеливый березовый сок, [illegible] сам разрывает кору деревьев.

За столетними дубами блеснуло солнце. А вот и первая пчела в поисках поживы золотым желудкóм упала на мать-и-мачеху, прожужжала ей утреннюю песню и начала набирать пыльцу в свои кошелочки. Жаль, что их только две у нее, а ног-то шесть. Придет же такое в голову...

Лесник освободил из свитки сундучок, дрожащими пальцами опустил в яму и затаив дыхание начал ее засыпать. Кучку земли над ямой он разровнял точно так, как это делают барсуки. Вдруг впереди послышался шорох. Страх охватил с ног до головы, ежом зашевелился в чубе. Магазанник скосил испуганные глаза в ту сторону, откуда послышался шорох, и удивился, облегченно вздохнул: возле крайней норы возилась с детенышем барсучиха. Только что вытянув из-под земли белесого потомка, она заботливо уложила его на солнце, тряхнула головой и снова полезла в нору.

И неожиданно лесника прожгла ненужная мысль: «Даже барсук из темноты выносит на солнце свое дитя, а ты и себя, и свое чадо толкаешь в темноту. Тьфу, нашел время каяться...»

Чертыхнувшись, он, пригибаясь, пошел к своему жилью, которое глохло от весенних шумов. Когда крутнул задвижку калитки, из высокой клуни выглянул Степочка, с его лица еще не сошел сон, а желтые ресницы, как и всегда, трепетали мельничками, под ними проглядывали глаза цвета разведенной синьки. Увидев отца, Степочка подозрительно скривил губы:

— Куда это вы, татуня, уже спозаранку потащились?

— Служба, Степочка, служба: государственный лес стерегу. Государственный! — И вспомнил барсучиху с детенышем на солнце.

У Степочки недоверие стерло с лица остатки сна.

— Почему же вы стережете государственный лес не с шомполкой, а с лопатой? А?

— Все будешь знать — скоро состаришься, а тебе еще жениться надо,— ответил, усмехаясь и лютуя в душе: уже и он, недоросль, вахлак, следит за отцом, нажил соглядатая, а не сына. — Перестань хлопать глазами. Лучше послушай, что святой апостол Павел писал римлянам: «Ночь минула, а день приблизился, потому отбросим деяния тьмы и облачимся в оружие света». Воистину ночь минула, и надо думать о новом дне.

Степочка немного просветлел, и даже мельнички его ресниц замедлили свое трепыхание.

— А я уже подумал, что вы где-то тайком окаянные закапывали.

— Какие окаянные?! Что это тебе примерещилось?! И когда только прояснится в твоей голове?! — Люто глянул на сына, да не испугал его.

— Вы, татуня, не жгите меня оком, ибо не очень [illegible] вас. Разве я ничего не вижу, ничего не знаю? А если надо закопать, то и меня берите с собой, потому что все может случиться. И пойдет [illegible] наследство червям на поживу.

Магазанник молча швырнул лопату на дровяник.

— Чего вы все злитесь, когда заговоришь о копейке? — снова проснулось подозрение у Степочки, что отец, скряжничая, прячет в лесах деньги.

— Не злюсь, дурень, а думаю: откуда ты взялся такой?

— Из ваших достатков да с вашего скупердяйства, татуня,— не полез Степочка за словом в карман и неожиданно развеселил этим отца.

— Э, да на твоем языке больше ума, чем в голове: вишь, какое выдал! — засмеялся Магазанник, потом взглянул на леса, что играли с ветром. — Как ты думаешь, сын, не пора ли нам раскопать подземелье под скитком?

Степочка скривился, лениво поиграл мускулами рук.

— Это же снова я как проклятый буду одну ночь выгребать землю, другую — грузить да разгружать мешки, а вы мне за это ткнете в зубы какую-нибудь паршивую тридцатку, да и все. А что мне от того и от этого?

Магазанник поучительно ответил сыну:

— Сергей Радонежский еще младенцем отказался в постные дни сосать материнское молоко, а ты, чадо недостойное, и в постные, и в скоромные дни хочешь тянуть и транжирить отцовские деньги. Помни: кто не дорожит копейкой, сам гроша не стоит, так что поменьше помышляй о моих деньгах.

— О чем же остается думать Степочке?

— Вошел ты в лета, входи и в ум. Земли ты, вижу, не удержишь, так подумай о другом прожитке — о службе в городе, о каком-то выдвижении, ведь теперь эпоха!

— Так пристройте меня в какую-нибудь контору или к какой-нибудь коммерции. Я и сам не хочу в лесу трубить с волками да грызться с родным отцом.

— И пристрою. Все будет чин чином, ибо есть у меня рука в районе. Может, хоть там из тебя что-то получится. А зерно из скитка все равно должны вывезти...

Старый, облупленный скиток. В нем еще до двадцать второго года проживало несколько отшельников, давая приют то бандитам, то дезертирам. Не раз навещал скиток и атаман Яков Гальчевский, что именовал себя Орлом, скрывалась тут и его жена Мария. А потом эти орлы, как совы, сбежали в панскую Польшу, чтобы уже не обрезом, а отравленным словом стрелять в молодую советскую державу.

Со временем монахи покинули леса, на какое-то время остался было один, да и тот погодя подался в село портняжничать. Ненастье же сорвало кровлю со скитка, обвалившиеся стены его неожиданно изнутри проросли рябиной. Вросшие в камень деревца весной цвели пушистым цветом, а осенью краснели гроздьями ягод.

[illegible] людская забыла и монахов, и Гальчевский скиток, и только в тридцать втором году о нем вспомнил Семен Магазанник: ведь под скитком было подземелье, где монахи держали зерно и продукты. Так зачем ему копать в лесах яму, если можно в подземелье запрятать зерно — и добытое мошенничеством, и собранное на лесных полянах и вырубках? Ровно сто мешков ржи, пшеницы и проса заложил Магазанник в монашеское подземелье, а дверцы к нему засыпал землей, гнильем и штукатуркой. Если даже оптом продать это зерно спекулянтам, то получишь сто тысяч, а можно же и по пудику, по полпудика сбывать людям, тогда еще набежит несколько тысяч. Надо хватать их, потому что второго такого года уже не будет. Может, после него поехать на Кавказ или в Крым, купить дом и спокойно, в тепле да добре, доживать век возле синего моря? Правда, там не будет такой роскоши, как в этих лесах, зато будет покой для сердца. А то разве далеко Винница от Полтавы? Может, кто-то и выжил из тех смертников, что когда-то попали в лапы [illegible]. Может, кто-то из друзей Човвяра [illegible] к нему — покупать хлеб, а возьмет жизнь?

Судьба не говорит человеку о своих путях. Почему-то он сейчас трусливым стал. Или это уже старость усаживается на плечи, или голод тревожит большим, да сомнительным рублем и сомнительным покупателем? Нет, надо все-таки сбыть хлеб оптовикам, да и пробираться к синему морю. Там он затеряется в людской суете, как иголка в сене. Да вдруг у него защемило внутри, и сквозь поля, и сквозь леса пробился голубой блеск Оксаниных очей. Надолго же укоренилась ты в сердце, как вот та рябина на камне скитка...

«Не ты носишь корни, а корни тебя»,— снова пришло на память Священное писание. «А может, еще раз сходить к ней? Наконец-то должны же лишения если не сломить, то надломить женщину, надломить ее честь. Прижмет нужда тело — и нечисть в душу забредет. Вот тогда и дознаешься, чего она стоит и все ли покупается-продается».

С такими мыслями он зашел в жилище, положил в карман свежую пампушку, снял с колышка ружье, проверил, заряжено ли, да и подался в дорогу за своей любовью или, может, за позором.

— Куда вы, тато? — остановил его Степочка. И теперь в его взгляде проскальзывало подозрение.

— В приселок должен пойти.

— А кто же две выпечки хлеба продаст?

— Продавай, Степочка, ты, а деньги себе на гулянки возьмешь,— расщедрился отец, в душе задабривая перед дорогой судьбу.

— Все?! — обрадовалось чадо, и подозрения в глазах как не бывало.

— Все.

— Хорошая будет у меня вербная неделя!

У Степочки от радости и удивления даже остановились мельнички ресниц: это же сразу четыре-ста рублей положит в карман! И радостно осклабился, прижимая к зубам губы в улыбке.

«Даже усмехнуться по-умному не умеет».

Магазанник грустно посмотрел на свое занозистое, падкое на копейку чадо, покачал головой. Нет у него настоящего наследника, а есть недоумок. Когда корень греховный, то и ветки греховные. На службу, только на службу надо его, шалопута, определить, а то если натолкнется на запрятанные деньги, то и клад заберет, и век твой укоротит. Ох, Оксана, Оксана...

Черноголовая, исхудавшая за зиму синичка, поворачиваясь то хвостиком, то головкой к нему, негромко, монотонно затвердила одно:

«Че-е-ло-век, че-е-ло-век, че-е-ло-век».

Не ошибаешься ли ты, пташка? Нет тут человека, а есть купцы-продавцы. Вот как растревожил неожиданный взгляд Оксаны. У нее он хочет найти для себя душевный затишек, да вряд ли его душа где-нибудь найдет покой.

На татарском броде он увидел в лодке Оксанина Владимира. Мальчуган внимательно смотрел на поплавок и зябко кутался в куртку, которая казалась чересчур большой на его плечах. А лодка та же самая! Почему же он и до сих пор боится ее, как боится грозы? Время уже рвать суеверную пуповину. Время!

— Эй, хлопче, перевези!

Владимир поднял тяжеловатую теперь для его шеи голову, потом медленно смотал удочку, ударил веслом по зеленой волне. Молча причалил к берегу, молча оттолкнулся от него, только весло печально говорило: хов-хов, хов-хов.

— Мама дома?

— Дома.

— Что она делает?

— Болеет.

— И отчего?

Хлопец с укором поглядел на него, а потом сказал только одно слово:

— Садитесь...

Лодка, зашипев, уткнулась в берег, который так и высвечивал настоящим серебром вербовых котиков. Магазанник поднялся, вынул из кармана пампушку, подал мальчугану:

— Это тебе за перевоз.

Владимир сначала растерялся, потом обеими ручонками схватил белое тельце хлеба.

— Спасибо вам, дядько,— а затем крикнул: — Миколка, Миколка!

Недалеко от берега, с пастбища, поднялся Миколка. Брат показал ему пампушку, и малый, словно подбитый птенец, заторопился к хлебу. Они тут же, на берегу, разломали пампушку, сразу съели ее, а потом вспомнили о матери.

— Я ей щавелька нарву,— оправдываясь, сказал Миколка и снова подбитым птенцом засеменил на луг, а Владимир сел в лодку, забросил удочку, надеясь на рыбацкое счастье.

Магазанник дошел до Оксаниного двора, увидел за плетнем почерневшие, с открученными головками подсолнухи, увидел полуоткрытую дверь сеней, голубоватые, как Оксанины глаза, окна, куст калины

[illegible] и почему-то по-глупому заколебался, не смог даже зайти на подворье, а оперся обеими руками на ворота. Они заскрипели под его тяжестью и насторожили длинноногого аиста на хате, что должен был принести, да не принес счастья в жилище.

Аист взмахнул крыльями и взлетел во влажные, меняющиеся шелка неба, которое не знало, что ему делать: сеять мелкий, без грома, дождь или поискать заблудившееся солнце.

У неба свои хлопоты, а у человека свои. Вот, как и мечталось, он в лесах нажил богатство, пусть потаенное, но все же богатство: золото, серебро, бриллианты, цену которым узнал еще в гражданскую войну. Опять-таки чертов Безбородько научил его ценить и выдирать эти каменные слезы — вспомнил своего страшного начальника по державной страже... Богатство! Сколько оно манило, и манит, и ослепляет людей. Выше его не поднималась тревожная мысль сребролюбца...

Но почему же он, богач, стоит, словно нищий, возле стареньких, хрупких воротец, которые открывают и закрывают женские руки?.. Может, и нет любви, но что-то такое все же есть, что волнует душу и немного очищает ее от житейской скверны. И хоть столько горечи принесла ему Оксана, да он знает одно: не будет таких верных Оксан — измельчает жизнь людская, приблизится к скотской.

Из сеней тихо вышла Оксана, сняла с плетня детское белье и, прижимая его к груди, словно спросонья, пошла к хате. Теперь ему стало жаль ее, жаль преждевременных морщин, которые посновало не время, а бесхлебье, и тут же затеплилась надежда. Сейчас, может, женщину легче будет укротить или склонить к себе, а что будет дальше — покажет время.

— Оксана,— позвал одной болью. Даже не знал, что она может получиться у него такой искренней.

Женщина остановилась, печально поглядела на ворота, покачнулась от неожиданности, гордо выпрямилась, и он заметил под ее глазами синие полосы от истощения. Ничего, через неделю-другую его достатки смоют их.

— Чего вам, неотвязчивый?.. Как вы посмели?

— Опять гневаешься. И зачем, и для чего это? Сама видишь, какая ты сегодня: легкая, словно обмолоченный сноп, совсем истощала, даже смотреть больно... Приходи ко мне. Как хочешь приходи — или женой, или кухаркой, или так... в гости.

Оксана лишь гневом полоснула его.

— Пусть к вам в гости лихо с бедой приходят! — и пошла к хате, хватаясь руками за детскую одежду или, может, за свое сердце, а на хату опустился аист. Принесет ли он счастье кому-нибудь в этом жилище?

Как нищий пришел и как нищий поплелся Семен Магазанник обратно в леса. Не суждено ему привести в свой дом красу, не суждено. Наверное, придется сначала одному, без Оксаны, без Степочки, [illegible] к синему морю, на его берега, где отдыхают, [illegible] больше торговли и больше доступных женщин.

А сегодня он пойдет к Василине, упьется своей горилкой и хмельными чарами, да и заснет на е[illegible] груди, с которой, верно, смывалась не одна скоропроходящая любовь. Когда нет настоящей любви, то находи хотя бы скоропроходящую, ибо, как писал протопоп Аввакум, вода во всех женских криницах одинакова. Тоже, верно, досадило ему ведьмовское зелье.

Злой на себя, на все женское отродье и на Василину, с которой должен провести ночь, он даже не замечает дня, где-то потерявшего солнце.

Леса встретили его тревожным шумом, да еще он, как суеверный человек, зачерпнул тревогу с Оксаниного двора, и она бродила по его телу злым предчувствием. Крадучись добрел он до барсучьих нор, околесил их, нашел первые после зимней спячки следы зверей, нашел уже подсохший холмик земли на своем кладе, немного подровнял его хворостинкой и направился к дому, ибо любовь — любовью, а обед — обедом. Да и Василине надо что-то приготовить. Есть на свете святая красота, но есть и грешный соблазн, так хотя бы им заглушит свои неудачи.

Подходя к лесничеству, он вдруг остановился на [illegible], почему-то вспомнил встречу с Данилом Бондаренко, который не первый день любовался его лесом. Нашел диковину! Что-то очень идейный он, та[illegible] и Ярослав Хоролец был. Нет, тревога не даст спокойно и ложку борща съесть. Вот уже и думай не о Василине, а о Даниле. Что ему тут надо?

Лесник взял влево и пошел к тому месту, где стоял скиток, из когда-то расписанной утробы которого росли перекошенные деревца рябины. Скорее надо из этого подземелья выхватить зерно. Легко сказать — пятьсот пудов! Сразу все село можно спасти! Но даже мысль об этом испугала его. Одно дело — подарить нужному человеку ведерную липовку меда или запечатанные соты, а другое — зерно. Теперь вон оно какое богатство! Это же пристанище его — синее, как Оксанин взгляд, море. Да не сошелся свет клином на ее чарах, найдутся и другие, а пока что пусть пройдет день и настанет вечер.

Вот уже и скиток сереет между деревьями, вот уже со стен его проглянула рябина, что пробилась из голов и плеч рисованных святых. А неплохо придумал: спрятать святое зерно в святом месте. Продавать же можно и в грешном. Магазанник обходит скиток, чтобы хоть издали взглянуть на заваленные землей и штукатуркой двери. И вдруг его ноги, все его тело на мгновение окаменели, а старое строение с молодой рябиной стало расползаться на глазах: не дьявольское ли наваждение, или и вправду возле стен он видит свежие кучи земли?

Магазанник, веря и не веря себе, приник к старой березе, на глаза ему наплывает потревоженная, перекопанная земля, а ухо слышит, как на ржавых петлях поскрипывают кованые двери подземелья. Кто же так внезапно ограбил его среди бела дня? И что теперь делать ему? Наверное, лучше всего —

бросить свое добро да и втихую запрятаться в дом. Пусть кто-то давится его зерном, его богатством, лишь бы не схватить сто двадцать седьмой статьи... А может, там Степочка тайком старается, пока отец ищет любви? Нет, у Степочки на это не хватит сме-лости. Скорее, скорее назад от заклятого клада! Но ноги не слушаются, и не испуг — жадность ведет его дальше! Вот и накликала Оксана своим словом напасть...

Снова заскрипели ржавые петли. Даже сердце разрывается от этого скрипа. Магазанник остановился. Идти или не идти? Идти или не идти? Теперь вся земля стала для него шаткими мостками, а он нищим стоит на них перед своей недолей. Не гневи ее, не гневи. Тихонько иди по подснежникам домой, кусай там локти или заливай свои терзания казенной горилкой да стряхни с себя лихо, а не то тут же лицом к лицу встретишься с белой. Да нет сил отвернуться от богатства, хотя на нем и сидит его лихо. Это в гражданскую войну он однажды бросил в глотку своему лиху одноглазому кошелек с червонцами и драгоценными камнями. Но для этого нужна была решительность, а теперь ее нет... Идти или не идти?

А тем временем из подземелья поднимается его лиходей. Как и думал, это был он, Данило Бондаренко. Идейный! Пока не видит, может, подальше от греха? Но вдруг все взбунтовалось против такого позорного бегства, а кровь так ударила в голову, что даже загудела она. Магазанник люто срывает с плеча ружье, наводит мушку на сердце Данила и — пан или пропал — хрипит каким-то незнакомым, надтреснутым голосом:

— Стой! Стрелять буду!

Данило вздрогнул, потом удивленно поднял голову, встретился глазами с лесником и не испугался шомполки, а искренне захохотал.

— Это вы, дядько Семен, шутите с перепоя или в самом деле бабахнете из своей пушки? Вот будут и мне, и вам печали.

— Стой! — услыхал уже свой обычный голос, и откуда-то донесся похоронный звон. Это отозвалось колоколами прошлое, когда он вот так же держал в руках, но не шомполку, а трехлинейку. — Застрелю.

Данило, будто от страха, пригнулся, еще раз смешливо взглянул на Магазанника и весело крикнул в дверь подземелья:

— Хлопцы, прячьтесь по всем закуткам, а то Магазанник собирается войной на нас! — и снова беззаботно засмеялся, а подземелье эхом откликнулось ему.

«Выходит, привел, дьявол, целую бригаду. Еще с утра подземелье было кладом, а теперь становится судом. И почему я не отошел от своего лиха?» Дрожащими руками лесник опускает ружье, потом кое-как забрасывает его на плечо и медленно подходит к Данилу.

— Что вы тут делаете? — спрашивает как можно спокойнее.

— А вы, дядько, не знаете? — даже заиграли бесики в серо-голубых глазах. — Ну и перепугали же вы меня — сердце и до сих пор дрожит, словно осиновый лист.

— Тогда извини. Так чего же вы тут копаетесь? Старину какую-то или сокровища ищете в скитке? Было тут когда-то много всякой всячины, даже икона от Богдана Хмельницкого. Не за ней ли гоняетесь?

— Ох, дядько, дядько, ну и хитрая же вы лиса! — покачивает чубом Данило и неожиданно, взмахнув, как птица, руками, срывает с плеча лесника ружье.

— А это что? — возмущенно вскрикивает Магазанник, не поняв, что оно и к чему.

— Смерть отбираю у вас, дядько, а то зачем вам такой союзник? — насмехается Бондаренко.

И только теперь лесник сообразил, как его обвел этот желторотый: в подземелье же, кроме эха, никого нет. Никогошеньки! Он чувствует, как злоба полосами разливается на щеках, и изо всех сил бьет Данила ногой в пах. Но парень своевременно отскакивает, потом, словно молотом, ударяет лесника кулаком в грудь, и тот навзничь падает на землю, набухая шумом крови и леса. От обиды, от бессильной злобы хотелось заплакать, завыть. Как же его обманули, провели! И кто? А он, дурень, стоял возле скитка словно подмененный. Хоть голову спасти теперь. И, скрючившись, обхватывает ее обеими руками. Да хлопец не бьет его, а добивает словом:

— Как оно, дядько? Прогрелся грунт под вами? «Чтоб тебя черти в аду прогрели».

— Данило, что ты сделал со мной? — спросил Магазанник, вставая с влажной земли, где поднимались и не поднимались примятые им подснежники.

— Пока еще ничего, но сейчас под этой игрушкой, — качнул ружьем, — поведу кого-то в село. Там вы немного поостынете, а мы тем временем заберем из подземелья, что надо забрать.

— В село ты меня не поведешь, ибо не пойду, а стрелять ведь не будешь. И зачем тебе мое бесчестье? — сказал уныло. — Лучше пойдем на мировую. Так и мне со Степочкой, и тебе будет лучше.

Данило понял, что Магазанник никуда не пойдет из леса. И ружье не напугает его. Что же делать теперь? Пойдешь сам в село, так, смотри, пока вернешься, зерна и след простынет. Вот незадача... Он покосился на лесника:

— Как же вы хотите мириться? Хитростями да мудрствованиями?

Магазанник оглянулся.

— Считай, по-королевски, ей-богу, — и снова оглянулся. — Пойдем к моему жилью, и я тебе из рук в руки положу десять тысяч рублей — столько, сколько ты не заработаешь и за пять лет своего учительствования. Оно идеи идеями, а есть что-то надо. Так по рукам?

Данило не то поморщился, но то усмехнулся, покачал головой:

— Маловато, дядько, маловато. За идеи больше платят.

Магазанник удивился, насупился.

— Это же дармовые деньги тебе плывут, а ты говоришь, маловато,— с укором посмотрел на хлопца.— Но торг есть торг. Давай свою ладонь.

— А вы отхватите ее с плечом, я же знаю вас,— скалит зубы Данило и нисколечко не унывает. Что это за человек?

Лесник вперил глаза в землю, в измятые им подснежники, и вполголоса пробормотал:

— Тогда бери, парень, пятнадцать тысяч и не морочь больше голову. Чего еще тебе надо? Это ж десять лет твоей работы!

— И на всю жизнь бесчестье,— внезапно отрезал Данило, и золотистые колосья его бровей взлетели вверх.— Неужели вы думаете, что и совесть покупается-продается?

— Так зачем же тогда ты торгуешься со мной?! — возмущается Магазанник.

— Хотел посмотреть, какой вы в торге. Может, это и мне пригодится,— наполняется язвительностью каждое его слово.

— А если я тебе двадцать тысяч дам?

— Даже миллионы, дядько, не помогут, ни ваши, ни чьи-то. Вот так-то...

И Магазанник понял, что он ничем не соблазнит этого чудака, у которого только и имущества, что ботинки на ногах да выношенное пальтишко на хребте. Ох, эти идейные! Не было из-за вас жизни в революцию, нет и теперь. Испуг сковывает его нутро, и он, понурившись, едва выдавил слово:

— Что же ты хочешь делать со мной? Зерно, если пофортунит, может, и вывезешь. Может! А со мной начнешь судиться?

— Наверное, придется.

— А ты подумай хорошенько — и не судись,— уже не просьба, а скрытая угроза прозвучала в голосе лесника.

— Это ж почему?

— Потому, что мало будет радости во всех судопроизводствах и судах и тебе, и мне. Ты, скажем, начнешь топить меня, а я упрусь на своем: не мое просо, не мои и воробьи. Свидетелей у тебя нет, а за меня кто-то может и заступиться, еще и тень на кого-то бросит.

— Какую тень? — и удивляется, и возмущается Данило.

— Хотя бы, к примеру, такую: почему ты, а не кто другой нашел это зерно? Может, ты с кем-то в сговоре по этому делу. Оно ведь так в мире: над одним гремит, а другого молния убивает. Кто-то мудро придумал: осторожно иди по земле, а то провалишься.

Данило только головой покачал и коснулся пальцем лба.

— Сколько же хитрых ходов в вашем кротовище. Так вот: судиться я не буду — возьму грех на свою душу, если вы поможете перевезти зерно в село. Не думайте, что вашего коварства побоялся, о зерне думаю.

— Спасибо и на этом,— хмуро поблагодарил лесник.

— Пошли за лошадьми.

— Пойдем,— выдавил из себя Магазанник и поплелся впереди учителя. Возле конюшни, где почему-то тревожились кони, остановился, вперил глаза в учителя.— Еще раз, долей своего сына, спрашиваю: не будешь топить меня?

— Я уже все сказал. Выводите коней...

Как не своими ногами подошел лесник к дверям конюшни и на какую-то минуту прильнул к ним, а в боли его, от которой пухла голова, уже начинал пробиваться завтрашний день, завтрашнее следствие. Подозрение — оно все-таки падет на него! А как бы его подбросить кому-то? Было же раньше зерно и в колокольне, и в скитке. Монахи разбрелись по свету, а старые запасы остались... Старые запасы! Да и прокурор Ступач не должен очень наседать, так как никогда без меда не уезжал от него... С ума сойти можно от этого желторотого — бросил ненавистный взгляд на своего врага, который сейчас забавлялся его шомполкой...

В тот же день Данило Бондаренко, председатель колхоза и председатель сельсовета составили списки семей, которым безотлагательно нужна была помощь, и до ночи раздали людям зерно, лишь два мешка оставили на всякий случай.

А на другой день в школу на бричке примчался прокурор Прокоп Ступач. Он постучал в двери класса, где вел урок Данило. В широком полувоенном костюме, встал в дверях, красивый, злой, непримиримый, на его лице отражались гордость и самоуверенность. Только какая это самоуверенность: та, что выросла на преувеличении своей значимости, или та, которая прикрывает отсутствие значимости?

— Вы Данило Бондаренко? — поднял припухшие веки, обрамленные темно-фиалковыми ресницами, что подошли бы и пылкой красавице.

— Да.

— Я прокурор вашего района.

— Очень приятно,— ответил машинально и почувствовал, как на губах застыла тревожная улыбка. «С чего бы?..»

— Прошу за мной!

— Но только что прозвенел звонок...

— Что?! — от неожиданности и удивления брови Ступача ершами взлетели на лоб, а рот скривило презрение.— Думаете, школьный звонок значит больше прокурорского? — Он повернулся и круто начал вдавливать в пол скрип новеньких хромовых сапог, на которых подскакивали измельченные кресты окон.

В учительской Ступач бросил на стол пухлый портфель и, округляя характерные глаза цвета угасающей сирени, вдруг гневом и язвительностью ударил Данила:

— Вы по своим убеждениям анархист?

— Нет, коммунист,— коротко ответил Данило и тоже набычился.

— Коммунист?! — то ли удивился, то ли задохнулся от неожиданности Ступач, а потом по оледеневшим губам из угла в угол перекатил недоверие.— Чем вы докажете это? Чем?

Такой вопрос разозлил Данила.

[illegible] свои убеждения надо доказывать [illegible] сараками?

— [illegible]! — выкрикнул Ступач и вонзил [illegible] взгляд в учителя. — Кто ваш первый свидетель?

— Сейчас мой первый свидетель — боль сердца! — уверенно ответил Данило.

— Что-что?! — удивился, не понял Ступач, и от удивления резче очертились его фасолеобразные ноздри. — Вы будто защищаетесь медициной, терапией?

— Нет, я защищаюсь самой обычной человечностью. Как коммунист, я убежден, что у каждого порядочного человека должно болеть сердце за людей.

Ступач снова язвительностью и непримиримостью ударил Данила:

— Это демагогия на данном этапе?

— Это убеждения на всю жизнь.

— Вы человечностью хотите прикрыть разбазаривание зерна и [illegible] свою шкуру? Кто вам дал право транжирить [illegible]?

— Время.

— Какое время? — не понял Ступач.

— Нелегкое.

— Вы мне бросьте эти штучки — теорию нелегкого времени! Я вам из нелегкого времени выкрою тесное время! Слыхали о таком?

Данило уже еле сдерживал взрыв гнева:

— Слыхал! Я тоже интересовался философией, думал, что это наука гуманитарная!

— Это намек на мою профессию? — Ступач уже рассекал его перекошенными глазами, в которых буйствовал колер отцветающей сирени.

— Нет, это намек на ваш характер да на ваши окрики.

— Как вы говорите, мальчишка?! Понимаете ли, перед кем стоите? — И Ступач ударил кулаком по столу.

Теперь Данило как можно спокойнее сказал:

— Не бейте кулаком ни мертвую, ни живую материю, научитесь уважать ее.

Ступач задохнулся от негодования:

— Я надеялся, мальчишка, что вы покаетесь, признаете свои ошибки, но раз так, поговорим с вами в другом месте, хотя мне и жаль вашей гордой молодости. Гордых время быстро гнет в бараний рог! — Он выскочил из-за стола, схватил портфель, хлопнул дверью и подался через школьное подворье на улицу, где стояла его бричка.

И теперь противный холод ударил Данила под сердце, уселся на плечах, пригнул их своей тяжестью. Хлопец тряхнул ими, сбрасывая эту тяжесть, приложил руку к сердцу. Чего ты испугалось? Не бойся, не мельчай. Слышишь?

Немного успокоившись, он снова возвратился в класс, к притихшим детям, нашел в себе силы [illegible] им и спокойно закончить урок, а потом [illegible] бродить по лугам, которые держали уже на [illegible] зелень и первые кисти первоцвета. [illegible], разомкнув веки, завтра посмотрит в глаза?

И снова холод перекатывался по плечам и спине. Да пусть будет что будет, а он, не бросая на весы осторожность, как-то помог людям! Но есть и другая мудрость: осторожно ходи по земле. Такое хождение и ползанием может стать...

Возле райкома Ступач пружинисто соскочил с брички, небрежно махнул рукой вознице и, покосившись на свой полувоенный костюм, быстро направился к приемной. С порога он коротко спросил секретаршу:

— Есть? — и бросил свой характерный взгляд на дверь.

— Пожалуйста, пожалуйста, Прокоп Иванович,— сразу засуетилась и покраснела девушка, которая, хотя неведомо почему, побаивалась профессии Ступача, но не пугалась его византийских глаз. Секретарша много читала и все неразгаданное, таинственное называла византийщиной.

Ступач приветливо посмотрел на девушку, совсем сбив ее с панталыку, и исчез за дверью.

— А надымили... Хоть саблю вешай! — театрально остановился посреди просторного кабинета. В пословице он топор заменил саблей, так как перед ним сидели бывшие червонные казаки — секретарь райкома Виктор Мусульбас и военный комиссар Зиновий Сагайдак.

— Да, надымили,— согласился Мусульбас и положил трубку возле чернильницы. На горбоносом лице его после болезни еще оставался неровный румянец.

«Словно материки на немой карте»,— подумал Ступач, который недолюбливал и побаивался секретаря, так как тот и до сих пор не может забыть его левых заскоков. Но ведь миновали они, миновали! Да и разве он теперь на работе не лезет из кожи вон?

— Садитесь, рассказывайте, если есть о чем рассказывать,— тряхнул черными кудрями смуглолицый Сагайдак.

— Я и постою, хотя в ногах, говорят, нет правды,— снова обратился к народному творчеству Ступач.— О чем же вам? Был я и у Магазанника, и в скитке, и у Бондаренко. Зерно, по-моему, осталось еще от монахов, которые умели все же хозяйничать,— в подземелье и до сих пор сухо, хоть перец держи. А вот Бондаренко надо покарать!

— Так уж и покарать? — сомнение и словно недовольство тенями промелькнули в орехово-карих глазах Мусульбаса.

— Непременно! Чтобы свой своего боялся! — и Ступач так рубанул рукой, будто и он был в червонном казачестве. — Думаете, Бондаренко покаялся? Не тут-то было! Я ему одно, а он мне другое. Я ему другое, а он мне третье...

— Вы ему третье, а он вам четвертое,— насмешливо продолжал Сагайдак. — У вас до сотого не дошло?

Ступач обиделся:

— Поговорите еще вы с ним, то и до сотого дойдете.

— Да поговорим,— загадочно пообещал Сагайдак.

— Вот он и покажет свой норов, как мне показал.

— А как вы с ним говорили?— пристально посмотрел Мусульбас.— Случайно не угрожали?

— Не обошлось и без этого.

— А для чего это вам?

— Как для чего? — и Ступач даже усмехнулся.— Надо же иметь выгоду и от страха.

— Что-что?— даже поднялся Мусульбас, и поднялись его материки.

— Говорю: в нашей профессии можно и даже надо иметь выгоду от страха.

Мусульбас переглянулся с Сагайдаком и, не садясь, тихо спросил Ступача:

— Вы не догадываетесь, какие из этой выгоды могут быть утраты?

— Для меня?

— К сожалению, для нас! Вы не слыхали такого: страх может и черта выплодить?

Ступач пожал плечами:

— Разве ж вам не известно, что в нашей профессии посредством страха можно добраться и до корней, и до семян?

— Не доберитесь до несчастья,— вздохнул Мусульбас.— Вы не думали, что страх из человека делает уже не человека, а орудие? Если не думали, подумайте, если не соглашаетесь с этим, меняйте скорее профессию. Еще не поздно.

— Но и не рано,— хмуро ответил Ступач...

Уже дремало предвечерье, когда Данило увидел на лугу Терентия Ивановича. Увязая вербовой ногой в луговине, человек подошел к нему какой-то просветленный и словно помолодевший. С чего бы это?

— Смеркается,— взглянул на небо.

— И на дворе, и в душе,— буркнул Данило.

— Не рано ли — в душе? — засомневался Терентий Иванович.

— Ступач говорил, не рано.

— Так время идет не по часам Ступача. А вас снова разыскивают.

— Те же гости в ту же хату? — сразу ощетинился Данило.— Тогда не пойду!

— Не угадали. Секретарь райкома и военный комиссар приехали.

— Ого! — невольно вырвалось у Данила, и в уголках уст пробилась горькая улыбка.— Какой чести удостоился...

— А может, и чести,— рассудительно сказал Шульга, выдернул деревянную ногу из луговины, и вдавленный ею след стал наполняться водой. Вот так идет человек по земле и оставляет за собой роднички...— Ты уж не очень переживай, ведь сердце у тебя одно и такое, что кому-нибудь и понадобится,— и добрая улыбка с губ перебросилась на его [illegible] усы.

— Ступачу уже понадобилось.

— Что Ступач? Это однодневка. Правда, не одному эта однодневка поранит душу, но и это надо пережить.

— А кто же те, что приехали сейчас? Что они за люди?

— Когда были в червонных казаках, тогда хорошая слава ходила за ними, а теперь не знаю, потому что не так давно появились у нас. Фамилия же у секретаря чудная — Мусульбас, а у комиссара запорожская — Сагайдак, хлопцы звали его Сагайдачным. И вот, поверишь, Мусульбас узнал меня, хотя виделись мы в гражданскую лишь раза три. Посмотрел на меня, на мою вербичку, снова на меня, обнял и заплакал. Вот и подумалось тогда: если будет у нас настоящая душевность, то все нам будет под силу...

В учительской Данило застал Диденко, белявого, бритоголового, с печальными глазами, секретаря райкома и статного, с красивым цыганским лицом комиссара. Робея, сжимаясь в комочек, остановился у порога.

— Вы Бондаренко? — без прелюдии спросил секретарь, поднялся, шагнул к Данилу и подал руку, на которой белело рубцеватое скрещение шрамов.

— Бондаренко.

— Славная фамилия! Историей пахнет,— пристально всматривается в него Мусульбас.— Бондарничать умеете или растеряли отцовское наследство?

— Немного умею.

— А если сделаете бочку под огурцы, рассол будет вытекать или нет? — неожиданно спросил стрельчатобровый Сагайдак.

Данила удивил такой вопрос: насмешка или что? И он тоже ответил по-крестьянски:

— Если бочку буду делать для доброго человека, то рассол не вытечет, а для плохого — то и огурцы не удержатся.

— Данило Максимович у нас молодец! — вмешался в разговор Максим Петрович и взглядом подбодрил своего учителя.— Прошу прощения, мне надо еще на вечерний урок,— и вышел из учительской.

— Шапка отцовская? — взглянул секретарь на смушковую шапку, которую Данило держал в руках.

— Отцовская.

— И характер такой же горячий, как у отца был? — прищурился Сагайдак.

— Не знаю.

— Знаешь! Так раздал, хлопец, хлеб? — перешел на «ты» Мусульбас.

— Раздал.— Что-то как льдиной кольнуло внутри, он собрал на переносице упрямые морщины и совсем не к месту вспомнил излюбленную пословицу Богдана Хмельницкого: «Что будет, то будет, а будет — как бог даст». Что будет, а стоять буду на своем.

— И не каешься?

— Раздавать добро не грех, прятаться с ним — грех.

Сагайдак, усмехаясь, переглянулся с Мусульбасом.

— Ступача испугался? — спросил тот.

Не очень, но радости от его крика и угроз не [illegible]. Кажется, он принадлежит к наследникам [illegible] Изяслава, который еще в двенадцатом веке [illegible]: «Дал бы бог здоровья, а месть будет». Не [illegible] бог такому крикуну достичь большой власти.

Мусульбас долго изучающе смотрел на Данила, потом правой рукой провел по голове, с которой тиф еще в гражданскую снял кудри.

— Далеко ты заглянул. И, к сожалению, что-то существенное подметил в характере некоторых нетерпеливых. Наверное, натерпимся мы еще с ними. А теперь о тебе: правильно поступил, что раздал хлеб, потому что прежде всего надо спасать людей.

— Спасибо,— ожил Данило.

— Не спеши благодарить. Послушай старшего годами. Раздать зерно не такая уж большая мудрость, только бы оно было,— и погрустнел человек.— Мудрее — вырастить хлеб. Ты умеешь ухаживать за землей?

— Будто умею.

— А ты мне без «будто». Знаешь хотя бы о том, что делает ваша школа?

— Этот курс науки, кажется, прошел.

— А это правда, что хотел быть агрономом? — спросил Сагайдак.

— Правда. Да по разверстке губернского комитета бедноты меня послали на рабфак при пединституте.

— Это хорошо, что тебя послало село. Выходит, верило тебе. А доверие людей надо оправдывать,— уже поучительно сказал Мусульбас.

— Постараюсь, разумеется,— не нашел ничего лучшего ответить Данило.

— Так вот, Данило, я не буду тебя стращать, как Ступач. Стращай сам себя. Мы сегодня после Ступачова наскока говорили о тебе, вспомнили и твоего отца, а тут я кое о чем расспросил Максима Петровича. И мнение наше таково: пошлем тебя в твое село председателем колхоза.

— Меня?! — оторопел Данило. «Из-под суда да на должность...»

— Тебя!.. Испугался?

— Да уж не обрадовался.

— Одним тебя утешить могу: не святые горшки обжигают.

Сколько раз слыхал эту пословицу Данило, но, кажется, только теперь он понял ее смысл. Путаясь в круговороте мыслей, спросил:

— А школа как же?

— Вот земля и люди будут тебе новой школой... Нам очень нужны те, кто бы сейчас любой ценой спасал село. Помоги людям дождаться нового хлеба,— поднял на Данила печаль и боль орехово-карих глаз секретарь.— Понимаешь, хлопче, какую тяжесть кладем на твои еще не окрепшие плечи?

— Понимаю,— безмолвно благодарил неожиданных гостей за доверие и в то же время тревожился за свой завтрашний день.

— Сердце у тебя доброе, пусть трудности не надорвут его, пусть недалекие людишки не озлобят его. Так по рукам?

— А вы сразу же в жатву не навалите на меня непосильный план?

— Э, это уже торг,— погрозил пальцем Сагайдак.

— Если тебе говорят «по рукам», то надо и торговаться.

— Поймал на слове.— Мусульбас покачал лысой головой с отблесками лампы на ней.— Непосильного плана тебе не дадим, но помни, что хлеб должны иметь и люди, и государство. И чем больше, тем лучше. Вот теперь и ломай голову над этим, думай, как поется в песне: «Ой ду́май, дума́й, чи перепливеш Дунай». Теперь твое село — твой Дунай. Выбивайся, хлопец а то нам сейчас очень трудно. Очень!

— На какие-нибудь фонды для людей можно надеяться?

— Нет таких фондов,— вздохнул Мусульбас.— Одни огорчения есть. Ими, злорадствуя, воспользуются наши враги. Да с ними нам детей не крестить. Нам любой ценой надо спасать своих людей. Так вот, повторяю: выбивайся.

— А вы хоть один глаз закроете, когда как-то буду выбиваться?

— Не имею права закрывать глаза, но и за чуб тебя сразу не буду хватать. Что тебя еще беспокоит?

— Сверхранний сев. Запретите его. Это же глупость!

Мусульбас вздохнул:

— И глупость не всегда запретишь... Сей, когда надо сеять, и спасай людей. А сейчас мы тебя подбросим в твое село.

— В темноте? — удивился Данило.

— Что для нас ночь, когда должно взойти казацкое солнце? — заиграл стрелами бровей Сагайдак.

— А как переберемся теперь через броды?

— Если проскочим казацкий, тогда, возвращаясь, проскочим и татарский, броды — не печаль! — И что-то свое вспомнил Сагайдак.— А вот есть иные у человека броды: голубой, как рассвет,— детства, потом, словно сон,— хмельной брод любви, затем — безмерного труда и забот и, наконец,— внуков и прощания. Мой дед, бывало, говорил: по четырем бродам текут воды жизни, а назад не возвращаются...

— Людей надо спасать,— прервал Сагайдака Мусульбас.

— Так по коням!

И они при луне проскакивали хмельные броды, несколько раз вспугивали на лугах сонных уток, а когда остановились перед домом правления, Мусульбас вынул из кармана то ли торбочку, то ли кисет и подал Данилу:

— Вот тебе власть в руки — печать, только больше орудуй головой, а не печатью.— Он протянул Данилу руку.— Вот и бывай.

— Куда же вы?

— Снова на броды,— ответил Сагайдак. А когда Мусульбас пошел к коням, тихо спросил Данила: — Ты слыхал, как в прудах Сахаротреста всплескивала рыба?

— Слыхал.

— И о чем подумал?

— [illegible] забрести в пруд, а утром хоть детям [illegible] ухи.

— Догадливый ты,— прищурился Сагайдак...— На твоем месте и я сделал бы так. Вот и не откладывай этого дела.

«И что он за человек? Подсмеивается, насмехается или вправду хочет как-то помочь?»

Сагайдак, верно, понял, о чем думает Данило, и вениул ему:

— А хочешь, я тебе помогу?

— Это ж как? — оторопел еще не избранный председатель.

— Завтра после собрания мы с тобой переберемся на самый большой пруд, где полупудовые карпы выгуливаются. Там хозяйничает мой добрый знакомый, вот и подкатим к нему с возом и мешками. А послезавтра вари уху и детям, и пахарям.

— Сбиваешь хлопца с пути? — неожиданно откликнулся от брички Мусульбас.

На это Сагайдак невинно ответил:

— Да нет. Это мы, как рыбаки, о королевской ухе говорили.

— Королевской или цыганской? — спросил без осуждения.

Вот так неожиданно и открылась новая нелегкая страница его жизни. И первое, с чего он начал председательствование,— обошел все хаты села, заглянул в глаза и старым и малым, вобрал из них печали на года и пошел на сепараторный пункт, где хозяйничал его друг Василь Гарматюк, веселый чернявый красавец, который недавно возвратился домой с далекой пограничной заставы. Друзья обнялись, более сильный Василь легко приподнял Данила.

— Василь, не отрывай меня от земли, на это дело найдутся другие.

— Бедный ты, Данило, ох, и бедный,— загрустили серые, необычные на смуглом лице глаза.

— Будешь и ты со мной бедным,— пообещал Данило.

— Это ж как?

— Садись, послушай. Нам надо спасать жизнь прежде всего детей. Завтра же для них откроем детсад. А что у нас есть для этого?.. Вот и помоги нам.

— Чем же я могу помочь? — удивился и насторожился Гарматюк.

— Тем молоком, что приносят тебе на пункт. Отчитываешься ты раз в месяц?

— Раз.

— Так пока твое начальство разберется, что к чему, ты отдавай мне какую-то часть масла. За него я наторгую все необходимое детям. А из снятого молока будем делать обезжиренный творог. Его выйдет, как я подсчитал, по триста граммов на человека. А это уже что-то значит.

— Быстро, по-воровски ты подсчитал,— неодобрительно покачал головой Гарматюк.

— Должен подсчитывать. Не я — сама беда подсчитала. Завтра же рыбаков отправлю на речку, и с улова будем варить в поле уху для [illegible] счастье, что есть речка и лес.

Смуглое лицо Гарматюка побледнело.

— Данило, это же через месяц нас судить будут...

У Данила задрожали губы, он обнял друга:

— Зато людям спасение. Искал бы иного выхода, так нет. Понимаешь, нет!

И Василь с грустью едва слышно сказал:

— Ой думай, думай, чи перепливеш Дунай.

— Не надо, Василь, такую грустную. Не всякое преступление есть преступление. Поверь, люди поймут нас.

— Когда? — потупился Василь.

— Если не теперь, то в четверг...

...Как это недавно и как давно это было. Что ж, и он наделал ошибок, да были и оправдания у него: для людей он не жалел ни своего времени, ни своего сердца...

«Крыйок-крок, крыйок-крок»,— уже ближе, как судьба его, отозвался молодой погоныш, и Данило по истоптанной траве начал спускаться к татарскому броду.

Гей, броде татарский, яворы и калина бережками дотянулись у самых звезд, а счастья так мало...

VIII

В разлогой чаще долины, что до самых краев налилась солнцем, колобродит, бурлит ярмарка. Над пестрой людской толпой отдается эхом нестройный шум голосов, рев скота, звон кос, гудение гончарных изделий, жалобные переливы свирели, дремотный стон лиры и еще десятки звуков, присущих ярмарочной круговерти. А над всем этим, вверху, по обе стороны покатой дороги стоят два ветряка и крестами крыльев перелопачивают голубые шелка неба.

Семен Магазанник любил и торжища, и гульбища после них, хотя и не раз приходилось везти с ярмарки домой уже не голову, а дупло с осами. И под каким бы хмелем он ни ехал, всегда, проезжая мимо скитка, с раздражением отворачивал от него голову: до сих пор не мог забыть ни зерна в нем, ни той стычки, что вспыхнула из-за него. А скиток хотя и разрушался, но на его стенах все равно росла рябина, которая и в лютые морозы краснела гроздьями ягод и сзывала в гости лесных птиц.

Сегодня лесник приехал не столько покупать, сколько прицениться к цибуле и фруктам и договориться с продавцами, что они предложат ему ранней осенью,— долго ли до нее? Выпьешь за косовицу, отпразднуешь зажинки, да и думай о кожухе и дороге в Сибирь. От одного упоминания об этом Магазанник ощущал холод в межплечье и свежий рубль возле сердца.

Журавлистый, неторопливый, будто ясный день, Лаврин Гримич, который на всю округу славился

[illegible] сразу же ошарашил лес-[illegible] Семен, я смогу дать цибули или чесно-[illegible] на закуску,— и поднял горячее золото [illegible] и на такие чесночины, каких и на выставке не увидишь. За это добро в Сибири сразу отхватишь торбу денег. И ходи кум королю.

— Это почему же только на закуску? — встревожилось жерновообразное лицо Магазанника, скривились перестоявшие пучки усов. «Вишь, рыжий, словно шершень, а еще кочевряжится».

Да Лаврину даже ответить лень, он отворачивается от Магазанника, бросает взгляд на ярмарочное скопище и невозмутимо думает о своем. Вот уж характер у него! Две войны выбивали из его тела кровь, уносили жизнь, однако не в силах были унести доброго степного покоя и доброй ухмылки или пересмешки. Чего ни случается в житейской кутерьме, как, бывало, ни шумит его Олена, а мужу и громы не громы — только бубны. Посмотрит-посмотрит, как какая-то невзгода лихорадит его жену, неторопливо поведет золотым усом, под которым таится ласковая улыбка, и скажет:

— Олена, еще и завтра день будет,— угомонись на сегодня.

Думала молодица хоть раз на своем веку поссориться с мужем, однако ничего не вышло из ее намерения, вот и сохраняет за собой женское превосходство над ним, а он — покой в мире. А уж в работе Лаврин — огонь: попробуй догони его, неторопливого, на лугу ли с косарями, или в поле со жнецами. И недаром о нем говорят в селе: этот из тех, кто делает хлеб. Правда, есть у человека и свое давнишнее чудачество — искать клады в древних степных курганах.

— Лаврин, может, у тебя не уродило? — не отстает лесник.

— У меня всегда родит,— даже не смотрит на него Гримич.

— Так какая тебя муха укусила, что портишь мне базар? — нахмурился Магазанник, к которому сегодня Лаврин отнесся не с уважением, а с пренебрежением. — Хочешь магарыч? Сейчас же поставлю бешеной! Хочешь дармового топлива? Приезжай ко мне втихую вечером! Хочешь меда? Зашпунтую липовку или две.

— Хороший мед в этом году? — на огнистых Лавриновых щеках ожили грозди веснушек.

— Не мед — одно здоровье! А захочешь, даже шмелиного для глаз привезу!

— У меня пока еще глаза не болят.

— Так могут заболеть от лука и чеснока,— посмеивается лесник.

На это он получил спокойный ответ:

— Не пошел бы ты к черту рыжему?

— Возле одного уже стою.

Теперь и Лаврин, улыбаясь, начинает играть своим добром на щеках, а уродило ж его, уродило! Ни его, ни его дородную горячеокую жену не [illegible] изобилие рыжего колера и веснушек.

— И чего ты, Лаврин, заупрямился с луком и чесноком? Не обеднеет же твой карман?

— Лучше иметь бедный карман, чем бедную голову,— щурится Лаврин и смежает свое горячее золото ресниц. — Сделай так, чтобы я тебя не видел нынче. — И горделиво отходит от растерянного лесника туда, где возле горы кринок, горшков, мисок и макитр играет румянцами и лентами чернобровая дивчина, а возле нее увивается статный обожатель с любовью и юношеской беззаботностью в глазах.

— Прочь отсюда, Петро,— будто сердится девушка и поправляет в волосах веточку жасмина. — Дай мне хоть миску выбрать.

— Зачем тебе ее выбирать? Давай закупим все до одной, да и поедем в мою хату.

— О, уже и поедем! Какой нетерпеливый,— смущается девушка и обеими руками отталкивает настырного ухажера, да погодя смягчается: — А что же мы со всеми мисками делать будем?

— Расставим в два ряда от ворот до дверей, чтобы никто не заблудился по дороге к нам,— не долго думая, сморозил влюбленный, и оба начинают смеяться.

Пускает улыбку в усы и Лаврин, не сводя взгляда с юноши.

— А у тебя хватит денег на все миски? — шутливо спрашивает девушка Петра.

— Пожалуй, нет,— не унывает парубок.

И тогда в разговор вмешивается Лаврин:

— А ты, хлопче, на ярмарку пешком пришел или подводой приехал?

— А что? — удивляется парубок.

— Не «а что», а говори, когда старшие спрашивают.

— Подводой,— переглядывается парень с девушкой и пожимает плечами.

— Так подгони сюда воз, я вам на новое хозяйство уложу и мисок, и горшков, и кринок, и макитр. Принимай, человече, задаток. — И Лаврин бросает гончару кошелек.

— Вот диво! — растерялся парубок. — Кто же вы, дядько, будете?

— Старый друг твоего отца. Он тебе случайно не рассказывал о пулеметчике Лаврине?

— Так это вы Лаврин Гримич, что моего отца в гражданскую спасли?! — вскрикнул хлопец.

— Собственной персоной,— посмеивается Лаврин, а парубок бросается ему в объятия.

— Ой, дядько Лаврин, почему же вы так долго у нас не были?

— А ты разве теперь бываешь дома по вечерам? — смеется Лаврин и глядит на дивчину, что зарделась, как калина. И откуда она, эта краса, берется?

А тем временем, обойдя щетинников, Магазанник останавливается возле Олены и похотливым взглядом ловит ее темно-вишневые полные губы, которые, наверное, хорошо знают вкус поцелуев. Есть же у чертова Лаврина такая роскошь! Женщина, наверное, угадывает Магазанниковы мысли, но не сердится, а насмешливо оценивает его лицо.

— Олена, чего это твой золотистый так хорохорится да ерепенится, будто сам сребро-злато производит? Что, он с тобой еще до ярмарки не поладил или у него деньги дармовые?

Олена оглядывает лесника бархатом очей и презрительно отмахивается от него красивым, отороченным вышивкой рукавом:

— Зачем вам все знать?

Да Магазанник не отстает и язвительно спрашивает:

— А может, Лаврин раскопал в кургане клад?

— Отгадали: наконец-таки раскопал,— неожиданно отвечает Олена.

— Это где же? — оторопел Магазанник.

— В степи, возле казацкого брода.

— Возле казацкого брода? — переспрашивает, тревожась, Магазанник. — И что же там было? Глиняные черепки? Или и золото блеснуло?

— Были и золотые украшения,— лукаво играет бровями и ресницами женщина.

— Ты смотри! И что вы с ними сделали? — переходит на полушепот лесник.

Олена так взглянула на Магазанника, будто он с луны свалился:

— Что же нам делать с ними? Полюбовались со всех сторон, я даже к шее примерила их, а потом завернула в тряпочку и... спрятала в сундук.

У Магазанника даже дух перехватило. Он туда-сюда бросил вороватый взгляд и снова полушепотом спросил:

— Олена, а вы по сходной цене не продадите мне то золото?

Женщина хотела тоже перейти на шепот, но не выдержала игры, засмеялась.

— Ты чего? — непонимающе глянул на нее Магазанник. — А?

— Да нет никакого золота у нас,— отмахивалась рукой от лесника. — Отнесли его в музей. Уж радости там было! А вам бы сразу покупать-продавать,— и на полных губах молодицы, что так и влекли к себе усачей, появляется насмешка.

— Выходит, для музея накопали добра? — растерялся лесник: вишь как высмеяли его! И кто? Погодя он уже спокойно спрашивает: — А ты не знаешь, почему это Лаврин передо мной на дыбы встает? Разве он не пользовался моей подмогой в лесу? Или мои пчелы обленились и худший взяток дают? Может, ты уймешь, его?

— И не подумаю

— Почему же?

— Лаврин не суется к моим курам, а я к его чесноку и табаку. Пусть делает, как сам хочет. Он у меня всему голова.

Магазанник удивленно поглядел на женщину, на свежую голубизну вышивки, под которой покоем лета, покоем материнства дышала высокая грудь.

— Потворствуешь ты ему, потворствуешь. За ним по пятам надо ходить, а то на другую засмотрится.

— А у него глаз не злой, пусть и посмотрит на кого-нибудь,— нисколечко не унывает Олена.

— Кадки и кадушки — покупайте, молодушки,— подал голос старый бондарь, у которого чуприна, усы и борода закрыли все лицо.

— Бабы кохани, продавайте онучи драни! — затараторил франтоватый, вертлявый тряпичник, у которого было сальное и в глазах, и в присказках...

— Так вот без мороки и сбыли бы всю вашу цибулю и чеснок... — не отстает Магазанник.

— И вы бы повезли в Сибирь? — перебила женщина.

— А что ж в этом плохого? Надо же помогать людям.

— Помогать, но не обдирать. Идите уж лучше к другим. — Олена гонит прочь от себя лесника и поднимает глаза на ветряки.

Так что ты скажешь на это? Уже и у Лавриновой жены прорезывается идейность! Магазаннику, оставшемуся ни с чем, надо было бы насупиться, но он делает вид, что не заметил насмешки, и даже кривит на губах улыбку:

— Видать, Лаврин немало нарыл в курганах кладов, что такими богатыми стали. Обыскать вас надо, обыскать. — Расталкивая плечами ярмарчан, быстро отходит от женщины, а вокруг него бурлят ярмарочные волны.

— Да покупайте, пусть не плесневеют ваши деньги...

— У вас торгу на копейку, крика на рубль...

— Вечером же, возле вербы! Чего же ты молчишь?..

— Люди вон слышат.

— А разве они не стояли возле своих верб?

Неужели и он стоял когда-то возле своей вербы, возле своей любви, нашептывал ей были, небылицы да разные дурницы?.. Хоть бы не сговорились цибульники против него, как Лавринова пара.

— Сапожник-живодер, сколько за конские просишь?

— Все деньги...

— А за хромовые?

— Половину.

— Так меняемся, меняла?

— Кто меняет, тот без сорочки гуляет.

— А что я говорю: суетный мир, суетные люди.

— И излил бог чашу своего гнева на нас...

— Позолоти ручку, красавец,— кидаю карты на жизнь...

— Бублички с маком, сами во рту тают!..

Неподалеку от бубличниц и паляничниц застонала лира, и глуховатый голос лирника почему-то тревожно отозвался в душе Магазанника.

Ой коли кінець світа іскончається,
Ой тоді страшний суд наближається...

Прямо на земле сидел крутолобый нищий, у которого на широких плечах была не голова, а словно охапка слежавшейся шерсти, а из шерсти торчал хрящеватый носище; возле нищего лежали большие засаленные торбы и глиняная мисочка, куда изредка капало мелкое серебро и медяки. Магазанника не так удивили печальный кант и патлы лирника, ка...

[illegible] которая чувствовалась под истрепанной [illegible]. Это дюжий мужик, а не хилый [illegible]. Вот серебряная монетка упала не в мисочку, [illegible] на землю, и лохматый потянулся к ней ржавой [illegible] рукой, потом посмотрел на своих слу[illegible] и неожиданно остановил желтые, как у [illegible] змееныша, глаза на леснике. И снова какое-то [illegible] предчувствие шевельнулось в душе Магазан[illegible]. Кажется, никогда и не видел этого лохматого, а внутри даже все колотится. Он вынул кошелек, неосторожно выронил из него царский десятирубле[illegible] червонец, торопливо спрятал его, а нищему бро[illegible] гривенник.

Какой-то захмелевший усач поднес лирнику чумацкую роговую чарку:

— Выпей, божий человек, за грешные души наши.

— Спаси, господи, люди твоя. — Лирник левой рукой обхватил чарку, перекрестил, и она затерялась в зарослях его взлохмаченных волос. И уже потом глянул на усача. — Помолимся со слезами, чтоб наш создатель грехи отпустил.

— Тату, а вы чего тут приклипели? — удивленно спросил у отца Степочка. — Вы же раньше на всех нищих и лирников собак напускали.

— Лета, Степочка, лета,— неопределенно ответил Магазанник и пошел между возами, все еще чувствуя на себе тяжелый взгляд лирника. И чего он уставился на него? Прямо какое-то дьявольское наваждение. А его догоняют обрывки псалма:

— И прошло пять тысяч лет от сотворения мира, как в поле цвет зацвел, да и увял, так проходят лета...

— Как у вас, тату, с цибульниками? — почему-то радостно играет ресницами и синькой глаз Степочка. — Хорошо поярмарковали?

— Плоховато. А ты ж отчего, бездельник, развеселился? Малость где-то хлебнул?

— Угадали! Но никогда не угадаете, с кем,— засмеялось чадо.

— Говори уж.

— С будищанским батюшкой.

— С будищанским попом?! — не поверил лесник. — Да что ты мелешь? Или уже в голове как в мельнице?

— Истинную правду говорю,— самодовольно отвечает Степочка. — Слоняюсь я этак по ярмарке, к тому-сему прицениваюсь и вижу перед собой новенький подрясник отца Вениамина. И сразу же вспомнил будищанское кладбище. Вы же знаете, что оно все сплошь засажено яблонями, и не какими-то там дичками, а больше всего зимним ранетом. Вот поздоровался с батюшкой, да и спрашиваю, хорошо ли уродили на кладбище яблони? «Уже ветки гнутся,— говорит батюшка. — А зачем это тебе, чадо?» Отвечаю: «Да прикинул себе, нельзя ли у вас [illegible] взять кладбище в аренду?»

И не поверите — батюшка чуть было не подскочил от радости. Уже за чаркой я сообразил, что у [illegible] нет денег на ремонт церкви. По всему видать, обедняли будищанские прихожане, значит, недорого батюшка за кладбищенские яблоки запросит.

— О, ты, Степочка, прозорливым становишься! — расчувствовался отец. — А я и не додумался арендовать кладбище. Кладбищенское-то яблоко небось в полцены обойдется.

— Да известно, в полцены, а вы говорите, что у меня голова набита капустой.

— Чего не скажешь в гневе,— налег на крепкое плечо сына. — Спасибо, угодил. И жаль, что ты сразу не сторговал все кладбище. Приучайся к делу и копейке.

От поучений отца Степочка скривился. Нужно же так сказать: «Сторговал все кладбище»! Для чего ему кресты, могилы и вообче?

Нежданно-негаданно Магазанник увидел перед собой большеглазую, с тонким станом девушку, у которой на плечах лежал целый сноп пышных пшеничных волос. Степочка, поглядев на незнакомку, растерянно заиграл мельничками ресниц и потерял дар речи, да и сам лесник удивился: с какого же поля попало такое диво в ярмарочную суетню?

— Простите, вы не товарищ Магазанник? — пристально, словно читая его года, девушка всматривается фиалковыми глазами, в которых слились и доверие, и сполох, и вечерние чары.

— Ты угадала.— Магазанник пристально вглядывается в девичье личико, в нежно очерченный подбородок, длинные ресницы, только не может угадать, что таится за их просветами — целомудрие или тот соблазн, который топит мужчин: вот так, не спрашивая броду, да бултых в воду. — Тебе чего-то надо от меня? Может, леса на новую хату? — и многозначительно покосился на Степочку.

— Ой, нет,— смутилась девушка, и потемнела глубина ее очей. Кто постигнет ее и кто утонет в ней? — Мне надо ехать в Тарноруды, на работу.

— Ага, на работу,— закивал головой Магазанник, и так и сяк оглядывая девичью фигуру с головы до ног. — Мы тебя довезем до своего лесничества, а там уже рукой подать до Тарнорудов. Учительствовать едешь?

— Нет, агрономом,— со скрытой гордостью и даже с удивлением сказала девушка. И для нее еще новостью звучало это слово.

— Агрономом?! — вытаращил на нее зеленовато-песчанистые глаза лесник. — Ты окончила техникум?

— Нет, институт.

— Аж институт!.. — сначала не поверил, а потом даже вздохнул и глянул на Степочку, который стоял как столб. — Это так хорошо, с одной стороны, а с другой — никак не завидую тебе.

— Почему же? — удивилась девушка, качнулась, и качнулась на плечах ее пахучая пшеница.

— Об этом и говорить не хочется. — И на лицо Магазанника находит тень притворного сочувствия.

— Говорите! — тихо велела девушка, и даже в этом единственном слове угадывался характер.

Лесник оглянулся, наклонил голову к девушке:

— Тогда скажу по секрету: у нас не председатель колхоза, а какой-то аспид. Он, дьявол, не то

что людей, сам себя закабалил работой. Вот навалит на девичьи плечи воловью ношу, и увянет твоя красота.

На доверчивое лицо девушки сразу легла тень, а в глазах появилась грусть.

— Но вы не очень унывайте,— наконец заговорил Степочка. — Хотя председатель у нас хлопотный, да люди не обидят вас, и вообче. — И так поглядел на отца, что тот сразу понял свое чадо.

— Что правда, то правда,— согласился Магазанник. — Да и село наше помаленьку выбивается в люди, за хлебом и к хлебу не едут теперь на базар. А как тебя звать-величать?

— Мирославой Григорьевной Сердюк.

— Так вот, Мирослава Григорьевна, долгие раздумья оставь на осенние ночи, а сейчас бери свои вещи да и поедем. Может, и наш хлеб не хуже вашего.

Мирослава притихла, качнула станом, потом решительно сказала:

— А может, казак не без доли, а девушка не без счастья? Я сейчас же приду. Где вы будете?

— Вон, видишь воз, крытый желтым лубом? Он медом пахнет. Это наш.

Девушка глянула на воз, на коней и метнулась от Магазанников, на ее плечах зашелестел сноп волос.

— Хоть серпом жни, как пшеницу,— сказал лесник и лукаво повел одной бровью. — Агрономша — это не учительница! Как она тебе?

— Славная. Вы же мне дайте немного денег,— и покосился на отца: что этот сквалыга наскребет ему?

— Деньги, красивая женщина да добрые кони — это смерть,— в раздумье сказал Магазанник, полез рукой в карман и глянул на ветряки, которые будто на цыпочки приподнимались, порываясь к небу. И в это время он плечами почувствовал на себе чей-то взгляд. Оглянувшись, увидел верзилу лирника, что уносил из ярмарочного столпотворения свои патлы и засаленные, крест-накрест повязанные торбы, в которых неволился святой хлеб. За облысевшими веками нищего клеймами круглились настороженные зенки.

«Чего тебе, здоровила? Чего ты высматриваешь своими буркалами — чью-то копейку или душу?» — и Магазанник повернулся спиной к лирнику.

А вот из ярмарочной толпы и девчонка появляется со своей ношей. И на каких дождях, и под какими звездами она росла, и кому он повезет на своем возу эту синеокую судьбу? Эх, лета, лета, почему вы не возвращаетесь назад?.. Если бы в макитре Степочки было немного больше мозгов, то он мог бы вскружить голову агрономше, да, кажется, у него на ум недород. Правда, есть у хлопца и сила, и хитроватая изворотливость, но теперь всюду больше ума спрашивают, ибо... эпоха.

— Ты ж только не очень болтай при ней, больше глазами да ресницами пряди — эта работа всем девчатам нравится,— тихонько шепнул сыну, что уже позвякивал возле воза упряжью.

Степочка что-то буркнул и вперил взгляд в Мирославу.

— Вот и я,— доверчиво улыбнулась девушка.

— Садись назад, да не сломай насад[1],— пошутил лесник и хотел помочь ей взобраться на воз.

— Я сама,— мотнула легким платьицем и вмиг очутилась на возу, еще и ножки спустила с грядок — что значит крестьянское дитя!

Из ярмарочной сутолоки мимо ветряков выехали в розовое предвечернее солнечное марево, которое мягко дрожало над отяжелевшими нивами, что с пригорка на пригорок поднимали и поднимали полусон ржаных и пшеничных хоругвей. Вокруг стояла такая тишина, что слышен был золотой звон предживья.

Только тут, в степи, от Магазанника отвязались чужие глаза, и он с облегчением сказал себе:

— Поле ж как тихое море! — и подобрели его глаза, что тоже понимали не только силу, но и красоту нивы.

Да вот сзади послышался топот коней. Отец и сын одновременно повернули головы.

— Кажется, сам товарищ Ступач тянется рысцой? — и Магазанник придержал коней.

— Он и есть,— подтвердил Степочка, на его и на отцовском лицах сразу же заиграли сначала хитроватые, а потом и угодливые улыбки.

Это насторожило Мирославу: перед кем они так рассыпаются?

Бричка поравнялась с возом. Магазанники предупредительно подняли вверх картузы.

— Доброго здоровья, Прокоп Иванович! Доброго здоровья!

На самоуверенном лице Ступача шевельнулась доброжелательная улыбка.

— Что, купцы из Бара,— ни денег, ни товара?

— Вот и не угадали, Прокоп Иванович! — Лесник весело взглянул на Мирославу. — Видите, какой красный товар везем с базара?! Одна коса стоит вола, а бровям и цены нет! Агрономом будет у нас. А вы ж, если не секрет, куда? В Тарноруды?

— В Тарноруды.

Магазанник сочувственно вздохнул:

— Ох, и не сладко вам с нашим правителем, с Бондаренко, значит.

Ступач сразу помрачнел, а лесник мягко-мягко заговорил:

— Может, Прокоп Иванович, по дороге завернете и до нашей хаты? Она вас уже с весны ждет.

— А что там у вас?

— Да найдем чем попотчевать дорогого гостя, голодным и трезвым от нас не уедете. В печи стоят душеники и чумацкая, с грибами да с мятой, каша.

— Каша с грибами и мятой? — удивился Ступач. — О приправе такой даже не слыхал.

— А у нас и попробуете. Да и к каше что-нибудь найдется натуральное, лесное, какого в ресторанах

---

[1] Насад — часть телеги.

[illegible] не получите. И печеной совой я [illegible] не угощал.

— Соблазняете вы меня.

— Не соблазняем, Прокоп Иванович, а уважаем как неутомимого деятеля и человека. Осчастливьте наше жилище. Может, и мы умнее станем.

— Ох, и льстец вы, Семен, прямо лиса корсак![1] — подобрел Ступач.

Магазинник не обиделся, пустил угодливую улыбку по усам.

— Если такое говорите даже вы, то я молчу, ибо вам виднее. Так вы на бричке — вперед-вперед, а мы возом — за вами да за вами, да под вашим руководством. Правда, девонька? — повел бровью на Мирославу, и у той погасли настороженность к сладкоречивой лисе: шутит же человек.

А человек, еще не скрыв улыбки, уже прикидывает, что он поставит на стол, какого ежа против Бондаренко подкатит за столом да что положит в бричку, чтобы этого не видел, но все-таки увидел Ступач, ибо жизнь — это та лестница, по которой можно и вверх до ворот рая вскарабкаться, но можно со ступенек слететь и в тартарары. Вот сковырнет Ступач Данила, тогда и увидим, кто вынырнет на председателя! Как его руке, что сейчас кнутом стегает лошадей, нужна печатка! Правда, он и теперь живет как у бога за пазухой, но с печаткой была бы иная коммерция.

На какую-то минуту Магазинник погрузился в марево надежд, да неожиданно глянули на него зенки ярмарочного нищего, и под сердце коварно подступил холод. Что же это?.. Ага, это из небытия прорвалась, словно открылась рана, тревога прошлых лет. Откуда взялась она и на какие ярмарки податься с нею?..

Лесник невольно вздохнул, чем немало удивил Степочку, который и так и этак играл мельничками ресниц перед девушкой, а она только присматривалась к предвечерним нивам, что с пригорка на пригорок поднимали полусон ржаных и пшеничных хоругвей. Ох, не под этими хоругвями испакостил он свою молодость! Теперь втихую езжай с ярмарки и не рассчитывай на те времена, что не для тебя приходят. Из них можешь ты урвать червонец, да вряд ли вырвешь что-то большее.

Над дальним полем взошла вечерняя звезда.

«Как золотая печатка»,— грустно подумал Магазинник и упустил ее из виду, а вместо нее снова увидел зловещие клейма лирника. И почему-то страшным стал для него этот вечер, и он сам себе показался согбенным призраком, что в сумерках возвращается с ярмарки.

Тьфу! Зачем, на кой черт, как ворон, накликает на себя беду? Вот доедет домой и сразу же утопит тревогу в чарке, а потом возьмет лопату и пойдет на тот курган, где Лаврин раскопал золотые украшения. Не только же гробовщика кормит могила. Он уже и сейчас бы отправился на поиски золота, даже пожалел, что пригласил Ступача на кашу с грибами.

Воспоминание о грибах неожиданно пронзило мозг: почему-то вдруг всплыл в памяти дурной полугрех, что едва не стал грехом. Лет десять тому назад, когда бумажные деньги шли наравне с золотыми, его бессовестно обжулил продавец Влас Кундрик. И тогда Магазинник приготовил ему красных паутинников — тех потаенных осенних грибов, которые убивают человека не сразу, а на десятый — двенадцатый день. Уже на столе стояло адское угощение, да в последнюю минуту передумал лесник травить продавца. Когда это было, а и сейчас жутко становится. Ох, уж эта осенняя воронья стая воспоминаний! Видно, жизнь его пошла с ярмарки, если все чаще под сердцем ёкает и давит страх...

IX

Пестрые вечерние краски легли на приселок, и в лунном сне притихли обезлюдевшие сенокосы, нивы и белые облака за нивами. А Оксана, словно лунатичка, все бродила то по огороду, то по двору. Что-то беспокоило ее нынче, почему-то щемила печаль в душе, а думы все роились и роились в голове. Вот снова, неизвестно зачем, бредет на огород, останавливается перед клочком росистого ячменя, пламенеющего огоньками красного мака. Это ж из того ячменя, что в давнюю страшную ночь принес со своей кровью Стах. Она потянулась рукой к лепесткам мака, но испуганно отшатнулась: почему-то ей померещилось — это не мак, а Стахова кровь, что стала маком. Глупая же она, глупая...

А где теперь Стах, что так любил ее? И вызывал этой любовью только сочувствие и печаль, потому что в такое время пришел к ней. И где те леса, и где те дороги, по которым придет он? И когда бы ни пришел, и каким бы ни пришел, она будет его ждать, она будет сеять его ячмень, в нем будет видеть Стаха, в подсолнечниках — Ярослава. Вот такая женская судьба. Еще девушкой, а потом молодицей думалось, что всю жизнь, как один день, проживет со своим суженым. Ей страшно было даже подумать о тех вертихвостках, которые разменивались, бросали взгляды еще на кого-нибудь, кроме мужа, которые растранжиривали любовь на разные соблазны и заигрывания. Она и за жен их не считала, обходила десятой дорогой, чтобы не замараться бесчестьем...

На татарском броде неожиданно послышался всплеск весла, потом отозвался счастливый девичий смех: наверное, влюбленные молодята встречают свою ночку, как и она когда-то с Ярославом встречала. И что эта любовь? Сон, или полусон, или сон-вода? И уходит она быстро, как вешние воды.

Над бродом тихонько-тихонько встрепенулась песня:

> Ой чи цвіт, чи не цвіт
> Калиноньку ломить,
> Ой, чи сон, чи не сон
> Головоньку клонить.

[1] Лиса корсак — степная лисица.

И она когда-то во сне или не во сне склоняла голову суженому на грудь, а Стаху уже склоняла из жалости к нему, да он, наверное, не догадывался об этом. А как к нему потянулись дети! Вот только жаль, что не повел их к той черешне, которая родит гроздья ягод. Миколка и до сих пор вспоминает о ней.

Снова всплеснуло весло, и аистиха на хате всхлипнула сквозь сон, как всхлипывает дитя. Всхлипывание подруги, верно, разбудило и аиста, который, укладываясь спать, всегда прячет голову под крыло. «Это он боится насморка»,— подсмеивался Владимир.

Вот аист потянулся, заклекотал — что-то забеспокоило его.

Оксана тропинкой подошла к воротцам, которые вели из огорода в садочек. Эти воротца не будут открываться до самой осени, потому что по ним поползли плети тыкв: появилась над землей завязь, так не надо тревожить ее.

Аист снова заклекотал и встрепенул крыльями. Кого же он увидел? Вдруг тихонько-тихонько скрипнули ворота с улицы и кто-то вошел на ее подворье. Злой человек? Но что у нее красть? Разве что одну душу? Так и ее успели разворовать. А неизвестный вошел в тень, потом появился перед дверью, поднял руку, чтобы постучать, но не постучал, вдоль завалинки дошел до бокового окна, сел на завалинку и провел ладонью по лбу, как это делают люди после тяжелой работы. Что-то скорбное было и в движениях и во всей фигуре неизвестного.

«Да это же он! Он! — вскрикнула в душе, застыла и почувствовала в себе такую слабость, что должна была ухватиться за воротца, за плети, чтобы не упасть. — Почему же он так устало сидит на завалинке? Почему не идет в хату? А может, это и не Стах?» Все так же держась за воротца и шершавые прохладные плети тыкв, она то ли спросила, то ли позвала:

— Сташе?!

Человек вздрогнул от неожиданности, поднялся, пошел, а затем побежал, отбрасывая от лица шелест вишен и лунную дремоту на них. Вот и приближается он из синей ночи, из лунной дремоты, или из метели, или из прошлого, приближается его изумление, его печаль, его радость.

— Оксана... Оксаночка!

— Сташе... Пришел?

— Пришел,— и через воротца обхватил ее руками. — Оксана!

И она впервые увидела его слезы. Их не выжал из него даже приговор, а выжала любовь к ней. Теперь Оксана почувствовала, что в ней заговорила не только женская жалость.

— Пришел? Милый... — впервые сказала ему это слово.

— Спасибо, Оксаночка,— у Стаха задрожали губы. Выходит, он догадался, что сейчас происходит с ней, выходит, он знал, что раньше у нее не было любви к нему. — А я думал, ты уже забыла меня.

— Что ты, Сташе! — и она, как могла, через воротца обвилась вокруг него.

Стах легко поднял Оксану над воротцами, прижал ее, целуя брови, губы, глаза.

— Сташе, разве так можно? — забилась на его сильных руках.

— Почему же нельзя?

— Еще кто-нибудь увидит.

— И пусть видят.

— А если сглазит? — уже лукавит от радости и удивляется своему лукавству: разве оно было еще какую-то минуту тому назад?

Стах осторожно опускает ее на землю.

— Как же ты, Оксаночка? Как дети?

— Все мы очень соскучились по тебе. Все! А Миколка и сегодня вспоминал тебя и твою черешню.

— Завтра же пойдем к ней.

— И ты, Сташе, насовсем? — прорвалась тревога.

— Насовсем,— успокаивающе положил ей большие руки на плечи. — Ты ведь знаешь, я семижильный. Работал в тех лесах за троих. Да и вина моя не такая уж, как Ступач расписал. Пересмотрели дело и отпустили к тебе, к детям. Вот и снова мы встретимся со Ступачом,— злость погасила радость на лице человека.

— Сташе, не думай о нем!

— А почему же я не должен думать о тех, которые плодят нам горе? Разве его для этого учили по институтам и держат на должности?

— Брось о нем! — прижалась она к мужу.

— Бросаю. — Стах полез правой рукой во внутренний карман пиджака. — Вот тебе коралловые бусы, не очень дорогие, да и не дешевые,— обвил шею подарком. — Думал, если забыла меня, брошу их в татарский брод.

— Ой, дурной ты, Сташе,— засмеялась и притихла, ощущая на себе его подарок, его руки, его ожидание, любовь.

Потом, впитывая одеждой запахи купальского огорода, они подошли к клочку ячменя, который просвечивался нежными огоньками мака.

— Вот тут изо дня в день вспоминала тебя.

— Неужели каждый день? — не поверил Стах, а глаза аж засияли.

— Вспоминала и звала.

— Вот я и возвратился на твой зов. — Погрузил руки в ячмень, а тот сладко защекотал их зрелым усом. — Говори же, Оксанка, говори.

— Что же тебе говорить?

— Что хочешь, лишь бы голос твой слышать,— и наклонился к ее плечу. — Соскучилась хоть немножко?

— Ох, и неразумный ты,— вплела руку в его чуб, тронутый за эти годы вечной изморозью.

— Какой уж есть. Говори что-нибудь, Оксанка,— касается руками ее косы, плеч, стана.

— Устал с дороги? Есть хочешь?

— И не спрашивай.

— Я сейчас нарою картофеля, ты же сорви свежих огурцов, а соленые в хате есть. Только плети не вытопчи...

Стах радостно засмеялся, поцеловал ее.

— [illegible] моя...

Оксана нагнулась и прямо пальцами стала подкапывать для него картофель. Стах сверху смотрел на жену, на ее пальцы, что начали чернеть от влажной земли, на картофель, который и при луне краснел, и ощутил радостную взволнованность в сердце — оно освобождалось и освобождалось от разной мути. «Когда у мужа есть верная жена, то это уже вон какое счастье». Оксана собрала картофель в подол юбки, и теперь босые ноги женщины до колен увлажнились росой.

— Какие у тебя красивые ножки...

— Иди лучше нарви огурцов.

Стах на ощупь нашел огурец, оторвал от плети, понюхал его и потянулся глазами к Оксане, к клочку ячменя за ее спиной, к конопле, к подсолнухам и к выбеленным луной облакам, что прижимались к земле.

— Хорошо же у нас. И только такой дурень, как Ступач, мог подумать, что я люблю эту землю меньше, чем он.

— Он и людей, и землю судит да все ищет комунибудь беды, пока себе не найдет,— вздохнула Оксана. — Пойдем же в хату.

В комнатушке, где летом было прохладнее, спали дети. Стах склонился над ними, потрогал большой рукой, от которой и до сих пор пахло лесами.

— Как выросли они! А Миколка в кудри целую охапку солнца захватил. — И прикоснулся губами к младшему, потом к старшему.

А Оксана и улыбнулась, и вздохнула.

— Слушаются ли тебя?

— Слушаются, помогают. Пойдем. Надо мужу вечерю готовить.

В хате Стах обнял жену, привлек ее к себе.

— Даже не верится, что я с тобой! — склонился к груди, к ее сну и ожиданию.

— Со мной, муженек,— и Оксана подняла на него ресницы, освещенные поздней луной.

И только теперь Стах поверил, что он дома... что его ждали... В немой благодарности он положил голову на плечо жены и замер, прислушиваясь к какому-то диву, прислушиваясь к ней и ко всему миру, и казалось, что, покачиваясь, куда-то плыл с двумя своими детьми.

На другой день Стах с Миколкой и Владимиром пошли в лес. Там они нашли ту черешню, где ягоды гроздьями усеяли ветви. Стах посадил на них детей, а сам лег на спину, головой в шапку чабреца. Целительное зелье пощипывало ему затылок, обдавало густыми душистыми волнами. Белым облаком, солнечным лучом и переливами иволги текло здесь время, и добрый покой входил в каждую кровинку человека. Но на другой день он расплескал его.

Затемно, когда Оксана еще отдыхала, он вышел во двор, прошел огородом к своим красным макам в ячмене, а потом собрался на рыбалку. Недалеко от берега вспугнул хохлатенькую чайку, она взлетела с купины и зафурчала крыльями. Это характерное фурчанье отозвалось в сердце Стаха далеким детством. Он долго-долго следил за неровным, волнистым летом птицы, прислушивался к фурчанию ее крыльев и печальному стону: «Чьи вы? Чьи вы?»

«Своей матери дети»,— ответил мысленно, а когда чайка упала в траву, стащил с берега лодку, нашел свое старое место на воде, что проросло зелеными сердцевидными листьями кувшинок, стал на якорь да и прикипел к двум поплавкам, но видел не так их, как Оксану. Вдруг через какое-то время он услыхал ненавистный голос:

— Доброе утро, Сташе. — На берегу с ружьем за плечами стоял Семен Магазанник и простодушно улыбался.

— Доброе утро,— тихо ответил Стах.

— Клюет?

— Понемногу клюет.

— И что поймал?

— С полдесятка линьков.

— Линьков? Это рыба! Может, продашь?

— А почему же, могу и продать,— не поднимал глаз от воды, на которую легла тень лесника. — Подъезжайте.

Магазанник нашел непривязанную лодку, положил в нее ружье и руками начал грести к Стаху. Вот коснулись лодки друг друга.

— А ты не изменился, Сташе! — слащаво-приветливо улыбается Магазанник, и все его лицо источает радость: приятно, что человек возвратился с дальних дорог. — Где же твои линьки?

— Линьки? Сейчас покажу. — Стах поднял свою мускулистую руку, но протянул ее не к торбе с рыбой, а к груди Магазанника.

— Что ты делаешь?! — вскрикнул лесник.

Стах сжал сорочку на его груди, рванул к себе лесника и силой окунул в воду, а потом снова подтянул к себе.

— Утопишь, ирод! — отчаянно закричал Магазанник.

— Не утоплю,— успокоил его Стах. — Это ты меня топил, а я тебя купаю.

X

Стемнело. Заснула волна над бродом, заснул и приселок у брода. А к нему никак не дотянет нитей своей пряжи мохнатый, так напоминающий детство сон: перед жатвой он всегда только крадется за Данилом, а если и прихватит его, то лишь на какой-то часок. Преджнивье!

Это та пора, когда в сердце крестьянина сходятся радости и тревоги хлеба, а между ними снуют и снуют древние, верно еще с языческого века прихваченные, хлеборобские печали. Жаль было сизого и золотого колоса, что накачался, нашелестелся, напелся за лето в поле и уже завтра, вздыхая, упадет на землю, поедет к добрым людям, ляжет теплым хлебом на стол.

Перед колосом, перед царь-колосом, Данило испытывал постоянный трепет души, ждал встречи с

... тогда, когда он только угадывался в зеленых весенних пеленках, любовался, как на его пушистых нежных ресницах тихо звенели цвет и роса, радовался, когда он набирал силу и в тиховейном раздумье склонял голову. И сколько Данило ни смотрел на это чудо, что из года в год будто повторялось,— насмотреться не мог, и даже синие васильки, казалось ему, росли потому, что столько глаз любовалось колосом.

А теперь, в эту лунную ночь, он прощался с ним, потому что иначе не мог. И была грусть, и была радость от этого прощания. Вот и перелистало время еще один год. Как прожит он среди людей и с людьми? Нелегко: в разумных и пустых хлопотах, в неусыпном труде, в исканиях, в надеждах да в спорах с некоторыми, что научились примитивизмом вытаптывать и хлеб, и человеческое достоинство, да еще и прикрывать это вытаптывание пустозвонством и однодневными идеями. Спасибо газетчикам, что защитили его урожай и его самого. Но эта защита породила и зависть.

— Что-то много о тебе в газете начали писать,— уел его Ступач.

— Не так обо мне, как о земле, об урожае, который вырастили люди вопреки тому графику, что доводил вас до судороги.

Ступач тогда сразу вскипел:

— Побыл бы ты, умник, на моем месте, и тебя бы свели судороги!

— Тогда лучше вы побудьте на моем, более спокойном месте.

Но на его место Ступач никогда не позарится: он свое честолюбие не наклонит к земле, а пронесет через все служебные ступеньки, чтобы подняться, взлететь вверх. Ступач понимал, что Данило раскусил его, и потому еще больше невзлюбил норовистого председателя. Но Данило равнодушен к его нелюбви, только не равнодушен к его канцелярской ретивости и самоуверенности: есть же такие счастливые люди, что никогда не сомневаются в себе. Да, это счастливые люди для себя, но — несчастье для других...

Данило тихо входит в накупанный и убаюканный луной приселок, что словно сошел с картины, или вышел из синего сна, или из татарского брода. То град Китеж погрузился в воду, а наш приселок вышел из воды, да и купает в ней тени хат и аистов. И не колокола звонят над ним, а луна пригоршнями рассеивает свое зерно... Как хорошо, что и мы теперь будем с хлебом: уродило же в этом году. Уродило! А на следующий год уродит еще больше, потому что люди уже не слепо верят в силу зерна, поднимают его не только заботой души, но и разумом науки. Вскоре и агронома должны к ним прислать. Лишь бы он походил на Максима Диденко, неутомимого практика, мечтающего вывести такую пшеницу, которая не будет бояться ни мороза, ни выстаивания, ни болезней.

Давно он, Данило, не видел ни Максима Петровича, ни Терентия Ивановича с его вербой, мимо которой никогда спокойно не пройдешь. После жатвы непременно поедет к ним.

На Оксаниной хате его шаги услыхал аист, вытянулся и клацнул своими кастаньетами. Это самый чуткий и спокойный аист в приселке, он дружит с Оксаниными детьми и пастухами, даже иногда заглядывает в их торбочки: а что там вкусного?

— Лелеко, лелеко, до осени далеко? — всегда радостно спрашивают аиста мальчуганы.

Аист важно шагнет на своих ходулях и закивает клювом: мол, недалеко.

Уже выходя из теней и света приселка, Данило неожиданно услыхал:

— Добрый вечер, Данилко!

Он оглянулся. Опираясь обеими руками на ворота, ему дружески улыбалась Олена Гримич, которая теперь всегда ворожит возле подсолнухов и пахнет ими.

— Доброго здоровья, Олена Петровна. — Данило подошел к воротам, над которыми кронами сошлись черешни. Со двора резко потянуло маттиолой, этим неприметным зельем, в котором есть то ли вдовья, то ли предосенняя грусть. — Почему не отдыхаете?

— Да жду и Яринку, и хлопцев, и своего непутевого с луга,— улыбнулась Олена Петровна, и даже в шутливом «непутевом» звучала любовь. — Уже и вечеря перестояла, а их нет: Яринка, видать, на драмкружок побежала, хлопцы — на гулянку или ... , а старик где-то последнюю скирду вы... ает. Они же у него такие красивые выходят,— ... улась и вздохнула: — Боюсь я за свою Яринку, ох, как боюсь.

— А почему? — удивился Данило. — Она же у вас красивая, как весна, а отчаянная, как метелица.

— Вот и боюсь за эту метелицу, чтобы не очень завихрилось у нее в голове. Это же, когда было у нас из Киева кино, заставили ее играть. И кого бы вы думали? Сельскую шинкарку. Подмалевали ее, сделали брови в четверть аршина, прицепили вот такие ресницы и сняли это безобразие. А теперь вот пришло письмо из кино, что снова хотят на какую-то роль взять. Наверное, не хватило у них шинкарки. Так как на это матери смотреть? А ты чего же не спишь?

— Такая пора — преджнивье.

— Что значит молодые лета. И мне когда-то не спалось, в девичьи годы, а еще как назвал меня мой непутевый самой красивой, то и совсем потеряла голову. Бывало, мать так уж следит за мной, да все равно увернешься и до самого рассвета туманишься со своим туманом. — Женщина прищурилась, поглядела вдаль, туда, куда ушли молодые годы или откуда должен прийти муж. И от всей ее фигуры, прислонившейся к воротам, от ее уст, на которых была улыбка, от ее чистой сорочки с барвинком на груди веяло той женской прелестью, без которой оскудел бы этот мир и душевность в нем.

От брода послышался конский топот. Кто-то стремглав мчался по приселку, поднимая над ним тучу пыли.

[illegible] Это мои оглашенные
[illegible] быстро метнулась от ворот под за-
[illegible] на улице появились два всадника.
[illegible] и вернули коней, и те — один за другим —
[illegible]ами перелетели ворота, промчали двором да и
[illegible]рнули к дверям жилища.

— Шальные! — прикрикнула на детей тетка Оле-
[illegible] Хату развалите!

«Шальные» весело рассмеялись, соскочили на зем-[illegible], подбежали к матери, один поцеловал ее в одну [illegible]щеку, другой в другую.

— Вот мы и здесь. — И снова смеются.

— Вишь как задабривают,— глянула женщина на Данила.

— О, Данило Максимович! — одновременно вытянулись статные улыбчивые близнецы и, здороваясь, тряхнули огнистыми чубами. — А мы и не видели вас.

— Где уж увидеть кого вертопрахам, когда непременно надо им или через речку, или через ворота перескочить. А то бывает и так: вечеряем со стариком, а они подкрадутся, и один конь всовывает голову в одно окно, а второй — в другое.

Близнецы захохотали:

— Разве у вас был урон от этого?

— Только один раз Воронец опрокинул кувшин с молоком.

— Еще и гогочут! — И Олена обратилась к Данилу: — Все им то червонное казачество, то партизанская тачанка снятся. Идите уж вечерять.

— Так мы сейчас! — и, поклонившись Данилу, близнецы метнулись к хате.

— Как вы их отличаете друг от друга?— удивляется Данило. — Я никак не могу угадать, где Василь, а где Роман.

— Я-то отличаю, а вот Лаврин иногда ошибается. До чего же они походят друг на друга и красой, и характером! — Тут конь подошел к женщине, подергал за рукав губами. — Вишь какой доверчивый. Это тот, что молоко разлил. А уж глаза умные, будто у человека. О, войско идет, хоругви развеваются! — Тетка Олена руками и всем телом потянулась к улице, голос ее стал глубже, а под ресницами встрепенулись и загадочность, и женское превосходство. Вот и разберись, что оно и к чему.

Посреди улицы появилась журавлиная фигура с длинными вилами и граблями за плечами. Это снаряжение теперь и в самом деле чем-то напоминает Данилу хоругвь.

— Что это ты, муженек, так припозднился? — деланно выговаривает Олена.

— Хотел, чтобы кто-то выглядывал меня у ворот, вот и медлил,— весело говорит дядько Лаврин. На его тонком загорелом лице свисают продолговатые перчины усов, которые за полверсты пахнут свирепым табаком: как только его терпит жена? — Здравствуйте, Данило Максимович!

— Я его Данилкой зову, а ты...

— Вам, женщинам, больше дано воли на нашего брата,— насмешливо отвечает муж, снимает с плеча свое снаряжение и ставит по другую сторону ворот.— Дети уже, вижу, дома?

— Примчались на минуту. Как оглашенные. Ладные стога сметал?

— Славные. Вот и миновала косовица, наступает жатва. А сено в этом году пахучее, словно приворотное зелье, дыши не надышишься. Людям перепадет что-нибудь? — поворачивает обветренное лицо к председателю.

— Людям будет отава.

— Вся? — не поверил наилучший стогометатель.

— Считайте, вся, кроме Кругликова урочища.

Лаврин улыбнулся, и на щеках его зашевелились гроздья веснушек.

— А что на это скажет товарищ Ступач? Он же боится, как бы хлебороб не разжился хлебом, ложкой молока или копейкой. Вот кто был бы у пана старательным экономом.

— Только бы это,— вздохнула Олена Петровна и ответила на немой вопрос мужа: — Страшно, когда человек ждет чьей-то оплошки, как ворон крови, и наконец сам становится вороном.

— Вот это влепила характеристику,— удивился и погрустнел дядько Лаврин.

Погрустнел и Данило, потому что и вправду Ступач нетерпеливо выжидал его ошибок, да и без них клевал, словно ястреб. Что-то и в фигуре его напоминало хищную птицу.

— Не будем против ночи вспоминать Ступача, а то еще во сне приснится, будь он неладен,— наконец откликнулась Олена Петровна. — Лучше пойдемте в хату, повечеряем.

— И жена может путное слово сказать. Что у тебя есть?

— Свежая картошечка с сомом и подосиновиками.

Данило удивился:

— Так рано подосиновики появились?

— После дождя. И где? Не в осиннике, а под грабами. Такие краснюки! А сома ночью мой Лаврин поймал на целого рака. Муж мой нюхом чует, где есть рыба. А вот охотник из него никудышный. Или порох теперь не тот?

— Начала свое.— Лаврин виновато пустил улыбку в золотые усы.

— И начну, и докажу,— не успокаивается жена: так ей хочется подкинуть колкое словцо. — Как-то в сердцах бросила ему: «Хоть бы ты одного зайца убил». А мой идол и отвечает: «Так я одного сонного ушастого до смерти напугал не выстрелом, а голосом».

— Хорошо спал себе зайчик,— снова усмехнулся Лаврин.

— Так пойдемте в хату.

— Спасибо, Олена Петровна! Я уже вечерял на ветряке.

— От сома и подосиновиков грех отказываться,— стал настаивать дядько Лаврин.

А когда Данило начал отнекиваться, тетка Олена остановила мужа:

— И не проси, муженек. Разве ж не видно, что [illegible] кто-то так выглядывает в ночи, как я тебя когда-то выглядывала.

Дядько Лаврин пренебрежительно махнул рукой:

— У женщин всегда в голове крутится то колесо, что из одних выглядываний, встреч да любви... Вот и моя — за подсолнухами присматривает, а сама все в романы про любовь глядит. Иногда, ожидая меня, даже при луне листает их.

Лукавство появилось на устах Олены Петровны.

— Теперь так мало пишут про любовь, что уже и не знаешь, кто ее забыл, люди или писатели.

— Уже и до писателей добралась! — засмеялся муж, открыл калитку и плечом к плечу с женой пошел по просторному подворью, которое наполняли всплески татарского брода и вдовье смятение маттиолы. Вот кто за все годы даже не покосились друг на друга!

Из приселка Данило выходит в хлеба, которые завтра должны упасть к ногам людей, и снова печаль жита заползает в душу. Наверное, всю жизнь в нем будет и радость хлебов, и та печаль жита, которая перешла в него, может, от пращуров-полян. Суеверие это или ограниченность? Нет, не суеверие, не ограниченность, а святая привязанность к тому доброму злаку, к тому зерну, что дает людям силу и жизнь.

Уже медово загустело лунное марево, в ложбинке заученно отозвался коростель, и тишина над миром такая, что даже слышно, как ржаной колос говорит с колосом, как поводит скрипучим усом ячмень. Благословенна эта тишина дозревания земли, дозревания надежд хлебороба. А ему так хотелось не зря прожить среди людей и для людей. Познав, что такое добро, он хотел его творить, не жалея себя. Есть кусок хлеба, кружка молока, кое-какая одежонка — и с него довольно. Вот только бы землю по-настоящему понять да не обидеть понапрасну человека. И все-таки Ступач олух. Как-то в перебранке насел на него: «Ты мне, парень, без юношеских фантазий и разного романтизма. Это в гражданскую войну было время романтики, когда полками и дивизиями командовали двадцатилетние смельчаки, а теперь настало время реализма, которое за фантазии обламывает крылья».

Конечно же бескрылый не родит крылатого, а укротить кого-нибудь может. Этот своей мелкотравчатостью обеднит и свою, и чью-то жизнь, пока не сгорбится да не уйдет на пенсию. Тьфу, снова всякая погань лезет в голову!

Неожиданно на узенькой дорожке, там, где сходились рожь с пшеницей, Данило увидел фигуру девушки. В лунном разливе она шла впереди, вот остановилась, нагнулась к колосьям, что-то поворожила и снова неторопливо пошла, покачивая тонким станом и волосами, покрывшими плечи.

Кто бы это мог быть? Полевая царевна, которую встретил когда-то Чипка[1] весной? Но прошло время полевых царевен. Вот снова остановилась, перебирает руками житечко. И не боязно одной ночью? Пошла потихоньку. И что-то привлекательное, прекрасное было в том, как она несла в лунном разливе тонкий стан и волосы. Уродились же они у нее.

Данило пошел быстрее, его шаги услыхала незнакомка, сторожко обернулась, остановилась, касаясь станом колосков. Настоящая полевая царевна с мягким сиянием в волосах, с настороженностью в межбровье и в глазах, над которыми дрожат длинные ресницы, отбрасывая на лицо тень. Такие же ресницы были и у его матери. Да мы как-то не замечаем этого, пока наши матери не покинут нас.

— Добрый вечер, дивчина. Ты не заблудилась в наших полях?

— Нет,— коротко ответила девушка и еще немного подалась к колосьям.

— Откуда же ты?

— Издалека,— пристально смотрит на него и гасит ресницами влажное лунное сияние.

— И это ответ.— Данило насмешливо кивнул головой. — Что же ты делаешь тут в потемках?

— Смотрю на ваши земли.

— Это уже интересно. И что же ты заметила?

— Очень хорошие у вас нивы, а луга уже похуже: и кротовые норы есть, и конский щавель разросся. Верно, соня ваш луговод или лентяй, не знаю, как вы его называете.

Данило удивился:

— Ты даже луга осматривала?

— Ага.

— Для чего же тебе эти смотрины?

Девушка помолчала, потом доверчиво взглянула на Данила:

— Прикидывала себе, оставаться здесь или ехать дальше. А вы кто будете?

— Я?.. Учитель.

— Вот хорошо,— почему-то обрадовалась девушка.— А вы не скажете, какой у вас председатель колхоза?

— Председатель как председатель,— неопределенно ответил Данило.

— Говорят, что он очень злой?

Данило смутился:

— Кто же сказал такое тебе?

— Люди.

— Те, что в поле работали?

— Нет, в дороге. Так очень он злой?

— Не очень, но рыба не без кости, а человек не без злости. Кто же ты будешь, что нашими полями заинтересовалась?

— Агроном. Я только окончила институт, и меня послали к вам. Но услыхала в дороге о злом председателе, и отпала охота оставаться тут. Я с детства боюсь злых людей. — И на лице девушки появилась та трогательная беспомощность, которую всегда мужчины хотят взять под защиту. — Что вы скажете на это?

Данило улыбнулся: ему понравилась девичья непосредственность, ее тревога, да и личиком, и станом девушка была как на картине. А какой свой

---

[1] Чипка — герой романа П. Мирного «Потерянная сила».

[illegible] у нее! И впрямь настоящая полевая царевна!

— Что же мне сказать молодому агроному? — наморщил он лоб. — Ты сегодня вечером начала знакомиться с полем, с лугом, завтра же познакомься с людьми, с председателем, так, может, послезавтра и прояснится в голове.

Девушка подумала, а потом оживилась:

— А и вправду, может, прояснится.

— Где же твои вещи?

— В лесу.

— В лесу? — не поверил Данило.

— Ага, у вашего лесника. Он меня подвозил из района.

«Так вон какие «люди» сделали меня очень злым».

— Наш лесник показался тебе добрым?

— Вроде ничего. Он все время заботился обо мне. Теперь мне надо идти туда на ночлег, но уже так поздно, не заметила, как и стемнело.

Данило подумал, что девушка, видно, из тех, которые увлекаются работой, и сказал:

— Ночлег тебе найдем в приселке, потому что в лес в такую пору небезопасно идти: еще волк встретится, и останемся мы без агрономии.

— А у вас есть волки?! — Тень испуга пробежала по девичьему лицу.

— И волки, и лисицы, и кабаны, и барсуки, и козочки, похожие на тебя. Как тебя зовут?

— Мирослава.

— Какое славное и необычное для нас имя. Я его только в произведениях Ивана Франко встречал, а теперь — на своем поле. Ну, как, Мирослава, в лес или в приселок?

— Наверное, в приселок. Он так хорошо и таинственно затерялся посреди ночи, и луна сверху, и вода снизу убаюкивают и убаюкивают его.

— Ты стихов не писала?

— Слушала, как музыку. А вы?

— Тоже люблю, словно музыку. Так пошли, а то люди всю ночь по кускам разберут.

— Так и моя мама когда-то говорила,— улыбнулась и сразу же помрачнела девушка.

«Наверное, сирота»,— подумал Данило, и ему захотелось чем-то помочь этой доверчивости, что только начинает раскрывать книгу жизни. «Чем она ляжет на ее хрупкие плечи?»

Они молча дошли до подворья Лаврина Гримича, Данило открыл калитку, пропустил вперед девушку, кивнул головой на хату:

— Тут вот и переночуешь.

— Неудобно так поздно беспокоить людей,— смутилась Мирослава.

— Они еще не спят, только подворье спит,— звякнул щеколдой Данило.

Вскоре из сеней отозвалась хозяйка:

— Кто там?

— Это я вам, Олена Петровна, привел гостью на грибы и сома. Не все съели?

— Найдется и для гостьи, и для тебя,— повеселел женский голос. Тут же тетка Олена встала на пороге, внимательно посмотрела на Мирославу, всплеснула полными руками. — Какую же хорошенькую высмотрел дивчину! Вот к кому ты спешил на ночь глядя.

— Да нет, я впервые вижу ее.

— Так я и поверю тебе!

— Правду говорю, тетушка. Это к нам прислали с такими косами агронома.

— Такая молоденькая — и уже агроном?! — снова всплеснула руками Олена Петровна. — Ты ж хоть этими пальчиками умеешь в земле копаться?

— Умею,— стыдливо улыбнулась девушка. — Я из хлеборобского рода.

— Тогда совсем хорошо. А жить, если захочешь, можешь у нас — занимай вторую половину хаты и живи, одна или с моей Яринкой. Все городские говорят, что у нас, над бродом, и красиво, и тихо. Картошка, хлеб и молоко есть, рыбы наловим, сала нажарим, а на разные там городские выдумки да марципаны не рассчитывай.

— Спасибо вам, Олена Петровна,— поблагодарил Данило и начал прощаться с Мирославой. — Не беспокойтесь, товарищ агроном, здесь о вас позаботятся как о своей. — Да и пошел, а из головы не выходили ее доверчивый взгляд, ее луной или солнцем накупанные волосы и то покачивание стана, что так хорошо вписывалось в эту ночь.

Идя за Оленой Петровной на другую половину хаты, Мирослава сказала:

— Видать, душевный у вас учитель.

— Какой учитель? — удивилась женщина.

— Вот этот, который привел меня к вам.

— Бог с тобой, девушка! Какой же это учитель, когда он председатель нашего колхоза? — удивилась, а потом рассмеялась Олена Петровна.

— Председатель?! — ошеломленно переспросила Мирослава и почувствовала, как на щеках вспыхнул румянец. — Вот это да!

— Выходит, пошутил?

— Бессовестный!.. — невольно вырвалось у Мирославы.

Олена Петровна, скрестив руки на груди, покачала головой:

— Да нет, девушка, он очень совестливый, справедливый и к людям, и к хлебу святому. За это некоторые не любят его. Вот те уж бессовестные.

— Как пахнет у вас маттиола,— с путаницей в мыслях подошла к окну.

— А возле нее витает дух татарского зелья — это уже с брода. Тебе положить городской матрац или на лесном сене будешь спать? Никогда не будет так пахнуть сено, как пахнет в молодости.

— И в детстве тоже,— вздохнула девушка, прислушиваясь к броду.

На следующее утро смущенная Мирослава пришла к председателю в кабинет и стала на пороге.

«Словно судьба! — подумал Данило. — С какого ты поля, с каких ты чар?..»

А «судьба» даже не поднимала на него глаз.

«Какие они у нее?»

— Оставайся, Мирослава, у нас, — попросил Данило. — Люди у нас добрые, и председатель не очень злой.

«Бессовестный», — про себя, уже без осуждения, сказала девушка и подняла длинные неровные ресницы на «бессовестного».

Он дружелюбно посмотрел на нее и подумал: «Полевая царевна!» И снова увидел ее в полях.

А «полевая царевна», покачиваясь топольком, подошла к нему:

— Вам сейчас отдать документы?

— Зачем мне эти хлопоты, держи их при себе. А теперь можно поехать к леснику.

— Я бы сейчас лучше пошла на поля. — Мирослава бросила взгляд на невидимые еще поля и ласково улыбнулась им.

«Славная. Землю, верно, любит. А волосы пахнут маттиолой, зельицем грусти».

— Тогда я дам тебе, как в песне поется, сивого коня да черную бричку — и езжай на смотрины.

— А конь норовистый?

— Спокойный. Только не подставляй ему волосы — подумает, что пшеница.

Мирослава сжала припухшие губы, не зная, как ей быть: смолчать или что-то сказать с перцем?..

На рассвете следующего дня, когда она босиком вышла на подворье, к которому с брода подошел туман, с улицы окликнул веселый голос:

— Не спится — хлеб снится?

— Ой! — вздрогнула, растерялась девушка и сразу же поправила еще примятые волосы. — Куда это так рано?

— Лучше спроси, откуда? — Усмехается, подходит к воротам Данило и трет щеку, в которую впилось пчелиное жало

— Скажите.

— С пасеки, что вывезли на гречиху.

— Так меду захотелось? — уела за вчерашнюю «пшеницу».

— Я до меда не очень-то охоч. Но вот уже третью ночь возимся возле ульев — постепенно поворачиваем летками на север. Днем это делать нельзя.

— Почему же на север? — удивилась Мирослава.

— Потому что теперь жара и не надо ею утомлять пчелу. В леток, повернутый на север, хорошо падает и утренняя, и вечерняя заря, и это продлевает медосбор. А весной или осенью мы ставим ульи летками на юг — тогда надо ловить солнце.

— Сколько света, столько дива. И это непременно надо делать председателю?

— А как же! Я, как гоголевский Рудый Панько, люблю пасеку и меньше ее посетителей — медоедов, — усмехнулся лукаво. — У Гримичей тебе хорошо?

— Хорошо. Тут смех всегда кружит по хате.

— А ласточкино гнездо над своим окном видела? — бросил взгляд под стреху.

— Нет.

— Хм.

— Это гнездо — этнографическая редкость?

— Ласточки летают, потому что летается... — сказал загадочно. — Бывай здорова! — И пошел.

«Поехал Фома в Харьков. Что он за человек? А об летках надо подумать. Вот сейчас пойду к пасечнику, проверю контрольный улей». Снова поправила волосы, глянула на потрескавшийся комочек ласточкиного гнезда и пошла двором к татарскому броду.

За огородом из-за пушистых ресниц вербняка глянула сонным глазом копанка. Тонконогие незабудки сгоряча соскочили по колено в нее и испугались: а может, здесь так глубоко, что и голубые платочки утонут? Вверху просвистели крыльями чирки, в броде всплыла рыба, потом шлепнуло весло, и утро начало раздвигать туман.

XI

Семена Магазанника разбудило предгрозье. Его теперь всегда будят предгрозья и грозы: на землю они приносят дождь, а в его душу тревогу. О грехи наши, грехи... Где рассеять, где закопать вас?

Соскочив с широкой, еще барской, кровати, что была украшена деревянными лохматыми головами и потемневшими бронзовыми лапами зверей, лесник перекрестился на угол, из которого сам же повыносил почерневшие от времени иконы, засветил громовую свечку, которая зажигается в доме во время грозы, прилепил ее на уголок стола и только тогда поглядел в раскрытое окно. За окном черной испуганной громадой шевелилась и на кого-то гневалась расшумевшаяся, взбудораженная душа чернолесья, а над нею аж стонал в туче темно-сизый ливень или град. Только бы не град!..

Высоко вспыхнула надломленная молния, и гром, обрушиваясь, вогнал ее в леса. Но не эта и не вторая, а только четвертая молния бросила в холодный пот лесника: она была такой же змеевидной, как и тогда над татарским бродом. Ох, тот брод и синий, глубинный, словно из другого неба выхваченный корень грозы! И время не стирает вас из памяти...

Магазанник отвернулся от окна, протянул руки к огоньку свечи, что трепетал, словно скорбь.

— Исцели меня, господи, ибо встревожились кости мои и душа встревожилась моя!

Да, тревога, как ей только хотелось, ходила в нем: так ходит ревматизм по больным костям.

За окном резко, простуженно каркнул старый ворон, которому долгий век изменил голос и покалечил ноги. Ворон кособоко, шматком черного разодранного платка поднялся вровень с чернолесьем. И он отчего-то тревожился в предгрозье, по-змеиному шипел крыльями, покинув в гнезде свою притихшую пару.

Даже у старого ворона есть хоть какая-то пара, а у него, считай, запустением веет от жилья: не пришла сюда Оксана, не пришла и другая, вдовица из Литинецких Майданов, у которой была осанка королевы и брови, дочерна опаленные тем карим сия-

[illegible] …шнкнвало в ее то святых, то греховных [illegible] …ти очи! Она тоже назвала его дядьком [illegible] …, когда он начал домогаться любви, влепи… [illegible] …ечное словцо «скользкоокий!». И на богатст… [illegible] …о не польстилась женская красота. Вот и до… [illegible] …ствуйся тем, что воровски выхватишь в лесах [illegible] …ех поденщиц, у которых грех не перебродил в [illegible] …каяние.

Снова на просвеченных облаках зазмеились молнии, их мертвенно-голубоватый отсвет до самого потолка залил хату, перенес Магазанника в страшную полночь на татарском броде и в то далекое обманчивое время, когда он с весны 1918 года служил на Полтавщине в державной страже его светлости гетмана Скоропадского, по-глупому надеясь тогда, что гетман нарежет верным слугам земельки. Но гетман, словно вор, ночью тайком бросил на произвол судьбы своих защитников, а сам удрал на чужие хлеба в Берлин. Сам фон Гинденбург пожаловал ему имение, пожаловал и пенсию. А вспоминает ли его светлость о своих слугах «экспедиторах», что отделяли мужицкие души от тела и под наскоро сбитыми виселицами намыливали петли серым солдатским мылом?

Если что и было красивого при гетмане, так это форма: короткие красные кожушки и черные смушковые шапки, на которых ветер колыхал длинные красные шлыки. Он и до сих пор слышит это колыханье, только тогда оно шелестело, как бархат на плечах, а теперь при одном воспоминании шипит, как гадина... Ох, те петли, намыленные серым солдатским мылом, да вытянутые шеи под ними, да между небом и землей молодые с ветром чубы... Сгиньте, разлетитесь на четыре стороны! Он ведь сам никогда не вешал. К этому были способности и страсть у бывшего гласного губернской земской управы Оникия Безбородько, который кичился своими родовыми поместьями, знатным родом и горделивой осанкой.

При царе он мечтал о камергерских штанах и всюду ратовал за «единую неделимую». Во времена Центральной рады Безбородько вдруг перешерстился и уже венцом государственного устройства считал федерацию, отстаивал дробление Украины на самостийные края по образцу швейцарских кантонов, потому что так легче было ему самому стать видным правителем. А когда Берлин сделал гетманом Украины царского генерала Скоропадского, «строитель государства» Безбородько, не приходя в себя от радости, что наконец дождались гетманской хоругви, булавы и бунчука, начал писать гетманские законы на мужицких спинах и вешать бунтарей. «Смертоубийство при гетмане не грех, а честь»,— поучал отпрыск знатного рода. Единственно, что тогда не нравилось Безбородько, так это официальный титул гетмана: для чего писать «его светлость», когда есть вековечное — «его ясновельможность»?.. Все же верно кто-то укусил гетманца: «Из такой персоны портной может выкроить что угодно, даже черта...»

«С чего это я о нем? — И передернул плечами, словно в них клеймами впивались буркалы ярмарочного нищего. — Сгиньте, паскудные».

По крыше нестерпимо, как выстрелы, застучала первая дробь града, но скоро он утих: туча подумала-подумала о чем-то, да и понесла свои торбы стороной, и в них стали замирать грозы. На подворье, шурша сохлым крылом, начал падать хромой ворон. Вот он коснулся земли и боком запетлял к корытцам, из которых ели куры. Когда-то он рвал на куски курятину, а теперь крадет куриные объедки.

Отгоняя призраки прошлого, Магазанник задул свечу и зашаркал постолами на другую половину хаты, где, разбросавшись, отлеживался его крепкотелый взлохмаченный волокита. Ох, и охочий он у него до девчат, а до работы ленивый, как церковные ворота. Из-за лени уже из второй конторы выгоняют лодыря, а он и за ухом не чешет: днем, бездельничая, лясы точит с поденщицами, а вечером бежит на село, к девчатам. И всю свою изворотливость убивает на ухаживания, а кто же должен думать о выдвижении? Правда, молодой хмель должен перебродить, но что из этого брожения получится?

Услыхав скрип дверей, Степочка с трудом продрал глаза, потом сделал кислое выражение лица и зашелестел желтыми мельничками ресниц. «Вот старый лунатик. И сам не спит, толчется, словно бес в лотоках, и другому не дает».

— Вставай, вставай, дремала. Хватит терять время: время делает деньги, а погода — сено.

— К чему такая спешка? — спросонья ворчит Степочка. — Еще и черти на кулачках не бились.

— А ты в пекле слонялся, что такое городишь? — не сердится отец. — Вставай, хватит в постели валяться, не улеживайся, как гнилушка.

— Кто лежит, тот не упадет. — Лентяй открывает под ресницами недовольную жидковатую синьку. — Чего вам?

— Медосбор ждет нас. Будем из дуплянок соты подрезать.

— Снова будем пчел выкуривать серой? — чертом скривился Степочка и кашлянул, словно уже давился бесовским смрадом серы.

Но отец не рассердился, а спокойно сказал:

— Попробуем выгнать пчел в ройницы. Вот перекусим зайчатиной — да и к сладкой работе.

— Зайчатина с начинкой? — оживился Степочка, который никогда не жаловался на аппетит.

— Как всегда. Василина с вечера готовила, а она ведь так готовит — пальчики оближешь.

Чадо вспомнило пышнотелую вдовицу, которую женщины за глаза прозвали бесстыжей, чижиковато глянуло на отца, хмыкнуло что-то себе под нос и с неохотой начало выползать из складок широкого, чуть ли не задаром выменянного одеяла.

— Зайчатина так зайчатина.

И хватал же он эту зайчатину, как в мешок бросал.

— Смотри, брюхо набьешь, словно бочонок,— не выдержал отец.

— Не вашим ногам его носить,— небрежно отмахнулся рукой Степочка.

После завтрака, надев сетки, они уже возились у старых дуплянок, которые стояли на бездонках и

...сквозь пропахли медом, воском и лесными травами. Оно бы можно было перейти только на ульи, но неприхотливые дуплянки тоже давали прибыль и иногда переносили Магазанника в далекое детство, на пасеку отца, который зимой и летом ходил в кожухе, так как после ранений всегда зяб. Тогда в душе Семена не было ни теперешнего паскудства, ни тревоги, ни страха. Чего бы он только не дал, чтобы снова вернуть детство и неторопливые годы родителей, потому что в свои теперешние года и в те, что придут, ему нет и уже не будет утешения: он свой век как по кочкам проволок, да и осталась от него в душе одна пустота.

«Исцели меня, господи, ибо встревожились кости мои и душа встревожилась моя... Может, хоть певучее снование пчелы да ее пожива немного утихомирят ее». А поживу небесная скотинка приносила исправно, и научился он от отца присматривать за нею и весной, и летом, и осенью, а на зимовку оставлял только молодых сентябрьских пчел.

Не успел Магазанник вырезать ножом-колодачом соты до первых снозей — палочек, которые их поддерживают,— как от жилья послышался лязг цепи и неистовый лай блохастой овчарки, что глушил пчелиное жужжанье лиры и голос лирника:

Мимо раю проходжу,
Гірко плачу і тужу,
Ой горе, горе нам превелике...

Со дворища, от сарая, где рассыхались старые возы и мажары, то ли приглядываясь, то ли принюхиваясь ко всему, шел на пасеку тот самый нищий, которого Магазанник увидел на ярмарке. Засаленный блин его картуза поджаривался на непокорных рыжевато-серых патлах, а заросшее волосами лицо, хрящеватый носище и желтоватые, слезящиеся, словно у совы, глаза предвещали что-то недоброе.

«Такому больше подходит по ночам лошадей красть, чем лирой выманивать копейку».

Пришелец подошел к Магазанникам, еле-еле кивнул головой и, как столб, молча стал на краю задернелого сада, ожидая, пока на него обратят внимание.

— Чего тебе, божий человече? — неприязненно спросил лесник. — Видишь, люди работают? — и поднял куцеватые руки, с которых уже тягуче стекал мед с утонувшими пчелами и ячейками изломанных сотов.

— Я подожду людей, у меня есть время. Вот вставите донышко в дуплянку, тогда погомоним,— многозначительно, даже насмешливо молвил пришелец, опустил на глаза синеватые облысевшие мешки век, полез лопатистой, ржавой рукой в карман, вынул цигарку, бросил в рот и начал перекатывать ее из угла в угол.

Леснику показалось, что он где-то слышал этот голос, где-то видел такую же игру с цигаркой.

— Нам, старче, некогда точить лясы,— расшнуровывает губы Степочка и исподлобья оглядывает торбешника. — Хоть у нас залежалого хлеба нет, да какую-нибудь краюху вынесу, проведу от собаки, и идите себе с богом.

Теперь уже пришелец одной желчью посмотрел на Семенова отпрыска.

— Ты, вижу, не по годам остер на язык. Что ж, невежа, тебе, может, за похождениями да гульней и нет времени для меня, а отец, надеюсь, найдет! — Смачно затянулся, пустил дым над дуплянкой и начал забавляться пегой бородой.

Магазанник тревожно оглядел нахрапистого прохожего, который впивался в него тягучим взглядом и не просил, а приказывал идти на разговор. Внутри заныл страх. Вздохнув, лесник еще подержал над корытом растопыренные пальцы, чтобы до конца стек мед, украдкой глянул на лирника и сказал сыну:

— Ты смотри, осторожненько впусти пчел в дуплянку, а мы с божьим человеком пойдем в хату.

— Было бы с кем идти. — Чадо никак не могло понять такой причуды отца и недовольно сжало губы и веки.

— Тебя, вертопрах, не покропили черти зловонной водой? — Нищий взглянул на Степочку, словно на полоумного, и у того от злости на лице появились пятна.

— Может, вы, божий человек, пошли бы с нашей пасеки ко всем чертям или под гром! Собирайте под заборами подаяния и не дурите нам голову.

— Вот у кого в голове еще и не пахано, а кичится, словно пасхальный поросенок. Когда-то батько забыл тебя хорошенько отдубасить и лозиной нагнать ума в голову,— насмешливо ответил лирник, повернулся к нему спиной и крутнул ручкой лиры, что тоже отозвалась насмешкой.

Переступив порог лесного жилища, непрошеный гость поднял руку, чтобы перекреститься, но тут же и опустил ее вниз, уставившись буркалами в хозяина:

— Ты, Семен, богохульником стал? У тебя старый бог с красного угла сошел, а нового не успел поставить?

— Кто ты, человече?! — вскрикнул с каким-то недобрым предчувствием Магазанник, наступая ногой на лохматую тень попрошайки.

В глазах нищего снова разлилось масло — хоть фитильки зажигай на нем.

Где он видел этот маслянистый взгляд, этот носище, что высунулся из чащи волос?

— Еще не узнал? — кривится лирник недоброй усмешкой.

— Нет.

— Вот как года выветривают память. — Нищий выпрямился, по-военному стукнул каблуками разбитых сапог и велеречиво изрек: — Так хорошенько потряси, просей года, милостивый государь и почтеннейший пан.

— Оникий! Оникий Безбородько,— с ужасом прошептал дрожащими устами лесник. Он почувствовал, как сразу потемнело в глазах, как пересохло во рту, как изменилось лицо.

Отведя от Оникия Безбородько невидящий взгляд, лесник бессмысленно пошарил по потемневшим окнам. Но за ними ничего не увидел, перед ним мертво

...ось время и закачало петли, намыленные ...ым солдатским мылом, а возле них стояла скорбь ...енных и жестокая неумолимость Безбородько. Оникий был настоящим извергом, но всюду кичился тем, что его родословная идет еще от киевского полковника Александра Безбородько, который после смерти Екатерины II стал министром и доверенной особой царя Павла. И вот теперь этот шляхетный огарок былого царедворца под маской нищего свалился на его бедную голову. Да, не изгладился его след, и ни война, ни Чека, ни оперативные тройки не поймали этого выродка. Так пусть черт найдет тебя в пекле...

— Узнал наконец? — из задичалых, свалявшихся волос проглянули в кривой улыбке синеватые губы, словно полураскрытые створки ракушки. — Чего так замигал ресницами, чего так залихорадило тебя?

— От такого гостя и мертвого в гробу залихорадит,— сказал Магазанник упавшим голосом и зябко повел плечами, чтобы стряхнуть с них частицу холода и страха.

— Вот как ты заговорил! — медленно вспыхнуло масло в глазах Безбородько. — А когда-то в державной страже мы с тобой братались.

«Не братались, а приспешничали»,— подумал Магазанник, но вслух сказал:

— Садись, раз пришел.

Да Безбородько не торопился садиться за стол, а все поглядывал на окна.

— Хорошо ты тут, на отшибе, угнездился, хозяин!

— Угнездился, как сумел: богатства не нажил, а кое-какую малость держу в руках,— прибеднился Магазанник. — Вынырнул, выходит, через два десятилетия. Вот как оно бывает в жизни.

— Жизнь — это долгая нива, и чего только не родит она.

«И такого изувера, как ты»,— подумал лесник, так как у него было меньше грехов, чем у Безбородько.

— Что, вспомнил молодость? — снова Оникий насмешливо кривит синеватые ракушки губ.

— Должен был.

Оникий опять бросил взгляд на окна, заглянул в маленькую комнатку, в клетушку, где сушилась с запекшейся кровью шкура ягненка, и только тогда начал снимать с себя лиру, торбу, потрепанный пиджак и истлевшую сорочку, вышитую узором гетмана Полуботка.

— А борода у тебя не снимается?

В глазах Безбородько вспыхнул злой отблеск бешенства:

— Пока что не снимается. Пока что! Но когда наступит время новой власти, тогда сброшу и бороду, и усы и чьи-то шкуры от плеч донизу буду рвать, бубны вычиню из них и под их музыку отхвачу цыганскую халяндру. Я еще дождусь этого светопреставления! Не одному станет жарко!

От такой дикой оголтелости даже Магазаннику стало не по себе: не забылось, не истлело прошлое в душе сановного нищего. «Ему еще цыганской халяндры захотелось. Нищенствуй, если нищенствуется, да радуйся, что есть хоть выпрошенный хлеб. Ты ведь не хлебом, а свинцом да петлями кормил людей».

Безбородько почувствовал, что Магазаннику не понравилась его речь, презрительно повел хрящеватым носищем.

— Что-то не то в твоей умной голове засело. Может, уединившись в лесах, думаешь прожить мирным хлебом да медом славянства и уже не веришь в перемену власти?

Лесника возмутила чванливость Безбородько.

— Угадал-таки: не верю. Это в гражданскую войну были у нас какие-то иконы, а осталась от них одна труха... Тогда еще верилось, что немецкие шарабаны привезут нам и гетмана, и самостийность. Ох, какие это были шарабаны! Три года войны проездили — и не скрипели, а бубнами гудели!

— Подожди с шарабанами! — поморщился Безбородько. — Почему ты в перемену не веришь?

— А зачем мне верить? Где найдешь те дрожжи, на которых поднимется новая власть? Все, что когда-то пенилось голубой концепцией, или погибло, или подалось на бесплодье по всем заграницам, или навеки рассыпалось в сор-мусор.

— На старые дрожжи никакой надежды нет: все в них высохло, кроме злости,— согласился Оникий и нахмурился, вспомнил взрыв своей злобы. — А знаешь ли ты, Семен, что сейчас творится на Западе, в международностях?

— У меня об этих международностях голова не болит. Видел их в гражданскую: английские правители боятся, что французские захватят Черное море, а французы опасаются, как бы англичане и немцы не прибрали к рукам Балтику. Даже самую Америку лихорадило: опасались, что японцы обдурят ее. Пожив на свете, насмотревшись на всякое плутовство, я поверил одному писателю: вся история людей — это история обмана.

— Ты смотри! — Безбородько вытаращил глаза на лесника. — Даже Магазанник кинулся в литературу! Диво дивное! Но кроме литературы есть политика. Что же тогда главное у тебя в мозгу? Думаешь, при большевиках ты долго проживешь хуторянином? Тогда давно не метено под твоим чубом.

— А у кого-то и не мыто под чубом,— огрызнулся Магазанник.

— Оставь свои глупые шутки, скоро будет не до них.

— Что ты меня пугаешь политикой и международностями?

— Потому что такое время на пороге стоит. Разве ты не слыхал о Гитлере?

— Так это ж людоед!

— Пусть и так,— неохотно согласился Безбородько. — Но история не обходится без жестоких кар! Не только история, даже идеи требуют жертв. А при нынешней истории, чтобы выкорчевать из нее корни и семена социалистического евангелия, нужна власть не какого-то слабовольного царя Николая, а именно Адольфа Кровавого. Он наведет порядки в Европе: как-никак посадил армию не на шарабаны, а в танки.

Хотя Магазанник разбирался в социализме как [illegible] в звездах и, разумеется, никакой склонности не имел к нему, однако не разделил надежд Ониксия.

— А что из того, если твой Гитлер пойдет войной на социализм? Закабалит он нашу землю, подожжет нашу хату, а если и принесет пользу, то своим гитлеровцам.

Оникий строго посмотрел на лесника.

— Ты еще не знаешь,— нам надо, чтобы стать хозяевами, пройти сквозь сито немецкой жизни.

— А на этом сите мы не оставим все? — Магазанник наотмашь бьет Безбородько и сам гордится этим ударом. — Нет, я свое хозяйствование и свою хату не сменяю на чужую.

— Теперь нечего думать о своей хате, надо думать о всемирной.

Магазанник скривился: этот крутила хоть кому забьет баки.

— Имея за плечами торбу, можно богатеть и такими думками. А я не хочу ни всемирной хаты, ни гитлеровской опустевшей, для меня вполне достаточно своего жилья и покоя в нем.

Безбородько подавил возмущение и заговорил с еще большей запальчивостью:

— О, затянул канон по усопшим душам! Или ты хитришь, или в твоей голове рассада увяла и думаешь прожить тихим гречкосейством да пчеловодством? Но где же теперь есть покой на грешной земле? Нам с тобой может дать какое-то спокойствие только новая власть. Когда придет Гитлер, он сразу посадит на гетманство старого Скоропадского, ведь недаром же сам Геринг стал кредитором гетмана — выдает ему средства и на булаву, и на двор. О великой Украине с правителем Скоропадским и слыхал, и читал я.

— Выходит, народ погасил лучи на гетманской булаве, а фашизм зажжет их? — блеснул чужим словом Магазанник.

— Хотя бы и так. Разве тебе не хочется снова увидеть гетмана в соболиной шапке, при сабле? Разве не хочется услышать праздничные колокола Софии? А тогда, при гетманщине, и наши головы на что-то сгодятся, ибо как ты ни хитри, а мы два гриба в одном борще. Если бы ты только знал, как осточертело носить на себе это тряпье, эту бороду, эту лиру, прикидываться нищим и собирать в торбу чужие объедки. Это мне, у которого было своих полтысячи десятин пахотной земли... — В широко расставленных глазах Оникия застыла печаль.

Магазаннику стало жаль его или их молодости, о которой даже наедине страшно вспоминать. Промотал ее впустую. Да и прожил век в стороне от людей, как вор, и ничего доброго не вспомнишь о нем. А что такое гетманская соболиная шапка? Бредни и обман.

— Почему же, Оникий, если так надоело тебе нищенствовать, не пристроился где-нибудь на службу? Ты же учился где-то, да и голову тебе не заклинило.

— Такова моя лукавая судьба,— снова посмотрел на окна. — Мне нельзя быть хоть сколько-нибудь на виду: прошлое не позволяет, да и лицо [illegible] запомнить. Попробовал как-то в одном [illegible] сукноваловом, а потом салотоном поработать и [illegible] было в Сибирь не угодил. Вот и должен старческим [illegible] патлами прикрывать свою рожу и то, что было в во[illegible] семнадцатом.

— Дела... — не знает, что на это сказать, лес[illegible]ник. — А твое нищенство дает что-нибудь? Или не [illegible] ребиваешься с хлеба на воду?

Безбородько презрительно разлепил губы.

— Это только в больших городах, говорят, некоторые хитрые нищие достигли богатства, а в селах об этом никто испокон веку не слыхал. Однако прежде и у нас водилась какая-то копейка, а теперь, считай, запило ее.

— Это ж почему? — удивился Магазанник. — Сейчас люди вроде щедрее и деньги у них водятся.

— Так-то оно так, но есть и другое: сдвинулся со своего старого места медлительный крестьянский ум. Ты же знаешь, что когда-то наш дядько больше болел за скотину, чем за себя. Молишься в его хате — он только отступное подает, а помолишься возле коровы или коня — иную плату получишь.

— И что ты говорил о скотине? — оживился Магазанник.

— Да всякое,— неохотно ответил Безбородько. — А больше всего такое: «Христе, боже наш, спасай и оберегай скотину вашу днем под солнцем, ночью под луной, под ясными зорями, и при позднем отходе ко сну, и при раннем пробуждении, и в предрассветные часы, где она росы поедает, где воды выпивает. Сохрани, боже, ее от зверя лютого, от языка клевещущего, и от гада ядовитого, и от человека лукавого, и от всяческого зла, чтобы прибывало на скотине всего и с росы, и с воды, и с прекрасного цвета...» Прибыльное было такое слово. А теперь поумнело село и к скотине только зоотехника зовет. Да хватит об этом... Как у вас люди, устали выполнять и перевыполнять большевистские планы?

— У нас стараются друг перед другом, потому что у них не председатель, а какой-то одержимый, что ни в чем не отстанет. У него идеи, и хлеб, и надежды в одно слились. Этот, заботясь о людях, даже в праздник не досмотрит своего сна. А почему тебя людская усталость тревожит?

— Измотать, растревожить, перессорить людей — это большое дело для нас. Ну, а если твоего председателя господь покарал таким умом, то надо как-то хитро-мудро поубавить его, а то и столкнуть в воду — пусть ловит раков. От умных большевиков нам вся беда идет, а за глупцов или тех, кто топит душу в горилке, держись руками и ногами.

— Вон как,— пробормотал лесник. — Может, хватит уже нам политикой заниматься, надо и об угощении подумать. Яичницей не побрезгуешь?

— Можно и яичницу, только на сале, чтобы шипела сковородка, словно в аду для грешников.

— Сколько тебе бить яиц?

— Полдесятка хватит,— оживился Безбородько. — У меня, когда хорошо набью животище, душа [illegible] на подушке лежит. Роскошь у тебя в лесах,— вен[illegible]

[illegible] Безбородько, помрачнел. — Роскошь [illegible] со смаком, а кончается с болью. Я не очень [illegible] тебя, если назову своим жертвователем?

— Это ты к чему?

— Не догадываешься? Прошу, раскошелься на какую-нибудь тысчонку.

Магазанник насупился:

— Где мне целую тысячу взять? Разве не знаешь, сколько получает лесник?

Безбородько засмеялся, погрозил грязным пальцем:

— Но я еще знаю и какой приварок имеет лесник.

— Не столько приварка, сколько людских разговоров. Никто из чужой торбы хлеба не жалеет.

Язвительность этих слов пронзила незваного гостя, откуда и взялась такая гадкая.

— Семен, не будь свиньей, когда тебя люди величают, и не ври в глаза, я не сегодня родился на свет. Знаю, что ты свою копейку не пропустишь через горло, знаю твою ненасытность и знаю, сколько кто-то когда-то наторговал за хлеб и картофель. Вспомнил?! То-то же, не жалуйся на безденежье, а скорее клади тысячу на стол, а то могу передумать и захотеть больше.

— Захотеть! — нахмурился лесник. — А если я не дам тебе ни гроша?

— Дашь! Еще и поблагодаришь, что возьму! — играя синцами губ, нагло сказал Оникий. — Ты же знаешь, как ценят в последнее время оговоры и бумажечки? Бросишь в ящичек на кого-нибудь несколько слов, а они и вырвут из его жизни несколько лет.

На жерновообразном лице Магазанника выступили капли пота, он вытер его рукой.

— Как ты страшно шутишь в моей хате.

— С тобой только шучу, а кое-кто Сибирью расплатился за мои бумажечки и крючкотворию,— уже не глаза, а шершни нацелились на Магазанника. — Копейка же твоя очень нужна мне, потому что обеднел сейчас.

— Или дай, или вырву,— прогундосил лесник.

— Хотя бы и так,— не обиделся, а, насмехаясь, приоткрыл пожелтевшие, перезрелые бобы зубов. — Я тоже хочу пожить по-людски: не в соломе, а в чистой постели поспать, смачную молодицу обнять, ведь старец я только по одежде, а не телом.

— Лишь бы здоровье было, а грехи заведутся,— вздохнул Магазанник.

— У тебя нет какой-нибудь крали с толстыми икрами да бедрами, что по сходной цене берет за любовь?

— В нашем селе нет гулящих и никто из женщин не требует денег за прелюбодеяние,— гордо сказал лесник. Хотя он не раз принуждал молодиц к любви, но никогда презренная копейка не омрачала се.

— Наши женщины в этом деле слишком архаичны и прелюбодеяние считают самым большим грехом,— тряхнул патлами Оникий. — Они и до сих пор [illegible] юбки до пят, разводят сантименты недотрог. И тут мы отстали от иностранщины. А из-за этого мужчины получают меньше радостей в жизни.

— Мужчины или развратное тело? — даже Магазанник не стерпел разглагольствований бабника. — Где же ты свою жену бросил?

Безбородько насупился, махнул на окно волосатой рукой.

— Это целая история, Семен... Вырвал когда-то и я кусок счастья. Такого, что за суматохой и грехами того времени уже и не снилось: склонил к себе красавицу учительницу, что только и мечтала о чужих детских головках и о правде на земле. Она была из тех, что и в огонь бы пошла, но не пошла бы на обольщение. Когда, глотая слезы, выходила замуж, потребовала одного: чтобы я оставил державную стражу и ступил бы на людской берег. Пришлось пообещать выполнить ее волю, да не выполнил, и она сразу отшатнулась от меня. Со временем, уже при красных, тайком пришел к ней, и моя красавица чуть было не упекла мою грешную душу за решетку. Едва унес тогда ноги из ее жилища. Теперь тоже учительствует, служит коммунистам и сама стала коммунисткой.

— Замуж не вышла?

— Не вышла и вряд ли выйдет: она очень идейная и больше одной любви не признает. Такую ничто не собьет... — Вдруг тени печалей прошлись по его глазам, и он уже с грустью глянул в окно или в далекие года. — А была по красоте как заря в ясную погоду.

— Как же к тебе прибилась такая красота? — Магазанник не очень деликатным взглядом смерил Безбородько.

— Чего только не учинит война. Слыхал, что она переехала учительствовать на Подольщину,— Оникий вздохнул тяжело и сразу же махнул лопатой руки, словно выгребая свои печали. — Ты не разгневаешься, если я у тебя останусь переночевать?

Магазанник полез рукой к затылку.

— Как хочешь. Но отдыхать придется отшельником в летнике или в сушилке, что стоит за оградой, а то в хате и возле хаты много толчется людей.

— Не иссушишь меня в ней?

Безбородько так блеснул своими скользкими зенками, что Магазаннику стало жутко. Но он сделал вид, что не понял намека.

— Если тебя нищенство не иссушило, то проживешь и в сушилке. Там даже стены пахнут сушеными фруктами.

В хату, сгибаясь, вошел Степочка, впереди себя он нес корытце с сотами, истекавшими душистым медом, в котором шевелились увязшие пчелы.

— Куда их, тату? Может, в бортницу?

— Ставь на стол. Пировать так пировать: бог послал нам... дорогого гостя.

Степочка понял, что лохмач, верно, был когда-то важной особой, и, уже приветливо улыбаясь ему, поставил корытце на стол, к которому была прилеплена свечка, да и снова ушел к дуплянкам. Магазанник зажег свечку.

— Перед богами, а не передо мной свети ее,— засмеялся Безбородько, прошелся по хате, и на каждый его шаг свечечка отвечала трепетом. Так, верно, и его, Магазанника, душа трепетала от шагов и слов этого жестокосердного проходимца.

Вскоре ноздреватая яичница пузырилась на черной, величиной с колесо, сковороде, которую Магазанник поставил прямо на стол, а возле нее появилась бутылка темноватой, уже по цвету соблазнительной «беззаботки», вишневый, с белыми разводами и маслянистыми слезами окорок, пропахший приправами, чесноком, дымком, огромный кусок сала, разрезанный накрест, свежеотжатый, с сеткой клеточек от полотна, творог и кольцо залитой смальцем колбасы, которую хозяин выколупнул из нарядного новенького бочоночка.

«Надо же хорошими яствами ублаготворить этого дьявола, чтобы не затаил злобы под тем сердцем, которое не знало и, видать, не знает жалости».

Дьявол в самом деле распогодился, а когда одним духом опрокинул чарку, удивленно и радостно вытаращил глаза на хозяина:

— Эта такая бешеная, что только причмокнешь! Где ты ее, стобесовую, достаешь?

— Есть у меня один дед, болотный черт, который мокруху настаивает на восемнадцати полезных травах и кореньях. От всех хвороб, кроме сердечных, помогает.

— Поэтому ты и здоров, как гром?

— Да еще, слава богу, есть сыромять в теле,— взглянул на потрескавшиеся черпаки рук, что тоже не гуляли без дела.

— А как здоровье у этого деда? — все еще не мог отдышаться после адской настойки Безбородько.

— Наверное, ничего, если в семьдесят лет, из-за недосмотра, как он сам сказал, расстарался на ребенка.

— Вот так недосмотр! — повеселел, засмеялся Безбородько, снова потянулся к чарке, и она сразу исчезла в диких зарослях его волос, что, казалось, тоже сочились весельем. — Роскошь у тебя, Семен, роскошь! Живешь ты — как сыр в масле катаешься. Потому и не хочешь новой власти?

— Нет, не хочу совать свою голову в чужую кринку,— Магазанник чокнулся с Безбородько. — Новая власть — это журавль в небе, да еще тот журавль, который несет не весну, а войну.

— Выходит, ты сдружился с большевиками? — снова стало злым лицо Безбородько, зл стали и буркалы.

Насупился и Магазанник.

— Болтаешь несусветное. Как я могу подружиться с большевиками, если они вот так держат меня в кулаке? Ты говоришь, у меня роскошь в лесах. Да разве это роскошь, если каждый раз за малейшую прибыль должен дрожать: мол, и пасись, и стерегись! Я ведь только тогда выколупываю себе какой-то рубль, когда тайком проникну в здешний торг или махну куда-то. Но разве это коммерция, если постоянно от страха у тебя все валится из рук? Может, в моей голове сидит министр торговли, может, из моего котелка выроилось бы торговое золото и для державы, и для себя, а я должен ломать голову, как воровски раздобыть какой-то вагон под овощи-фрукты и как его погнать в Сибирь. Так откуда же у меня возьмется любовь к такой власти, которая прижимает мои мозги ниже гриба, что сидит в земле? — Из жалости к своим придушенным талантам Магазанник опрокинул чарку и тоже вытаращил глаза на Безбородько.

Того растрогала речь лесника. «Пожалуй, эта жерновообразная морда могла бы дорасти до какого-нибудь Терещенко или его последыша».

— Тогда какой же ты хочешь власти?

— Какой? — подумал Магазанник, и вдруг в поугрустневшей зелени его глаз по-разбойничьи заиграли серые песчинки. — Той, которая вряд ли вернется. Не знаю, как тебе жилось на твоих полтысячах десятин, а я только и думал о своем черноземе, тучном, словно жиром смазанном. Помнишь, о чем мечтал в пьесе «Сто тысяч» Герасим Калитка? Я когда-то на сельской сцене играл этого Калитку и его слов не забуду до самого Страшного суда: «Ох, земелька, святая земелька, божья ты доченька! Как радостно тебя собирать воедино, в одни руки. Скупал бы тебя без счету!.. Едешь день — чья земля? Калиткина! Едешь два — чья земля? Калиткина! Едешь три — чья земля? Калиткина!» На такой земле я с радостью, отдыхая да бога благодаря, распластался бы крестом и лег бы под крестом, зная, что это мое.

— Ого! — удивленно воскликнул Безбородько. — За столько лет и не убить в себе Калитку?

— Такое не убивается, ибо это рай моей души,— убежденно изрек Магазанник.

— Но к твоему хозяйственному раю еще надо присоединить и пекло политики: теперь без этого не проживешь! Даже самые богатые властители земли сейчас вымачивают свои чубы и головы в политике. Понимаешь, как и куда в современном мире течет вода?

— Не совсем,— признался Магазанник.

— Жаль,— покачал коловоротом волос Безбородько. — Ты не поверишь, что даже и к любви со всеми ее воздыханиями, со всеми соловейками теперь причастна политика.

— Это уже, Оникий, ты такое загнул, что дальше некуда,— засмеялся лесник.

— Подожди смеяться,— насупился Безбородько. — Вот я тебе сейчас нарисую кусочек современной сказки. Представь себе божественную ночь с луной, когда видно — хоть иголки собирай, да иную бутафорию для влюбленных. Вот кого ты поставишь в такую ночь где-нибудь возле вербы, пруда или полукопны?

— Хотя бы нашего председателя Данила Бондаренко.

— Которого надо убрать?

— Еще как надо, а то так насолил мне...

— Остановимся на нем. Вот он возле копны ждет свою любовь. Крадучись приходит она, и уже влюбленные в своей любви не слышат, как на них осы-

[illegible] падает роса и тому подобное, что [illegible] в романах... А где-то за морем в своем [illegible] доме сидит большой политик, сидит черный [illegible], перед которым уже дрожат европейские [illegible]. И думает он ночь, и думает вторую, и третью, [illegible] эти Данилы снопами легли возле снопов или согнулись рабами перед новыми правителями. И не только думает, но выплавляет для этого и свинец, и сталь, и золото-серебро. Это только произвольный пример, чтобы ты увидел, как все, даже любовь, теперь переплетается с политикой.

— Хотя это и пустозвонство, но страшная твоя сказка,— задумался Магазанник.

— А век добрых сказок уже миновал! Слышишь?!

— Да, слышу. Меня удивляет только одно: как ты, Оникий, при таком уме пошел в нищие? Почему не бежал в земли того черного гения?

— Бежал и туда,— вздохнул Безбородько. — Бежал...

В это время на подворье завизжала проволока и неистовым лаем залилась верная овчарка. Магазанник и Безбородько глянули в окно и окаменели: на дороге, между деревьями, показался на сером коне всадник.

— Кто это? — встревожился Безбородько.

— Лейтенант Василь Гарматюк, из органов,— непослушным языком ответил Магазанник. — Лучший друг нашего председателя.

— Вот и будет сушилка, а я еще и не насытился,— зашипел Безбородько, в один миг надел сорочку, пиджак и торопливо начал обвешивать себя причиндалами нищего, однако не забыл бросить в торбу буханку хлеба и кусок сала. — У тебя другой выход есть или через окно?..

— Через сени в лес,— сказал лесник, наскоро пряча дрожащими руками еду и выпивку.

Безбородько торопливо выскочил в сени, пригибаясь, открыл двери, которые вели в дубняк, обернулся к Магазаннику и даже выдавил своими створками синюю усмешку:

— Ну, бывай, пан и приятель... Я еще, когда стемнеет, загляну к тебе. Окорок не изведи.

— Беги скорее,— умоляюще зашептал лесник. — Что же мне лейтенанту врать?

— Да возьми себя в руки! — рассердился Оникий. — Чтобы не вляпаться, скажешь: был у тебя какой-то старец, выпил водички, съел хлеба-соли да и пошел на шлях. — Безбородько выскользнул из сеней и исчез за стволами дубков.

«Вот тебе и предгрозье, вот тебе и ворон. Хоть бы он счастья из хаты не вынес». Магазанник зашел в жилище и начал возиться возле меда, словно его больше ничего не интересовало в мире, а уши и сердце отсчитывали каждый шаг со двора.

В хату вошел Гарматюк, не здороваясь он озабоченно спросил:

— Дядько Семен, у вас гостей не было?

— Гостей? — прикинулся искренне удивленным Магазанник. — Сегодня же будни, а в будни я никогда никого не сзываю. Да и какие перед жатвой могут быть гости в наших лесах? Садись, Василь.

— И никакой бродяга не заходил к вам? — Гарматюк зашарил острым взглядом по его лицу и хате.

Магазанник недовольно махнул рукой.

— Да, приходил нищий пришелец, я как раз на пасеке возился, соты из дуплянок вырезал. Там он и пропел: «Мимо рая проходжу...»

— Давно был? — встрепенулся Гарматюк.

— Нет, недавно.

— Лира была на нем?

— Лира? Была.

— О чем-то говорил с вами?

— Какие могут быть разговоры между лесником и нищим? Он прогнусавил мне свой псалом, я бросил ему в торбу хлеба, да и бывай здоров.

— Куда же он подался?

— Вот чего не знаю, того не знаю. Вышел из хаты, пошел будто на шлях, а куда повернул, один бог ведает. А зачем тебе этот старый хрыч?

Но Гарматюк не ответил, мигом выбежал из хаты, вскочил на коня и помчался на шлях. Может, господь и пронес тучу над лесным жильем.

В дверь осторожненько протиснулся Степочка, под желтыми мельничками ресниц у него испуганно прищуривались бегающие глазки.

— Чего это Гарматюк приезжал? Не пронюхал ли что-нибудь о нас?

— Нет, о нищем допытывался.

— О нищем? Кому понадобилось это чучело?

— Выходит, нужно. Может, он не только псалмы, а и контрреволюцию поет. Есть ведь такие.

За подворьем затарахтел воз. Сын и отец испуганно уставились в окно.

— Да это ж Мирослава Григорьевна, агрономша, приехала за своими пожитками,— с облегчением вздохнул Магазанник. — Степочка, мигом принарядись — и к девушке. Только выковыряй для нее какое-нибудь умное, завлекательное словцо.

Степочка стрелой вылетел в другую половину жилища и затанцевал по ней, сбрасывая будничное и надевая праздничное. Вскоре он улыбаясь вышел на порог и похлопал в ладоши, чем немало удивил девушку.

— А мы вас, Мирослава Григорьевна, еще вчера ждали, вечером. Даже на дорогу для интереса выходили.

— Для какого же это интереса?

— У вас одна бровь стоит вола... — выковырнул Степочка «умное словцо».

— Вы и ваш отец все сравниваете с волами?

— Пожили бы в наших лесах, научились бы ценить и брови, и косы, и очи, и вообче. У нас живешь как во сне, а девчат только в грибное время видишь.

— А грибы у вас есть?

— Хоть пруд пруди, если знаешь места. Я охотно вам покажу их, будете жарить, и солить, и мариновать. Вы умеете мариновать?

— Умею.

— Пойдемте же в хату, мы вас свеженьким сотовым медом угостим. Это не мед — одно здоровье, от него еще краше станете.

— Спасибо, Степан Семенович, мне сейчас же [illegible]ать.

— Называйте меня по-простому — Стеночкой. Вам еще не наскучило в нашем селе?

— Нет.

— Так наскучит, ибо нет в нем для души интеллигентности. Вот у нас в конторе хватало ее.

Мирослава сдержала усмешку, а Стеночка умолк, чтобы снова придумать какое-нибудь культурное словцо, потому что такая девушка стоила самых лучших слов и волов.

XII

В село на легкокрылой бричке приехал Ступач. Красивый, угрюмый, он, как идол, сидел позади кучера и кого-то осуждал недоверчивым, твердым взглядом и насупленным лицом. Все сегодня не нравилось Ступачу: и жаркое, в мареве утро, и пыльная дорога, и тряская бричка, и задумчивый, хмурый кучер. Он не гнал с ветерком коней: они и без того измотаны работой и разъездами по судам, поглядите только на их потрескавшиеся копыта...

На копыта Ступач не смотрел, а из-под копыт вдоволь наглотался пыли. А какую еще пыль ему пустит в глаза Бондаренко? И кто он, наконец: упрямый фантазер, своевольник или замаскированный враг? На врага вроде не похож, но две бумажечки пришли! Чего бы им зря приходить? А ты и тревожься, чтобы не прозевать под самым носом вражеской агентуры. Ох, это село! Кого только не плодит оно? Цепами надо вымолачивать и на решетах и густых ситах просеивать его... Тогда на самом дне, смотри, и вынырнет какой-нибудь Бондаренко. Только почему за него тянет руку Мусульбас? Снова узелок? Да, жизнь понавязала разных узелков, а развязывать приходится ему. И Ступач хмурится, и морщит лицо, и гоняет мысли, словно гончих на охоте... Но пусть и не враг Бондаренко, а какая радость от него? Ты ему говоришь: «Начинай жатву», а он тебя и подкусит: «Я молочко[1] не буду жать, у меня коровы дают молочко». И летит график черту в зубы. Могли бы вырваться в передовые по району — не вырвались, а в сводке примостились поближе к хвосту. Да, видишь, не председатель, а прокурор тревожится об этом. Правда, он тоже не хуже, чем Бондаренко, понимает, что не надо косить зеленое, но указание есть указание, и кому хочется краснеть на различных совещаниях?.. Или как вышло с коровами? Втихую выбраковал непородистых, тайком сплавил, накупил симменталок и еще каких-то, сразу же сократил поголовье колхоза на четвертую часть, еще и не признает своей вины: мол, людям нужны не рога и хвосты, а молоко. И снова, своевольник, залихорадил сводку всего района. И что после этого? Схватил выговор — и не журится!.. А может, все-таки враг? Попал в какую-нибудь экономическую или политическую группировку да и ждет своего времени. Ох, это село!

И Ступач по привычке, словно подсудимых, ощупывает взглядом хаты-белянки, что отгораживаются от него то вишняками, то вербами, то мальва[ми] [illegible] пересменяются с самим солнцем. Родившись в [illegible] стечке, он не знал да и не хотел знать села, но [illegible] свое суждение о нем, потому что еще в двадцат[ых] годах безрассудное, безжалостное левачество [illegible] бочило его мозги, нашпиговало их подозрением, а [illegible] душе выжгло то, что там должно быть,— душевност[ь].

— О боже,— вздохнула из-за плетня тетка Оле[на] и опустила на глаза белый, с пыльцой подсолну[х][illegible] платок,— такой уж красивый, а сколько недобро[же]лательства на лице.

Ступач услыхал шепот ее слов, обернулся, и [на] миг ему показалось, что увидел свою мать, котор[ая] очень любила ходить в белых, чуть голубоватых [illegible] синьки платочках. Он положил руку на плечо куч[ера], чтобы тот придержал коней.

— Вы что-то мне, тетушка, сказали? — и улы[б]нулся белозубо женщине.

— О боже! — оторопела Олена, не зная, что [illegible] ответить.

Среди подсолнухов, что золотыми решетами пр[о]севали солнце, стояла спокойная, как само лето, женщина, а под ресницами ее трепетала материнска[я] печаль.

— Вы что-то, женщина добрая, имеете ко мне? — уже сочувственно спросил Ступач.

— Нет. ничего к вам не имею,— махнула [illegible]бевшей рукой.

— И все же?

— [illegible] про себя. — Олена Петров[на] стерла подсолнуховую пыльцу с лица, доверчи[во] собрала морщины вокруг полных губ. — Я, прости[те], даже не ожидала, что вы умеете так хорошо ул[ы]баться челов[еку].

— Что это вас с самого утра на смех потянуло? — сразу рассердился Ступач. — Ранний смех на поздн[ие] слезы поворачивает.

— Вот и поговорили,— грустно кивнула голо[вой] женщина и исчезла за солнцами подсолнухов.

«Болтушка! Залезла в подсолнухи и вытря[хивает] глупые насмешки. И все такие в селе. Тут на земл[ю] смотри, а под землю заглядывай».

Кони, выгибая шеи, остановились возле конторы колхоза. Из дома вышел седоголовый Ярослав Гр[и]мич, в одной руке он держал серп, в другой — [illegible].

— Дед, председатель в конторе? — с брички спр[о]сил Ступач.

— Еще чего! Наш председатель в пору жатвы [на]чинает день в поле, а не в конторе!

— А вы куда собрались?

Старик поднял серп, завернутый в белую [illegible].

— В степь, на жатву.

Ступач насмешливо хмыкнул:

— Сколько же вы нажнете в ваши лета?

— До вечера на полкопну потихоньку расстар[аюсь]. И то какая-то помощь людям. Грех теперь ж[и]вому человеку не жать.

— Кто же вместо вас будет сидеть в конторе?

— А зачем теперь кому-то рассиживаться по ко[н]торам? Телефон стеречь? Так он порычит-порычит, словно старая собака, да и перестанет.

[1] Молочко — зерно молочной спелости.

— [illegible] — неодобрительно покачал головой [illegible]. — Вот что, дед, идите в поле и разыщите мне председателя, а я уж вместо вас посижу тут.

Старик смерил Ступача удивленным взглядом, потом пожал плечами:

— Что ж, сидите, коли есть охота, только боюсь, что очень долго придется сидеть.

— Это ж почему?

— Данило Максимович заглянет сюда только вечером. Разве ж вы не знаете его?

— Да знаю,— насупился Ступач. — Тогда садитесь — и айда в степь.

— Давно бы так! — тряхнул сединой старик и начал взбираться на бричку. — Чего это вы приехали? Для разноса? — И осекся, ибо вспомнил, какое прозвище влепили колхозники Ступачу: Разнос.

Но прокурор этого еще не знал, а разносить он умел — и в городе, и в деревне.

За селом они догнали старого Корния, который тяжело шагал с серпом в руке. Гримич коснулся плеча возницы, и тот остановил коней.

— Садитесь, Корний Иванович, подвезем.

Старик остановил взгляд на Ступаче, покачал головой:

— Нет, с этим судьей мне не по пути.

— Это ж почему?! — сразу вспыхнул Ступач.

— Раньше у нас судьей был бог, а что будет, если судья станет богом? Езжайте...

Гримич прыснул, Ступач выругался, а кучер насмешливо прикрикнул на лошадей...

Чтобы как-то рассеять неприятное впечатление, Ступач спросил старика:

— А наш первенец комбайн исправно работает у вас?

— Не работает,— невесело ответил Гримич.

— Как это не работает?! Поломали?! — и лицо сразу стало таким, словно он вдоволь нахватался злости.

— Не поломали — в соседнее село перебросили, так как мы. мол, и без него вовремя уберем хлеб.

— А... — привяла злость, и привял неспокойный румянец. Ступач сам себя упрекнул за горячность. Да что поделаешь — характер! А его не выплеснешь, как воду из кружки. «Продукт» за глаза называет его Мусульбас. И что только за этим словом кроется?

Данила Бондаренко застали на косьбе: он как раз косил с косарями жито, и, видно, это доставляло ему немалое удовольствие, хотя белая вышитая сорочка уже дымилась паром на плечах. Ступач долго-долго присматривался к косарю, перебирал тени на лице и мысли в голове. «Кто же он? Кто?» Потом, осторожно наступая на стерню, чтобы не поцарапать хромовых сапог, подошел к нему, глухо поздоровался, бросил подозрительный взгляд на косу и тихо спросил:

— Что, в народники или в хуторянство записался?

— Люблю косить,— грустно улыбнулся Данило и печально поглядел на косу, затем положил ее так, чтобы вошла она под покос, и пошел за молчаливым Ступачом, а тот, жалея обувь, не отрывал глаз от стерни.

Они вышли на полевую дорогу, что терялась в сплетении вьюнка, деревея, пижмы и где по-девичьи доверчиво смотрели на мир голубые глаза цикория. Высоко в небе печально простонал коршун, а над мягким золотом ширококрылых нив неровно, как у чаек, поднимались-опускались крылья косилок, и до самого неба пестро цвели фигуры жниц и вязальщиц, возле них на глазах вырастали аккуратные чубатые полукопны. Это даже Ступачу понравилось — порядок! Хотя председатель и своевольник или, может, что-то и похуже, а в поле порядок... А если и это вражеская маскировка? Имеешь тогда уравнение со многими неизвестными. И даже вздохнул от жалости к себе. Ступач тяжело поднял настороженные зеницы и начал ими сверлить Бондаренко.

— Не смотрите так грозно, а то перепугаюсь,— улыбнулся Данило, хотя на душе защемила тоска: как ему надоели глупые ступачовские подозрения, неумное вмешательство, нотации, нагоняи и диктаты, за которые должны расплачиваться хлебороб и земля; виновных же из этих краснобаев шаблонщиков, кажется, не так часто брали за ушко да на солнышко.

— Неуместные шутки,— сказал Ступач, но прикрыл глаза отяжелевшими веками, посреди которых ровно пролегли черточки еще молодого жирка. — Твоему своеволию, председатель, уже нет предела.

— О каком своеволии суд речет? — Данило шуткой пытается отбиться от Ступача.

— А ты, бедненький, и не знаешь?

— Таки не знаю.

— Ты же не будешь отказываться, что тайком от меня позавчера начал выдавать людям хлеб? Говори!

— Говорю: выдавал позавчера, вчера, выдаю и сегодня.

— И сегодня?! — ужаснулся и вытаращился на Бондаренко Ступач. — Ты, председатель, в полном уме или у тебя большой недород на него?

— Так зато есть урожай в поле.

— Ты, наверное, не знаешь, что делаешь с хлебом?

— Знаю! — твердо ответил Данило. — Укрепляю веру крестьянина в наш общий труд. Уверен, что самое большое преступление — подрывать веру человека.

— Брось эти высокие слова и единоличные потребительские тенденции! — уже молнии взметнулись под ресницами Ступача. — Думаешь, ты самый умный из нас?

— Я пока что не задумывался над этим очень важным для вас вопросом,— начал горячиться и Данило.

— Так вот, своим безрассудством ты не столько укрепляешь веру крестьян своего села, сколько подрываешь авторитет большинства председателей своего района! Понял?

— Это уже что-то новое в теории! — и, как ни горько было ему, Данило засмеялся.

— Он еще и смеется! — Ступач ударил сапогом по кустику цикория, и тот испуганно затрепетал синими огоньками. — А что, глядя на вас, скажут колхозники других сел? Чтобы и им сейчас же выдавали зерно? И начнется там анархия с выполнением плана, как уже тут началась. Вон и ветряк мелет

у тебя! — показал рукой на ту деревянную птицу, которая всегда радует человека, когда машет крыльями. — Сейчас же прекрати выдачу зерна и забей ветряк!

Данилу страшно стало от этих слов, ибо ветряк для него всегда был живым, как человек, а тут — забить гвоздями! Как далеко надо стоять от хлеба насущного, как очерстветь, чтобы такое пришло в голову!

— У нас ветряк никогда не заколачивали гвоздями! Окна заколачивали, а ветряк — нет!

Ступач поморщился:

— Как-то у нас с тобой никогда не получается разговора. Ты думаешь, я меньше переживаю за проведение кампаний?

Данило вздохнул.

— Может, и так, может, за кампании вы больше переживаете, только за кампаниями вы забыли тех, кто проводит их. Еще с зимы вы спрашиваете меня, вывезен ли навоз, отремонтирован ли инвентарь, очищены ли семена, в каком состоянии скот, и никогда не спросите, а в каком же состоянии люди, чем они живут, чем должны жить... Не приходило ли вам в голову, что мы должны прежде всего заботиться о человеке, о его дне сегодняшнем и завтрашнем, о хлебе насущном на столе и радости в душе? Я, например, никогда не ощущал вашей душевности в степи, в селе, может, вы оставляете ее в своем кабинете?

Ступач возмущенно хмыкнул: что же стоит за этими словами — человек или хитромудрая тень его?..

— Душевность — это сантименты, особенно в селе, где у каждого из нутра так и прет мелкий собственник.

— Так о чем же и беспокоится наше государство? Чтобы из вчерашнего мелкого собственника вырос новый хозяин земли — щедрый в деяниях, в красе и душевности человек.

Ступач саркастически взглянул на Данила.

— Сколько романтического тумана накопилось в твоем котелке. Из-за своей крестьянской душевности и разных архаизмов загремишь под гром! Хотел бы я увидеть, как ты тогда заговоришь о спокойствии, обивая пороги разных инстанций. Так вот, пока не поздно, впрягайся в график и тяни его, как черный вол: то есть немедленно сдавай хлеб!

— Вот и вся музыка,— вздохнул Данило.

— О какой еще музыке говоришь?

— О вашей, о вашем бубне, о ваших тревогах одного дня или одной кампании. У сельского хозяйства сотни вопросов, а вы их сводите только к одному. И принижаете этим людей и святой хлеб — гениальное открытие человека.

Под скулами Ступача задвигались два клубочка, но он сдержал себя.

— Заговорил, философ. А я твою философию снова должен бить практикой: немедленно вывози зерно, стремглав гони на ссыпной пункт все машины, всех коней и даже волов.

— Вот там бы пригодились ваши громы!

— На ссыпном пункте? Это с чего бы? — непонимающе пожал плечами.

— Потому что там, как у врат рая, стоят люди в длиннющей очереди перед одними весами. Но самое худшее не это, а то, что наш район вынужден сбрасывать в бурты даже влажное зерно и с болью смотреть, как оно начинает куриться дымом.

— Почему же куриться? — растерялся Ступач.

— Потому что есть такое страшное слово — самонагревание — и оно до тех пор будет пожирать наш труд, гноить хлеб, пока хлебоприемные пункты будут стоять под открытым небом. Подумайте над этим!

— А это уже не наша забота,— махнул рукой Ступач. — Пусть у них болит голова за свое, а у нас за свое. Что я должен доложить о выполнении плана?

— Повторите, что план будет выполнен и перевыполнен, что у людей уже есть черный хлеб и седая паляница.

Ступач хмыкнул:

— Седая паляница! Смотри, чтобы за эту паляницу голова не поседела. Вот закончил ты институт, а так и остался с одними хлеборобскими заботами.

— По-хлеборобски люблю родину.

— Вот тут вся твоя ограниченность как на ладони.

— Это слова не мои, а великого писателя.

Ступач скривился, пренебрежительно махнул рукой:

— Писатели тоже хоть кому забьют баки... Как будет с ветряком?

— Ветряк будет молоть, как и надлежит ему.

— Так, наконец, он же отрывает рабочие руки от жатвы!

— Нет, он дает в руки ту радость, которая так необходима и для жатвы, и для людей, и для политики.

— Даже для политики?! — удивился, но и смягчился Ступач.

— А как же! Не вам говорить, что душа нашего крестьянина еще не освободилась от страха перед природой, от страха за завтрашний день, и потому хлебороб сегодня еще цепко держится за свой клочок огорода. Хорошим общественным хозяйствованием, подходящей оплатой, сердечностью мы должны завтра освободить его от копеечных забот, от страха, должны сделать из него мыслителя, героя, творца. Это сам народ, мечтая о будущем сказал: «И хлеба надо, и неба надо!» Вот об этом, о насущном и высоком, должны теперь думать!

— Вон куда мы залетели! Аж до неба! — улыбнулся Ступач. — Ну, крестьянский философ, может, в чем-то ты и прав, только не знаю, что скажут где-то о твоих художествах. Я категорически против них! Но, зная, что ты слов на ветер не бросаешь, я в одном спокоен — план будет выполнен.

— И перевыполнен. А дождемся сентября, так еще, надеюсь, сдадим какую-нибудь тысячу сверх всякого плана.

— Почему же в сентябре? — недоверчиво встрепенулся Ступач.

— Потому что сегодня после озимых сеем горох и гречиху.

— А мне хотя бы слово сказал! — отразилось недовольство в уголках рта Ступача. — Что ж, это вы хорошо придумали.

— [illegible] хочется думать не об одном дне [illegible], а смотреть немного дальше, не забывать [illegible] жизни человека, о его радостях на земле [illegible], не забывать и о душевности.

— Опять то же самое! Что ты словно дятел долбишь. Не забыл, как у нас о дятле говорят? Днем он долбит и долбит, а ночью стонет, потому что от того долбежа голова болит. Смотри, чтобы и у тебя знал — от душевности распускается народ и требует большего, чем имеет,— уже не сердясь, поучающе говорил Ступач, а про себя решил: из этого анархиста можно и два плана выбить. Обойдется без седой паляницы. Пусть попрыгает-поскачет, а мы будем на виду. Он подал Данилу тяжеловатую руку и пошел к бричке, возле которой стоял угрюмый кучер. Что-то и он имеет против него, верно, и ему надо душевности? Да откуда же ее возьмешь на всех? И это тогда, когда всюду столько врагов? Сказал было как-то об этом Бондаренко, а тот будто с луны свалился: «Побойтесь людей и бога! Неужели мы только и делали, что выращивали врагов?..» Нет, надо все-таки укротить его норов. Своей самостоятельностью он взбунтует немало горячих голов. Недаром просил в райкоме: «Разрешите мне так похозяйствовать, как люди хотят, для эксперимента позвольте, ведь нельзя одному хозяйству заниматься тридцатью культурами — от жита и пшеницы, турецких бобов, мака и до петрушки и пастернака»... Вишь, даже рифму нашел, чтобы откреститься от мака. Так и сядешь маком с таким хозяином, тоже мне, экспериментатор нашелся! Хотя и умная голова, да к какому берегу прибьется или уже прибился этот ум? Теперь нам возле земли не мыслители, а исполнители нужны. Может, в дальнейшем и мыслители потребуются, но когда это будет...

Ступач обернулся, поглядел на ветряк, который весело открещивался от него, на упрямую фигуру Данила, что спешил к ветряку.

«Этот не в ветряк, а в тебя забьет гвозди производа, а еще о душевности говорит. Будешь иметь, Прокоп, душевность, когда за розданное зерно кто-то начнет снимать с тебя стружку». Страх растопыренной пятерней вцепился в самую душу Ступача, и он теперь смотрел на ветряк и на горячее марево, дрожавшее за ним, как на своих врагов. «Ничего, вот как накинем селу удвоенный план, так ветряк и опустит крылья».

— Поедем,— подошел к кучеру, поставил ногу на подножку и носовым платком начал вытирать пыль с сапога.

— Можно и поехать. Ведь я вас, Прокоп Иванович, сегодня последний раз везу.

— Как это — последний?

— Теперь уродило, люди хорошо обжинаются, вот и я вернусь к житу, к пшенице, к земле, потому как землю сам бог пахал.

— Это где же ты видел бога за плугом? — глумливо спросил Ступач.

— Не видел, а слыхал в песнях.

— Корчевать эти песни, этот архаизм и эту этнографию, надо! Корчевать!

— Зачем же корчевать, когда там и об урожае, который нам уродит земля, так поется: из колосочка будет горсточка, а из снопика — мера. И в старину, видать, об агротехнике думали.

Ступач даже присвистнул от такой неожиданной «философии», а потом сокрушенно покачал головой:

— Темная ты ночь, темное село.

Кучер наершился:

— Хоть и темный я, а больше вас возить не буду...

Выезжая на шлях, Ступач встретился с военкомом Зиновием Сагайдаком, который верхом ехал по укороченным теням лип.

— К своему любимчику, что ближе к житу-пшенице? — с насмешкой спросил Ступач.

— Да, вы юридический ясновидец,— не остался в долгу Сагайдак. — В нашем районе один живет ближе к житу-пшенице, а другой — к пирогу.

Ступач сразу скис:

— Это шутка или намек?

— Понимайте как хотите, — невинно смотрит на него Сагайдак. — Вольному — воля, а спасенному — рай. Как там Бондаренко?

— В добром здравии и в добром настроении. Но сегодня придется испортить ему настроение.

— Это ж почему?

Кого-то копируя, Ступач однообразно прогнусавил:

— Есть принципиальное мнение содрать с него удвоенный план. Он его вытянет, будет кряхтеть, но вытянет.

— Шутите? — насторожился Сагайдак.

— Правду говорю.

Военком нахмурился, соскочил с коня, кивнул головой, и Ступач неохотно слез с брички. Взвинченные, они подошли к липам, которые стояли в золотой дреме солнца, цвета и пчелиного звона.

— Прокоп Иванович, вы не первый год вертитесь возле сельского хозяйства, знаете, какие у нас большие трудности с селом, с хлебом, с трудоднем, с крестьянской долей. Знаете и то, как мы радуемся, когда тот или иной колхоз честно, без копеечных хитростей, выбивается в передовые. Почему же вы хотите то хозяйство, что уже сегодня тянет бóльшую ношу, чем другие, подорвать и сделать слабосильным?

— А на крестьянство вообще надо жать,— холодно ответил Ступач. — Не бойтесь согнуть его перед алтарем индустриализации.

Смуглое красивое лицо Сагайдака вспыхнуло румянцем.

— Не поднимайте руку на жизнь! А вообще вы левак и невежда. Вас и на пушечный выстрел нельзя подпускать к селу, иначе мы превратимся в нищих.

У Ступача отвисла нижняя челюсть.

— Вы... вы крестьянский идеолог! — выкрикнул он.

— Не печуйте. Идеология у нас одна, а вот головы разные! Смените навар в своей. — И Сагайдак быстро пошел к коню, вскочил в седло и помчался не к Бондаренко, а в райком.

Ступач сразу догадался, к кому поехал военком, и бросился к бричке.

— Перегоняй его! — крикнул вознице.

А тот только одним усом ухмыльнулся:

— Да что с вами? Где уж клешне рака состязаться с конским копытом...

«Это он так сказал или на что-то еще намекает? Ох, это село...»

За водоворотом мыслей, что так и распирали голову, чуть не прозевал Михайла Чигирина, который пытался незаметно проскочить мимо него.

— А куда это так бочком, даже не поздоровавшись, собрался прошмыгнуть хваленый председатель?

Чигирин остановил живописных, с туманцем и серебром, коней, а на лицо натянул маску преувеличенной покорности. Тоже продукт!

— Я же вам махнул рукой, а вы не повели и ногой. Если меня обходят, то и я объеду.

Ступач подозрительно взглянул на председателя.

— Когда язык гуляет, то нижеспинная часть отвечает.

Чигирин охотно закивал бородой, в которую уже забиралась осень.

— Конечно, конечно, когда нет в языке ума, то его ищут ниже спины,— и краешком ока посмотрел на Ступача.

«Какие только черти не носятся в этих глазах! Если бы не твое бывшее партизанство, ты бы так не разговаривал со мною».

— Почему же это председатель не на жатве, а дорогу меряет?

Чигирин охотно ответил:

— Да вот ездил в район выбивать запчасти.

— В дни жатвы?! — даже залихорадило Ступача.

— Так это ж не лучшая ли пора: все на жатве, никто не обивает пороги инстанций, а ты ловишь момент,— снова Чигирин говорит так, что уже и Ступач не понимает — это насмешка на языке или недород в голове.

— Какое же вы имеете право вырывать запчасти, когда надо жать, молотить и вывозить хлеб?! Это же государственное преступление!

Вот теперь маска покорности сходит со смуглого лица Чигирина, и оно становится упрямым.

— Почему это вы сразу ухватились за преступление?

— А кто же из председателей позволит себе такую роскошь, чтобы отлучаться теперь?

— Мало кто,— согласился Чигирин. — И я, став председателем, в четыре утра бежал на поле, а в двенадцать ночи падал на постель: все надо было проверить — и как закладывают корм скоту, и как доят коров, и как пашут-боронуют, и как стригут овец, и как сеют петрушку. За все хватался — на все не хватало времени, даже в газеты редко заглядывал. Тогда и крику у меня было много, а толку меньше. А теперь, когда организовал людей, поверив им, мы так работаем, что и в театр есть время поехать. Поезжайте хоть раз с нами. Билет бесплатный! — И, попрощавшись, тронул коней, а те, играя, понесли бричку по теням липового шляха...

XIII

В луговой криничке, над которой верба держит молодой венец, купаются звезды, а месяц еще не залезает сюда так, как обросший сединой дед забредает с саком в ставок, что расположился по соседству с криничкой. И хотя сравнение месяца с дедом слишком вольное, Данило усмехается своим мыслям: «И взбредет же такое в голову!» Он подходит к окаймленному камышом, кугой и вербами ставочку и вправду видит, как из камыша полной луной выплывает седая голова деда Ярослава. Дед, кажется, не идет, а плывет по зелени, держа на плече плохонький растянутый сак.

В далеком поле месяц рассеивает серебро и сон, отовсюду выходят копны и копенки. Старик поворачивает голову на восток и говорит, ни к кому не обращаясь:

— Вот и казацкое солнце взошло, а потом роса начнет выпадать. Какой же ты хороший, белый свет, да надо будет покинуть тебя. — И нет сейчас на лице деда и тени горечи, а есть только одно спокойствие и грусть.

Данило подходит к ставку по осоке, что попискивает под ногами, пережидает, пока старик поговорит сам с собою, присматривается к камышинке, которой коснулась рыба, прислушивается к лепету ручья, что никак не уляжется на ночь, и от всего этого с него сходят накопившиеся за день усталость и зной.

— Дед, а что-нибудь стóящее есть в этой воде?

— А сейчас увидим, есть что-нибудь тут или, может, девчата поразгоняли все живое по камышам. Вечером тут купаются девчата с поля и звезды с неба, а ночью — одни русалки. — Старик поднимает выбеленную голову, хорошенько приглядывается к небу: что оно принесет завтра? И что-то родное, привычное и вечное есть в этом чтении небесного письма.

— Так как, к погоде или к ненастью? — подсмеивается Данило.

— К погоде! — убежденно и даже торжественно говорит старик и, весь в белом, выходит из камышей. — Хорошее в этом году лето, и зерном, и погодой хорошее. Жаль только, что в мои косточки забирается осень.

— Так зачем же вам бродить по воде?

Рыбак вздохнул:

— Если я в мои лета стану думать только о старости, то это уже не жизнь, а синяя тоска. Будешь купаться?

— Подожду, пока не поймаете свою золотую рыбку,— щурится Данило.

— Золотую уже не поймаю — не те года. Вот карася или линька наверняка добуду! А когда же мы с тобой поймаем полупудового карпа?

[illegible] Такого надо подождать. [illegible] есть.

[illegible], когда вода пахнет рыбой, а не [illegible] осторожно погружает сак в ставок, [illegible] ближе к берегу, нажимает ладонью на дуж[illegible]й с топкого дна начинает распугивать рыбу, [illegible] проворно вынимает свою снасть, выходит с [illegible] на берег и вытряхивает все, что есть в ней, на [illegible]. — Теперь смотри!

В роголистнике блеснули, часто затрепыхались [illegible] карася величиной с ладонь.

— Не густо, но и не пусто, — говорит старик. — А было же когда-то здесь и воды, и рыбы! Ставочки [illegible] за другим, как монисто, блестели. Да поменьшало зверя в лесу, птицы в небе, рыбы в воде, а пче[illegible] под ногой уже и совсем не найдешь.

— Вот обеспечим людей хлебом, тогда и за пчел да ставки возьмемся, не все сразу, — рассудительно отвечает Данило.

— Пока у бабы спекутся кныши[1], у деда не станет души. Вот за этим ставочком и другими ставочками когда-то я присматривал. Тогда чирки и утки к моим ногам [illegible], а сейчас, как очумелые, летят от человека. [illegible] ко мне только во снах подлинвают. И почему мы такими [illegible]ными стали к птице или к тому же зайцу? [illegible] о нем сказки рассказываем, а сами истребляем его [illegible]чиста. Завтра пойдешь ко мне на рыбку?

— Вряд ли, дед. Жатва!

— Тогда я тебе на поле принесу. Все у вас [illegible] времени. А вот у нас было и времени больше и нервов меньше. Иной раз смотришь: такое молодое, такое еще зеленое, а у него и это болит, и то болит, там хромает, а там жмет, еще и нервы треплет себе и другому. Мы что-то об этих нервах и не слыхивали.

— Вы так говорите, дед, будто у вас ничего не болело.

Старик задумался, что-то вспоминая.

— Да, болело, сыну, однажды и у меня. Поперек живота схватило.

— И от чего та боль взялась?

— Барский жеребец ударил копытом. А у него ж, проклятого, копыто было как ведерко.

Данило рассмеялся:

— Дед, это вы правду говорите или выдумываете?

— Сущую правду. Когда-то был я здоров, как гром, а вот теперь осень забирается в кости, в глаза — уже и нитку не вдену в иголку. Года, года... — Да и снова медленно, степенно, во всем полотняном, побрел в воду, нагнулся над саком, что-то прошептал ему, или камышу, или рыбе...

Мягкой луговой тропинкой Данило вышел на степную дорогу и направился не в село, а к ветряку, который так хорошо вписывался в окружающий мир. Там, под грохот жерновов, поскрипыванье снасти и [illegible] шорох муки, и захватил его короткий степной [illegible]. Есть же блаженство на свете! Только надо понимать его. А разве не блаженство, когда между крыльями ветряка поднимается месяц и снова, пробиваясь из темноты, таинственно оживает, дымится степь?

По висячим ступенькам, которые скрипом пересчитывают каждый шаг, Данило поднимается на маленькое крылечко под двухскатной крышей и заходит в ветряк. От деревянного короба оборачивается старый, согнувшийся мельник, чуб его, взлохмаченные шмели бровей, усы и даже морщины на лице присыпаны душистыми пылинками свежей муки.

— Где же, Микола Константинович, люди?

— А люди отдыхают себе, потому что коротка ночка-петровочка, — всеми морщинками усмехается мельник, и с них осыпается мука.

— И вы сами засыпаете, сами и мелете?

— А как же! Это мое время — жатва! — Старик теплым взглядом обвел мешки, что, словно ночлежники, улеглись вокруг мучника. — Заночуешь у меня?

— Заночую, если не наскучил.

— И не говори такое, — погрустнел мельник. — Сыновья мои разъехались по морям-океанам, и им уже не до старого ветряка, не до старого батька. Даже письма ленятся писать, все бьют телеграммы. А я почему-то этих телеграмм и до сих пор боюсь, кто [illegible], но они могут принести. Ты же слыхал, что мой [illegible]ький уже пароход водит?

— Слыхал, Микола Константинович.

— На том пароходе, пишет, может уместиться все наше село, даже с хуторами и поселками. Просил приехать к нему на море, да я никак не могу оставить свой ветряк: врос в него телом и душой, да и конец. У меня есть дыня-кочанка, может, попробуешь? Медом пахнет. Что значит летушко! — Старик подошел к ящику для зерна, взял оттуда дыню, полоснул по ней ножом, и запах меда сразу перебил запах муки. — Летушко! — снова повторил мельник, поставил вверх дном ящик, положил на него дыню. — Это не то что зимняя луковица. — Потом выгреб муку из мучника, завязал морским узлом мешок и похлопал его, как любовно похлопывают рукою детей.

Так и живет человек на свете возле крыльев — в работе, в любви к хлебу насущному, к человеку, к слову человечному, и есть что-то святое в его руках, когда он по ступенькам поднимается к коробу и засыпает зерно или когда прислушивается к теплому шепоту муки да лёту крыльев.

Возле ветряка загромыхали колеса, потом послышался веселый девичий смех. Мельник повернул седую от старости и муки голову к раскрытой двери:

— Еще кто-то молоть подъехал. И ночи не доспал.

Вскоре на пороге, пересмеиваясь, появились Ярина и Мирослава.

— Добрый вечер, дедусь! Вы прямо как с кино сошли! Как у вас дела? Не простудились на всех сквозняках? — сразу же затараторила Ярина.

— Не знаю, кто мотается на всех сквозняках, — ласково смотрит старость на молодость.

— Смелете мне?

— Если на свадебный каравай, то не только смелю, но и спеклюю.

---

[1] Кныши — калачи.

— О, такое вы, дедусь, скажете! Мне надо на галушки смолоть.

— А когда, Яринка, на каравай? Дуришь-дуришь хлопцам головы, а свадьбу все откладываешь.

Ярина зарделась, потом лукаво повела бровями, поднялась на цыпочки, что-то прошептала старику на ухо, и оба расхохотались. А Мирослава, удивляясь, заметила Данила:

— И вы тут?

— И я тут, товарищ агроном.

— Данило Максимович очень любит ветряк и его хозяина,— защебетала Яринка, уже неся зерно к коробу над жерновами. — Они, отчуравшись на все лето от своей хаты, даже ночуют здесь: бросят на топчан сена и не унывают.

— В самом деле? — не поверила Мирослава. Она, покачиваясь, стояла в дверях ветряка и собирала на волосы еще ранние лунные лучи. — Как же в таком грохоте можно уснуть?

Данило дружелюбно поглядел на девушку:

— Этот шум я полюбил с детства. Так славно было, еще с мамой, прийти на ветряк, обшарить все его закутки, прижаться ухом к королю или стать возле самих крыльев, чтобы они поднимали твой чуб вверх, а мысли до неба.

Улыбка легла на девичьи уста.

— Вы так это сказали, что и мне хочется прижаться к королю. — Она руками и станом припала к этому диво-дереву, которое держало на себе весь ветряк.

— Как оно?

— Гудит, как беспокойная судьба.

— А нам время не дало тихой судьбы.

Мирослава удивленно подняла ресницы, а ухом еще крепче прижалась к королю.

— Гудит! Будто сердится на меня.

— На добрых людей никогда не сердится душа ветряка,— отозвался сверху Микола Константинович. — Это я знаю, потому что свековал возле крыльев.

— Может, пойдем к крыльям, возле которых шарят ветры?

Мирослава вопросительно посмотрела на Данила: не подсмеивается ли над ее доверчивостью?

— Пойдем!

Девушка осторожно, словно в холодную воду, спускалась по скрипучим ступенькам, а месяц и тени играли на ее лице, на волосах и легоньком платье, которое успело пропитаться духмяными запахами ветряка. Данилу показалось, что он уже давно-давно знает Мирославу, ее лунные волосы, ее легкую девичью походку, таящую в себе что-то неразгаданное, женственное. Когда подошли к крыльям, ветер снизу подхватил девичьи волосы, и они поднялись золотым снопом вверх.

— Ой! — сначала испугалась Мирослава, схватилась обеими руками за волосы, чтобы не унесло их куда-то, потом засмеялась и отступила от ветряка, который наматывал и наматывал на свои крылья лунную ткань.

— Неужели, Данило Максимович, можно век прожить возле крыльев ветряка?

— Было бы счастьем: прожить век возле крыльев!

Мирослава пристально взглянула на Данила:

— Это уже литература?

— Нет, убеждения. Разве плохо свековал наш мельник? Без суетни, без шума, без житейских дрязг. Он всю жизнь старается дать людям теплый, как душа, хлеб, и все чувствуют к старику только любовь. И когда вы где-нибудь прочтете о библейских пророках, то вспомните доброго седого мельника возле поседевших крыльев.

— Может, и так. Но уже скоро не будет ветряков и таких, похожих на пророков, мельников.

— Тогда, наверное, более грустными станут наши степи,— задумался Данило. — Не везде должен брать верх практицизм, особенно тот, который выматывает из нас душевность. И все равно на каждой работе мы должны думать о крыльях, иначе серенько, осенним туманцем, пройдет наша жизнь. Как тебе? Не скучно у нас?

— Возле чернозема да возле зерна не заскучаешь,— искренне сказала Мирослава и снова ухватилась руками за свой сноп, которому не было покоя от крыльев.

Данило усмехнулся:

— Много же у тебя кудели.

— У моей матери было еще больше,— и грустные воспоминания сковали глаза Мирославы. — Вы тоже без матери?

— У меня только вишня на кладбище вместо матери. — И Данило повернул голову к невидимому кладбищу. — Откуда бы и когда бы ни приходил я, она всегда открывала мне двери. А теперь некому их открывать.

Они еще молча постояли возле ветряка, что гудел внутри, стараясь дать людям доброго хлеба, а снаружи рвался и рвался вверх, наматывая на крылья ветер и ночь. Неожиданно возле них низко прогудел шмель и упал в клевер, росший возле ветряка.

— Видишь, какой работящий! — Данило опустил глаза к клеверу.

— А вы слыхали, что шмели даже в заморозки, когда пчелы уже давно отдыхают, собирают мед?

— Нет, об этом не слыхал,— и потянулся к девичьим глазам, к ее снопу волос, к тоненькой фигурке, которая и теперь, возле неспокойного шума крыльев, чуть-чуть покачивалась, и было в том покачивании что-то пленительное и манящее.

— Шмелей надо беречь,— сказала крыльям, что так и норовили поиграть девичьими волосами.

«И тебя, русалка, тоже надо беречь»,— подумал Данило немного с сочувствием, немного с доброй насмешкой: ему вспомнился тот ставочек, где вечером купаются девчата и звезды, а ночью — одни русалки.

А ночь и дальше брела убаюканной степью, сверху осыпала ее росой, а снизу трещала стотысячным стрекотаньем кузнечиков. За клевером белым половодьем стояла гречиха, над ней во вдовьем одиночестве грустила груша-дичок, а возле нее перепелка ос-

…голосом сзывала своих деток, которых ра… на сжатом поле.

Такова жизнь: то мать растеряет детей, то дети …ются без матерей. И все равно кто-то нам дол…жен открывать двери. Но кто? Не эта ли рука, что под крыльями придерживает волосы? Что же в тебе, девушка? Доверие наполовину с тревогой и влаж…ные глаза, пересохшие губы, что боятся любви, что жаждут любви, и неуемная страсть к своему делу... А больше всего ей хочется сеять. Вот сейчас взялась за люцерну. Уже и подсчитала ему, сколько пожнив…ный укос даст им травы. Такая, верно, и на полюсе начнет что-нибудь сеять или сажать.

Теплая волна подкатилась к сердцу Данила, и хорошо стало ему с этим старым ветряком, с мельником в нем, с людьми, что вечером приезжают сюда, а днем — на жатве, и с этим златокосым комочком крестьянской судьбы, Мирославой, у которой руки, когда она хватается за волосы, становятся похожими на голубей. Куда же они залетят, эти голуби, и кто их будет лелеять или обижать?

— А знаете, славно! — вдруг отозвалась Мирослава.

— Что славно?

— Эта степь, этот ветряк, эти крылья, что так просятся в музыку, в душу! Почему я раньше не понимала их?

Из ветряка вышла Ярина, на плечах у нее лежал мешок, на груди — коса.

— Мне уже пора домой,— сказала Мирослава.

Данило подошел к Ярине, снял с ее плеч мешок.

— Надорвешься. Не можешь подводы подождать?

— Так я хочу еще сегодня наварить вам галушек,— слукавила девушка.

— И не поленишься варить ночью?

— Чары всегда варят ночью,— взглянула одним глазом на Данила, другим — на Мирославу.

Что ты скажешь такой беззаботной? Данило помолчал, еще поглядел на ветряк, который наматывал на крылья кудель месяца и время. Что только оно говорит нам?..

Вдруг где-то на самых дальних дорогах, что спускались к старому лесу, красиво взметнулась песня парней:

Ой у полі криниченька,
Там холодна водиченька,
Там холодна ще й погожа,
Там дівчина так, як рожа.

Ярина остановилась посреди дороги, положила руку на плечо Мирославы:

— Это наши Роман и Василь песню выводят. Едут на конях да и поют всем степям и бродам. Такие они удалые у нас!

— Как славно летит песня над степью,— заслушалась Мирослава.

А Ярина приложила ладони ко рту и изо всех сил крикнула в степь:

— Роман! Василь! Ау!

Песня оборвалась, вмиг стрельнули конские копыта, и вскоре из полуночного марева вылетели два всадника. Данило, Ярина и Мирослава сошли с дороги, а всадники, долетев до них, вздыбили коней и засмеялись.

— Опришки! Ветрогоны! — прикрикнула на них сестра.

— Яриночка, не сердись, а то сердитые быстро стареют. Добрый вечер, Данило Максимович! А чья это девушка? — делают вид, что не узнали Мирославы. — Не из нашей ли песни вышла: такая пригожая, словно цветок?

— Заболтали, зашумели,— гневается или делает вид, что гневается на братьев, Ярина. — Вот лучше муку возьмите.

— Да мы и вас можем взять на коней,— Роман, пригнувшись, подхватил Ярину, та завизжала и вырвалась из рук брата.

— Шальной! Недаром вас даже мама так называет.

— Это же любя, Яринка. Мама и тата обзывает то усачом, то ошалелым, а сама и до сих пор сохнет по нему. Правда же, девушка милая? — горбоносые красавцы тряхнули буйными чубами и поглядели на Мирославу.

— Опришки! — улыбнулась им девушка. — Спойте лучше.

— А какую? — соскочили хлопцы с коней. — У нас больше всего любят про любовь. Вы вот эту знаете? — Роман прижался плечом к плечу брата и задушевным, сердечным голосом спросил у далей:

Червоная калинонька,
А біле деревце,
Чом не ходиш, не говориш,
Моє любе серце?..

И притихло все в степи перед чарами голоса, перед болью чьего-то сердца.

Когда Роман оборвал песню, Ярина деланно вздохнула, глянула на брата и прошептала одно слово:

— Артист.

— Замолчи, болтливая! — Роман грозно вытаращился на сестру, а Василь усмехнулся, поднял бровь, точно так, как отец.

Мирослава догадалась, что Яринка намекнула на какую-то комическую историю, одну из тех, которые, кажется, никогда не переводились в жилище Гримичей.

— Что это вы скрываете, Роман?

— Эге, так он и скажет,— прыснула Ярина. — Кому хочется свою персону выставлять на посмешище.

— Так тогда же Роман еще ребенком был,— примирительно сказал Василь. — Расскажи, брат.

— Наверное, придется,— смягчился парень и глянул на сестру. — А то если не расскажешь сам, так это зельечко приврет, словно цыганка на ярмарке...

— Эге ж, эге ж,— будто согласилась Ярина и подперла ладонью щеку. — Говори, уж если язык не присох к зубам.

— Так вот, лет восемь тому назад наш драмкружок ставил агитку: «Урожай при царях и при власти рабочих и крестьян». Чтобы всем было ясно, как родилось при царях и как родится теперь, каждую культуру мужского рода обозначали мальчик и па-

речь, а женского рода — девочка и девушка, мелюзгу втискивали в мешочек, взрослых — в мешки, которые завязывали под самым горлом, а в чубы и косы всовывали колосья ржи, пшеницы и других злаков. На мою долю выпало играть роль дореволюционного ячменя. Завязали меня в мешочек, поставили рядом с дебелым Владимиром Клименко и приказали молчать до конца спектакля. Стою я, стоят завязанные дореволюционные и теперешние культуры, а руководитель драмкружка тычет в нас палочкой и какие надо цифры называет. Надоело мне стоять под этими цифрами и все терпеть, как бы не рассмеяться: ведь с переднего ряда то мать любуется мною, то отец усом подмаргивает, то школяры тычут пальцами в тебя, словно ты с луны свалился. Переминаюсь я с ноги на ногу, вдруг вижу: Клименко задремал в своем мешке. От этого дива я и засмеялся тихонько, а тут, как на грех, именно в это мгновение замолчал руководитель, и все услыхали, как я оконфузился. Вот и пошел гулять по рядам смех. А как уж отец с матерью хохотали, то и не спрашивайте. После спектакля собрались мы в хате, сели за стол, а тато так дружелюбно смотрит на меня и говорит:

«Не ожидал, сыну, что у тебя такие способности к игре на сцене».

«Какие там способности,— отнекиваюсь я, а в душе что-то и ёкнуло. — Мне же и слова не дали сказать».

«Что там слова, если ты стоял лучше всех и в самом деле был похож на ячмень».

«Да кто же меня видел в том мешке?» — верю и не верю я.

«Все видели! Вот пусть наша мама скажет».

«А как же, а как же!» — ласково отзывается от печки мама, и только Ярина кривит и зажимает рукой рот.

«А как уж ты засмеялся, так всех развеселил,— продолжает отец,— сказано — талант!»

«Ой тату...» — еще отнекиваюсь, а в голове на радостях мотыльки кружатся.

«Вот сам подумай: кто-нибудь хоть раз засмеялся, когда твой руководитель все слова говорил и во всех тыкал палочкой? Тебе же достаточно было прыснуть — и всех развеселил. А если бы еще запел? У тебя же вон какой голос! Так что, сыну, прямая тебе дорога в артисты».

И тем словом отец доконал меня, ибо нам всем мамина колыбель и степь голоса набаюкали.

После вечера тато со мной пошел спать на сено, и там, наедине, я отважился спросить:

«А что надо, чтобы стать артистом?»

Отец, не долго думая, ответил:

«Поехать в Киев к нашему дядьке Миколе, который в театре играет комедии, он тебя и определит в артисты».

«Как же, тато, доехать до того Киева?»

«Вот чего не знаю, того не знаю, да у нас сейчас и денег не густо»,— сказал тато и погрузился в сон.

Мне же из-за этого театра не спалось до третьих петухов. Через несколько дней решил я зайцем проехать к дядьке Миколе. Только в Виннице на станции отец перехватил меня. А эта языкастая, — погрозил взглядом Ярнике,— и до сих пор дразнит меня артистом...

— И очень ругал вас тато? — улыбнулась Мирослава.

— Да нет. Обнял меня и говорит: «Разве ж можно, сыну, ехать босиком в артисты? Да и Киев не село, там ноги по камням протрешь. Как разживемся тебе на хромовые со скрипом сапоги, чтобы все даже по сапогам слышали тебя, тогда что-нибудь придумаем».

— Такой уж у нас батько добрый, что и в мире не найдешь,— с чувством сказала Ярина. — Даже меня никогда не ругал.

— А жаль,— уколол ее Роман. — Вот по ком березовый веник плачет.

Близнецы вскочили на коней, поехали, и вскоре над степью зазвучали два голоса, изливая тоску по тем двум голубям, «що пили воду біля млина, біля броду».

— Чем не красавцы! — неожиданно вырвалось у Ярины, которая провожала взглядом братьев.

— Как же хорошо на свете! — и Мирослава прижалась к Ярине.

XIV

Земля отдала людям, что могла отдать, и то ли из жалости к себе, то ли из жалости к людям заплакала осенней слезой и неспокойно погрузилась в зимний сон. Ох, как люто, на бешеных круговертях ветров, наступал этот сон. Сначала ветровеям и метелице хотелось приподнять, сорвать с насиженных мест перепуганные хаты, разметать золото скирд и ударить в набат певучей медью колоколов. А потом они утихомирились, поскатывались, притаились в яругах, и теперь люди бредут по колено в снегу, что рассыпает по вечерам крошки серебра и покачивает голубые дымы и васильковое цветение.

Как хорошо сейчас вокруг! Нарядные, в белых свитках, хаты притихли, словно девчата перед свадебным танцем. Вот ударит бубен луны, хлестнет смычком ветерок, и они поведут свой хоровод зачарованными долинками, левадами, садами — все выше да выше — и выведут его аж на тот шлях, по которому минувший век проскрипел чумацкими мажарами, а век нынешний, как молниями, блеснул казацкими саблями Котовского и Примакова.

А что теперь делает червонный казак Терентий Иванович Шульга? И Данило, вспомнив недавнюю бывальщину, невольно остановился у придорожной вербы, погладил рукой обмерзший ствол. А тот сверху стряхнул на него дым изморози, а снизу отозвался гудением — это ветерок проснулся в дупле и снова задремал, как дитя. А вон кто-то между вербами виднеется, поскрипывает чеботками и роняет на снег обрывки песни. Чья ж это, такая поздняя?

И долгое ожидание, надежда или предчувствие отозвалось в нем, и откуда-то, то ли из изморози, то ли из ночи, затрепетали те ресницы, за которыми таился синий вечер. В дупле снова шелохнулся ветер-

[illegible] утихла песня. Где же та девушка, [illegible] будто шла навстречу? Данило пошел дальше [illegible] дороге, да на ней уже не было ни девичьей фигу-[illegible], ни песни. Вот так оно и бывает на твоем пути...

И вдруг внизу, на крохотной левадке, что подбе-[illegible] к самой дороге, он услыхал характерное ши-[illegible]пение, взглянул и не поверил своим глазам: на на-катанной полоске льда, словно полыхала холодным сиянием, одиноко в кожушке нараспашку каталась знакомая фигурка. Вот она, пошатнувшись, чуть было не упала, выпрямилась почти у самой земли, засмея-лась и, изгибаясь тонким станом и играя разведенными руками, легко заскользила по ледяной дорожке, извлекая из нее шуршание и нежный посвист; за плечами девушки покачивался залитый лунным светом сноп пшеничных волос, который так напоминал ему запахи прошлого лета.

Данило, прижавшись к сгорбленной вербе, с восхищением следил за девушкой: ишь что выделывает, будто маленькая. А он-то думал, что она не по-девичьи серьезна: то ли от институтской науки, то ли óтроду. Не раз пытался объясниться с ней, да девушка в такие минуты сразу становилась будто натянутая струна и пугливо сторонилась его. А когда он хотел проводить ее после праздника урожая, то увидел, как вдруг на ее лицо набежала тень, она замкнулась, а на пересохших, сжатых губах ее прочитал: «Бессовестный». Это тогда ошеломило его: отчего она такая? Верно, первая любовь или увлечение обожгло ее, и потому избегает любого взгляда, любой привязанности. А вот тут, на безлюдье, в зимнем сне, на какое-то мгновение она стала сама собой.

Вот девушка вылетела со льда на снег, ойкнула, упала, лежа оправила юбчонку, засмеялась, потом вскочила на ноги и начала весело отряхивать одежду и волосы. Сколько же в ней детской и девичьей пленительности! Вот тебе и строгий товарищ агроном, который все почему-то придирался к нему и даже бросался такими словами, как «хуторянство», «консерватизм», «топтание агромысли»! А какие мысли теперь играют под этим пшеничным снопом, что так и искрится под луной? И войдет он в чье-то жилище солнечным утром, а фиалковые очи засветятся добрым доверием... Данило ловит себя на том, что будет жалеть, если это синеокое утро минует его душу, его хату. Что это?.. Зимняя сказка... или судьба? И так славно вспомнился тот вечер возле ветряка и те крылья, которые поднимали вверх ее волосы. Чем они пахнут теперь? Тогда от них шли запахи ветряка и грусть маттиолы. А как бы он хотел, чтобы от них веяло чернобривцами его заброшенного двора, чернобривцами его матери, которую он встречает только в воспоминаниях и снах.

Данило, держась за вербу, осторожно по ее голубоватой тени спускается с дороги на левадку, а Мирослава снова шуршит чеботками по ледяной дорожке, собирая и стряхивая со своего пшеничного снопа лунные чары. Вот ей не только кататься, но и танцевать вздумалось. Напевая «Метелицу», она закружилась на снегу, а потом по-мальчишески, на подковках, вылетела на лед и снова закружилась, раскачивая колоколом юбчонку.

— И что это наш товарищ агроном вытворяет ночью?

— Ой, мама! Ой! — испуганно зазвенел голос девушки, она оборвала танец, обернулась к нему, и стыдливость окрасила румянцем ее лицо.

— Так что ты вытворяешь, девушка? — Данило подходит к ней, а она закрывает лицо руками и вздыхает. — Ты не молчи мне, а что-нибудь отвечай, если старшие спрашивают. Не протерла на льду чеботки?

— Пока не протерла,— наконец выпускает из-под рук слово.

Данило осторожно кладет свои ладони на ее, отводит их от лица и, пораженный, застывает: теперь не смущение, не стыдливость, а одно лукавство засветилось бесенятами в ее глазах. И пропало. И откуда оно? А лукавство снова вернулось к ней, еще и зазвучало насмешкой:

— А вы, товарищ председатель, не хотите покататься под луной? Это так славно...

— И когда падаешь, тоже славно?

— Тоже хорошо, потому что тогда искры и звезды кружатся в глазах.

— Ты уже докружилась до того, что и руки окоченели. Где твои рукавички?

— Рукавички?.. В дороге,— ответила неуверенно и почему-то посмотрела на шлях.

Он снял свои:

— Может, эти согреют?

Мирослава прыснула.

— В такую рукавицу ягненок влезет. Кто это вам связал их?

— Дед Гримич. Он все на вырост делает. — Неумело начал надевать ей свои рукавицы, и удивительно — девушка не упиралась, а притихла, только дрожь прошла по ее телу.

— Ты же совсем замерзла.

— А для чего тогда зима?

— Да уж не для того, чтобы после катания кашлять на печке. Сейчас же пойдем ко мне, хоть чаем тебя напою.

— Вы даже чай умеете готовить? — снова с лукавством смерила его взглядом.

Данило удивленно повел бровями:

— Где ты вместо слов шершней нахваталась? Или это только для меня?

— Ой, нет,— качнула Мирослава головой и своим снопом, подняла руки и усмехнулась рукавицам. — Торчат, как кувшины на кольях.

— Так пошли.

— А если кто-нибудь увидит? — вдруг вся игра слетела с девичьего лица, и теперь на нем отразились растерянность и беспокойство.

— Если кто-нибудь и увидит, то только позавидует мне,— вырвалось у него. — Хоть на мою хату посмотришь. Она у меня весь год чернобривцами пахнет.

— Это... память любви? — неожиданно спросила Мирослава.

— Память любви к матери. Как рученьки? Ото-[illegible]?

— Еще нет.

— Пошли?

— Мне боязно,— доверчиво взглянула, встревожила и порадовала его.

— Почему же тебе боязно?

— Это вам лучше знать. Так же нельзя.

— Почему нельзя? Ты ведь не первый день знаешь меня.

— Лучше пойдем к татарскому броду, к Гримичам.

— Нет, ко мне. Я не хочу завтра гнать коней за врачом.

И девушка обожгла его:

— Так уж коней жалко?

— И тебя немного,— он положил руки на девичьи плечи, повернул ее к луне. — Вон там и стоит моя хата, а ворота возле нее жалобно стонут чайкой.

Мирослава из-за плеча пристально взглянула на него.

— А чья-нибудь девичья доля из-за вас не стонала чайкой.

Он понял ее опасения.

— Такого, девушка, не было. И если есть у тебя ко мне доверие, не называй на «вы»,— он взял ее присмиревшую руку, и они с левады повернули на улочку, где плетеные тыны и вербы-подростки возле них вели к полузабытому жилью. Шел и любовался девушкой, снопом волос, походкой легкой и красивой. Откуда же ты взялась? С какого поля, из какой песни? И казалось, что у него уже был такой вечер надежд и притихшая от испуга девушка возле него, которая не знает, за что держаться рукой — за нежные, в изморози, вербы или за сердце.

Вот и его ворота. Мирослава, опережая Данила, открыла их, и они действительно застонали чайкой.

— Как в сказке,— удивилась и чему-то обрадовалась девушка.

Подойдя к окну, на котором комочками дремали лунные блики, навевая сон, Данило постучал.

— У вас кто-нибудь живет? — испуг пробежал по лицу Мирославы.

— Нет.

— А зачем же вы стучите?

— Вспоминаю свою маму. Она всегда на стук открывала мне двери. А теперь некому.

— И это тяжело, Данило? — сама не заметила, как назвала его по имени.

— Тяжело, Мирослава. А ключ у меня всегда лежит на завалинке под вербовой дощечкой, под той, о которой девчата весной поют: «Вербовая дощечка, дощечка, там ходила Настечка, Настечка...» — И Данило снова вспомнил не вербовую дощечку, а вербовую ногу Шульги: «Надо наведаться к нему и Диденко, какого-нибудь гостинца отвезти».

Данило открыл двери дома. Мирослава, все еще с опаской, вошла в темноту хаты.

— Вправду, тут сентябрем и чернобривцами пахнет. Вы любите их?

— Очень. И люблю, когда девичьи косы пахнут чернобривцами. — И Данило незаметно коснулся [illegible] волос. — Представляешь — снег и чернобривцы!

Он зажег свет, и гостья сразу же подошла к фотографии матери, перед которой светился сноп жита.

— Это ваша мама?

— Мама.

Мирослава погрустнела:

— И у моей были такие добрые глаза. И называла она меня почему-то Журавкой.

— А моя часто пела о журавке... Что-то необычное было в ее характере. Она уже с рождества высматривала весну, любовалась первым подснежником, прислушивалась к пению зерна, к шепоту маковок, ко всей земле. И к колосу, и к траве, и к деревцу у нее была своя излюбленная речь, своя песня. Больше всего пела на лугах, где столько пернатых находило приют и в траве, и на берегу, и на воде. Бывало, глянет на какую-нибудь хохлатенькую чаечку или на выводок диких утят, что плывут за уткой, и вздохнет: «Боже, как это славно, когда есть крылья», да и запоет тихонько траве или копенкам:

А журавка ходить
Та пір'ячко ронить...

А ты, малый, сразу и увидишь и журавля на журавлином броде, и журавочку, и двух ее длинноногих деток. Мать не раз, утешая меня, говорила, что в мою подушку зашила журавлиные перья. Это чтобы в сон приходили пернатые, травка, поля, а не всякая погань.

— Добрая и тихая мать,— вздохнула Мирослава.

— Что добрая, то добрая, а вот что тихая — не знаю. Однажды она удивила всех односельчан. Это случилось в двадцатом году. Возле самого села партизаны саблями врубились в банду Гальчевского. Это была до зубов вооруженная свора, верховодил в ней ученый жестокосердный главарь, который грозился вырезать большевиков до седьмого колена. Когда помчались огородами и улицами кони без всадников, я с мамой вышел во двор. А к нам на взмыленном коне подлетает разгоряченный в битве партизан Михайло Чигирин,— ты знаешь его: он теперь у нас в районе председатель колхоза,— и еще с улицы кричит матери: «Ганна, помоги раненым — вынеси полотна перевязать раны!» И соскакивает со своего вороного, ведет его на подворье. А конь даже шатается от усталости.

«Где же я тебе полотна возьму? — сразу опечалилась мать.— Все отдала то за пахоту, то за хлеб».

«А может, где-нибудь завалялось? Беда хлопцам — лежат на белой гречихе, а гречиха уже красной стала».

В хате мать бросилась к сундуку, да разве найдешь то, чего нет?

«Что ж, такое дело... — склонил голову Чигирин. — Придется богатеев обыскать! А так не хочется, чтобы на таком полотне была чужая брань да нарекания».

«Подожди, Михайло»,— вдруг спохватилась мать, застыла на какое-то мгновение, а потом метнулась

[illegible] на скамью и начала снимать руш-[illegible]

«[illegible] добрая женщина?» — удивился, не пове-[illegible]

[illegible] успокоила его мать. — На этом [illegible] не будет ни брани, ни нареканий — оно свя-[illegible]вивало...»

— Вот это да... — широко раскрыла глаза Мирослава: в них входили далекие видения. — И что же дальше было?

Данило вздохнул:

— А дальше она все ждала батька, ждала даже после того, как дошли слухи, что он убит. И голос ее с каждым годом грустнел и грустнел. Незадолго до смерти она как-то попросила меня: «Данилку, спой мне песню о журавке, что «ходить та пір'ячко ронить», я уж почему-то нынче не могу...»

Последний путь матери люди от хаты и до кладбища устлали цветами. А над ее крестом всегда висит рушник, и зимой, и летом машет своими крыльями...

— Вот и думай себе, что такое жизнь... — зажурилась девушка. — А зачем вы перед фотографией матери поставили жито?

Данило грустно поглядел на Мирославу

— Потому что вся жизнь моей матери прошла в жите или возле жита, возле черного хлеба и на бесхлебье. Так вот, наверное, возле житечка, на веснашке, на севе, на жатве пройдут и мои, и твои года, если конторы или замужество не уведут тебя от нивы и перепелки в ней.

— Надеюсь, не уведут! — убежденно сказала девушка и испытующе посмотрела на Данила. — А для вас главное в жизни — жито, перепелка в нем да жаворонок над ним?

— Крестьянская доля! — задумчиво ответил Данило и на вопрошающий взгляд Мирославы невесело улыбнулся. — Это может показаться нудным или недалеким, как определил большой знаток параграфов и планов судеец Ступач.

— Расскажите! — шепотом велела Мирослава и стала ближе к снопу.

— С чего только начать? Мне и поныне кажется, и, наверное, всегда будет казаться, что сквозь мою душу, сквозь мои очи, сквозь мои боли и надежды прошла история крестьянской судьбы и печаль житечка, которое и до сих пор не может накормить людей. Это, верно, потому, что не успел загрубеть, хотя и немало видел грубого, даже жестокого в селе. Так вот, о крестьянской доле, о крестьянских надеждах: убогими, страдающими, придавленными были они. Каждый день сердце хлебороба охватывал страх и перед податями, и перед нищетой, и перед силами природы. И только в песнях пробивался не такой уж и большой свет надежды, что у самого бога можно выпросить счастье: жита на хлеб, пшеницы на паляницы, а еще — гречки на варенички. Как видишь, не так-то и много просили крестьяне у бога. А теперь мы сами должны стать теми богами, которые изменяют крестьянскую судьбу, выводят хлебороба в мир [illegible] урожая, в мир больших надежд и душев-[illegible]. Ты не раз, верно, грустила, слушая песню о бедной вдове, которая засеяла свое поле, заборонована и слезами полила. Так разве не стоит посвятить свой век тому, чтобы ни слезы, ни нужда, ни бесхлебье не сгибали ни вдову, ни сироту, ни всю крестьянскую судьбу? Так я понимаю неписаный указ нашей державы, так я понимаю и свой незаметный, но ревностный труд. — Данило беспокойно взглянул на девушку: не подумает ли, что он какой-то болтун? — И, уже посмеиваясь над собой, закончил: — Поэтому, если учесть то, что я говорил, не придется мне жесткие крестьянские сапоги менять на модельную обувь.

— Хорошо сказали вы обо всем, кроме модельной обуви. О чем-то таком думала и я. Только все ли поймут вас, романтику вашу? Недоверчивый еще наш крестьянин, ох какой недоверчивый.

— Не все, Мирослава, сразу приходит. Будет правда — придет и вера! Лишь бы только ложь не взяла нас за горло. Кто бы из крестьян еще несколько лет назад поверил, что их дети прямо в полотняной одежде, в лаптях, а то и босиком пойдут в высокую науку? Будь моя воля, я из чистого золота поставил бы памятник тем людям, то есть большевикам, которые догадались по разверстке комитетов крестьянской бедноты посылать учиться малограмотную молодежь на рабфаки, а потом и в институты. Там как целину пахали — тяжело давалась нам наука, по мужицким упорством, бессонницей одолевали все и выходили в люди. Такого ни в каких кембриджах и оксфордах не бывало. Ты же не можешь представить себе, чтобы порог Оксфордского университета переступил парень в отцовской кирее и лаптях!

Мирослава бросила взгляд куда-то вдаль, засмеялась.

— Тоже хорошо! А сами вы получаете радость от своей каждодневной работы? Или тянете ее, потому что привыкли тянуть?

— Спрашиваешь, не черный ли я вол, что тянет свое ярмо? Эта мерка не для меня, потому что чувствую в руках жажду труда, кажется, понимаю и радость поля и радость хлеба, но не хуторянскую, где все, даже бессмертное зерно, охраняется полупудовыми замками и собаками, а ту, от которой яснеют людские глаза и ширятся надежды. Ты, конечно, слыхала старинную легенду о евшан-зелье, о безграничной любви к своей земле. Так оно во мне есть, это евшан-зелье. Такая любовь, от которой крылья на плечах рубашку рвут! А ты про подъяремного вола подумала, — и искренне, по-мальчишески, засмеялся.

Засмеялась и Мирослава.

— Говорите, говорите, Данило.

— О чем же тебе еще?.. И кроме очень больших есть меньшие, только свои радости: это когда тиховейно сеется зерно и пробиваются всходы, когда маленькими корабликами плывет по полям молодой горох, когда звенит цветом и музыкой гречиха, когда девичьей рукой зовут кого-то к себе метелки проса и когда стоит тихий звон созревшей нивы. Каждый день в широком поле чем-то меня волнует, радует, потому что сроссся, сроднился с ним. Я недавно услыхал крылатые слова нашего большого ученого об ученых: «Мы должны стоять на глобусе». Вот и

Крестьянство наше тоже должно стоять на глобусе, засевая мир зерном жизни. Так ты, верно, догадываешься, что у меня есть чем жить. И романтике тоже есть чем жить, хотя и ее, и крестьянство не милуют демагогия и недоверие мелкотравчатых деятелей,— и нахмурился, вспомнив что-то свое, умолк.

Нахмурилась и гостья, приложила руку ко лбу и тихо, не обращаясь ни к кому, спросила:

— Почему так часто мелочность, угроза или нашептывание подавляют великое? Мы земле, хлебу весь труд, всю душу отдаем, а еще должны оберегать душу от тех, которые не любят ни земли, ни хлебороба, только с подозрением приезжают и с подозрением уезжают. Ученые говорят: в сердце человека есть два предсердия и два желудочка. Но еще не перевелись и такие экземпляры, у которых по четыре желудочка... Вы не боитесь, что нашу высокую романтику может задушить чересчур ретивый бюрократ? Для этого он и хозяйственными расчетами козырнет, и соответственными цитатами блеснет, и правдоподобием прикроется.

Данило невесело удивился, невесело усмехнулся:

— Философ ты мой с золотыми косами...

Мирослава не растерялась:

— Если вы меня так велеречиво окрестили, то ответьте на один приземленный вопрос.

Хлопец поклонился и шутливо, как испанские гранды в пьесах, провел рукой у самого пола:

— Охотно, сеньорита!

— Тогда скажите, многоуважаемый товарищ председатель, к которому прилетают гости даже из области: почему в вашей хате до сих пор нет пола? Любовь к старине, патриархальщине?

— К убожеству не может быть любви.

— Это не ответ, а отписка.

— А теперь — ответ,— уже серьезно сказал Данило.— Я тогда настелю пахучей, с живицею, пол, с прожилками, с гнездышками от сучков, что так хорошо смотрят на тебя, когда в селе не останется ни одного земляного пола. Ни одного!

— Вот как! — Насмешливо хмыкнула Мирослава. — Тогда продолжайте свою мысль и про хату.

— И продолжу. Ты знаешь вдову Галину Пастушенко?

— Ту, у которой пятеро детей?

— Да.

— Какая красивая женщина! — Мирослава погрустнела, и вся игра сошла с ее лица.

— Вот когда у этой красивой женщины и у всех наших вдов уже будут новые настоящие жилища, тогда я и подумаю о своей хате.

— Долго вам, наверное, придется ждать.

— Я терпеливый, дождусь.

— Не только терпеливый, но и упрямый. — Под ресницами девушки встрепенулась улыбка. — А спите вы... на гвоздях?

— Нет, на сене,— засмеялся Данило. — Сено же застилаю рядном, полосатым или под цвет гречечки.

— И это уже хорошо. — Девушка взглянула на полосатое рядно, подошла к стене, возле которой стоял старый, с выгоревшими цветами сундук.

— Что это за девочка? — глянула на фотографию, с которой внимательно смотрел на нее мило видный ребенок.

На лицо Данила легла печаль.

— Это Оленка...

— Ваша родня?

— Если и родня, то, наверное, далекая-далекая. Мирослава пристально поглядела на Данила.

— Почему же «наверное»?

— Как тебе сказать...— заколебался он.

— Говорите, как есть! — уже не терпелось девушке, и в голосе ее зазвучало подозрение.

— Не хочется, чтобы ты слушала о грехах или греховности жизни.

— Какой греховности? — насторожилась Мирослава и почувствовала, что в душе что-то обрывается... С чего бы это?

— Тогда слушай... Несколько лет тому назад шел я вечером к своей двоюродной сестре Оксане. Тишина, тени и лунная игра пестрили и луга, и татарский брод. Вдруг с берега эту тишину раскололо такое неутешное всхлипыванье, что мне жутко стало. Бегом бросился к броду и над стремниной, в кустах ивняка, увидел девушку, которая отбрела от берега и, очевидно, прощалась с жизнью. Выхватил несчастную из воды, вынес на берег, узнал и, как мог, стал утешать. Стоит она передо мною и роняет молчаливые слезы на прибрежный песок. Вижу, не успокою Марию — так звали эту девушку. Тогда посадил ее в лодку, переехал брод — и к Оксане. Та уж както отходила ее.

— Что ж это за история была? — загрустила Мирослава.

Данило вдруг, обозлившись на кого-то, сказал:

— Вот та самая, извечная для слишком доверчивых девчат. Совратил Магазанник поденщицу, которая работала в лесах, а когда у нее под сердцем забилась жизнь, погнал к знахарке. Благодаря Оксане оно как-то обошлось, и у Марии появилась доченька, а у меня вот эта фотография,— улыбнулся и ребенку, и Мирославе.

— А Мария где же? — глухо спросила Мирослава.

— Вышла замуж за хорошего человека и переехала в соседний район. Изредка пишет Оксане и мне... Ты чарочку кизиловой выпьешь, чтоб согреться?

— Нет,— грустно покачала головой Мирослава и почему-то сняла шапочку.

— А терновки?

— Разве сегодня праздник?

Он заглянул под ее неровные ресницы, где смущалась та пленительность, которая уже давно очаровала его.

— Для меня — праздник.

— Это правда? — спросила Мирослава, едва шевеля губами.

— Истинная правда,— ответил он полушепотом и увидел в ее волосах несколько зерен пшеницы.— А откуда взялись эти зернышки?

— Разве вы забыли, что я сегодня ездила к селекционерам?

— [illegible] они?

Мирослава деланно вздохнула:

— Только мои горькие слезы разжалобили их — насыпали своего волшебного зерна в шапочку. Я сняла рукавицы, чтобы и в них сыпанули, да не [illegible] по-моему.

— Там, у селекционеров, и оставила рукавички?

— Ага.

Данило засмеялся.

— И там они будут расти?

— Такие, как у вас, не вырастут.

— Как твои рученьки?

— Отходят.

— Иди к печке, она еще теплая. И чего только не умеют эти рученята...— Приложил их к кафелю цвета весенней зелени и пошел в каморку собрать что-нибудь на ужин.

Только теперь страх охватил девушку. Зачем же она пошла в чужую хату? Разве можно ей тут быть, ужинать? Может, не одна уже приходила сюда, может, потому и ворота стонут чайкой? Может, не раз у него был праздник. А как чувствовал себя кто-то после того праздника? Она в смятении отошла от печки и снова встретилась со взглядом матери. Он немного успокоил девушку.

А в это время возбужденный от радости Данило уже вошел с тарелками и удивился:

— Ты отчего, Мирослава, стала такой?

— Какой?

Он подыскал слова:

— Будто только что очнулась от плохого сна.

И девушка призналась:

— Мне страшно.

— Почему?

— Так девчата не делают.

— Как?

— Чтобы самим идти в хату к парню.

Он подошел к ней.

— Так ты представь, что эта хата — твоя.

— Как же это представить? — не знает она — грустить или улыбаться. — Выдумает же такое!

— Хорошо, я тебе ее сегодня продаю!.. Считай, что хата уже твоя и я пришел к тебе в гости. Теперь берись за работу и готовь ужин гостю, председателю, значит.

— Бессовестный,— сказала не голосом, а одним движением губ и почувствовала, как понемногу начали исчезать сомнения.

— Не бессовестный, а влюбленный...— тихо успокоил ее тревогу.— Правда, влюбленный.

— Когда же это случилось? — не нашлась Мирослава.

— В ту ночь, когда ветряк играл снопом твоих волос,— и положил руки на ее плечи.

Мирослава шагнула в сторону, не зная, что ей делать — радоваться или печалиться...

И в этот момент кто-то легонько постучал в двери сеней.

— Кто бы это? — в испуге беззвучно спросила Мирослава.

— Не знаю,— удивляясь, пожал плечами Данило и пошел открывать.

На пороге в задубевшей от мороза, широкой, как колокол, кирее топтался дед Корний, а возле ворот стояли взлохмаченные кони.

— Так ты дома?

— Дома. Добрый вечер вам. Может, что-то случилось?

— Да ничего такого и не случилось,— с облегчением вздохнул дед и протянул Данилу узловатую руку.

— Вам что-нибудь надо?

— А чего мне надо от тебя? — удивляется или хитрит старик. — Разве нельзя постучать к человеку без всякой надобности?

— Да можно. Заходите в хату.

— Так снегу нанесу. Лучше поеду себе в конюшню, а то кони притомились,— прохрипел давней простудой старик.

— И все-таки что у вас?

Старик снова вздохнул, замигал ресницами, на которых поблескивала изморозь.

— И не хотелось бы на ночь глядя говорить черт знает что, но, наверное, надо. Понимаешь, возвращаемся мы с Ярославом Гримичем из Каменца и встречаем на дороге какого-то верзилу с торбами, похожего на разбойника. Носище у него вот такой, а глаза, как у совы, горят. Попросил этот головорез, чтобы его немного подвезли. Подвезти так подвезти, ведь зима же. Сел носач в сани, словно леший, начал лясы точить, а когда разузнал, откуда мы, неожиданно вдруг и спросил:

«А вашего хваленого председателя за рога еще не взяли?»

«За что же его должны взять за рога?»— остолбенели мы.

«Чтобы не был таким умным,— захохотал тот леший. — Чтобы смотрел не только на передние, но и на задние колеса».

«Ты не из пекла родом?» — спросили его, да и столкнули с саней в снег, а сами как можно скорее сюда.

В селе дознались, что тут все хорошо, тогда Ярослав пошел домой, а я вот заглянул к тебе, а то этот аспид нагнал холода и страха в мою душу. И откуда берутся такие выродки? А ты не обращай внимания на это: волк воет, а месяц светит. Будь здоров, сыну, пусть тебя судьба и бог берегут,— он повернулся, пошел к воротам, и они теперь отозвались Данилу не стоном чайки, а одной болью.

Что же это — неумная шутка лихого человека или в самом деле над его судьбой закружилась недоля? Растерянным взглядом он посмотрел на заснеженных коней, увозивших его покой и радость. Зачем-то полез рукой в карман и вынул оттуда согретый росточек жита. Это сегодня, разгребая снег, приглядывался он, как зимуется житечку. А как перезимуешь ты?..

К его плечу тихо прикоснулась рука Мирославы.

— Данилко, у тебя что-то недоброе? — так спросила, что он почувствовал, как тревожно бьется девичье сердце.

[illegible], увидел на ее лице сочувствие.

— [illegible] нет, все хорошо,— благодарно улыбнулся и привлек к себе Мирославу — этот трепет, это недоверие, эту пленительность, что зовется девичьей надеждой.

Мирослава выскользнула из объятий и бросилась к воротам, к которым снова вернулся печальный стон чайки.

— Мирослава, куда же ты?!

— За татарский брод! — откликнулась уже со двора и исчезла в мареве зимнего вечера.

Данило бросился в хату, погасил свет, потом на задвижку закрыл двери и выбежал со двора на занесенную снегом улицу, а с улицы — на шлях, высматривая девичью фигуру. Но нигде никого, только месяц в небе да мороз крадется под плетнями. Вот так! Куда же она затерялась меж снегами и месяцем? Он свернул в узкий переулок, где за изгородью стояли в белых свитках вербы, пологою тропинкой побежал между сугробами и вскоре вдали увидел одинокую девичью фигуру. Но почему она идет не к татарскому, а к девичьему броду, что всегда зарастал высоким камышом, давая зимой приют и зайцам, и лисам?

Из переулка девушка вышла на луг, где стояли стога отавы, и исчезла в стене камыша. Почему же она не выходит на речку? Не попала ли в промоину? Обеспокоенный Данило тоже вошел в камыши, пробил их плечом, вышел на занесенный брод, огляделся. И тут его поразила удивительная, неправдоподобная красота зимней ночи, что легкими облачками наплывала на затененный месяц, что голубыми нитями соединяла небо с землей, что сполохами взрывалась вокруг заснеженных верб и стогов. Такое волшебство смог бы нарисовать только Куинджи... Но где Мирослава?.. И совсем неожиданно увидел ее у самой стены камыша. Пригнувшись, она склонила голову к пучку камышин, словно прислушиваясь к ним. И что тут услышишь, моя забота чернобровая?

— Ты что делаешь?

— Ой! — испуганно вскрикнула девушка, потом смущенно улыбнулась. — Вот нагнитесь, послушайте, как зима гудит в камышовую дудку. Я так люблю ее слушать.

Он нагнулся и вправду услыхал гудение камышовой дудки и неизведанное смятение чувств в себе.

— А еще что ты любишь? — спросил он, лишь бы спросить.

— Еще люблю весеннее пение ежа.

— Ежа?! — не поверил Данило.

— Да-да, его пение похоже на песню дрозда. [illegible] наблюдать барсука за работой, когда он со[illegible] листья на зимовку: соберет кучку, обхватит [illegible], прижмет головой и движется к норе...

— Сколько света, столько и дива.

— А что вы любите? Жито-пшеницу...

— И теплый, как душа, хлеб на столе у людей, и [illegible] над миром, и калиновый ветер в мире.

— [illegible] хорошо: калиновый ветер в мире — ветер [illegible], девичьих надежд...

Мирослава еще ниже пригнулась к камышу, с [illegible] головы упала шапочка, и Данило снова увидел в де[illegible]вичьих волосах зернышко пшеницы. Он чуть слышно прикоснулся губами к ее волосам, которые пахли зерном и грустью маттиолы. Почему же маттиолы?

Данило и не догадывался, что для него девушка мыла голову маттиолой, когда дозналась, что он любит этот вечерний цветок.

Уже подкрадывалась предполуночная пора, когда Данило в радостном возбуждении возвращался из приселка в село. Всю дорогу ему сияли вечерние глаза, над которыми так хорошо трепетали неровные, вспугнутые ресницы. «Откуда вы взялись на мою голову?» Удивлялся и радовался встрече с тем дивом, с тем праздником, которого ждал годами то из грустных чар веснянок, то из вечерового тумана надежд, то из тех предчувствий, которые только молодость навевает в душу.

На искристой, подсиненной равнине ожил какой-то клубок и, поднимая снежную пыль, покатился и покатился к селу. Вот он замер, подрос, вытянулся — и стал зайцем.

«Проголодался, ушастый?» — усмехнулся зайцу Данило, еще и обрывок какой-то детской сказки вспомнил. Зверек повел ушами, будто услыхал мысли человека, стукнул одной обмерзшей лапкой о другую, потом утопил их в снег так, словно поклонился кому-то, прыгнул и снова стал движущимся клубком. Вот и катись к скирдам, что ведут золотой разговор с месяцем и ветерком. Но невдалеке от поживы остановился, снова вытянулся, прислушиваясь к той музыке, которая притихшими волнами доносилась сюда от села, и побежал не к скирдам, а к музыке. Диво, да и только!

Когда Данило вышел на шлях, между вербами неожиданно возникла какая-то высокая лохматая фигура. Она что-то несла или ее несло? Да это же нищий с перекрестными торбами. Откуда ты взялся такой поздний? А идет, верно, издалека: изморозь проросла на всех его патлах, усах и бороде, из которых выглядывали только носище да глаза.

— Добрый вечер, дед,— удивленно поглядывает на позднего бродягу Данило.

— А добрый... да холодный,— неприветливо отозвался старик, устало хекнул, остановился у вербы и положил на засаленные торбы руки; в черных рукавицах они лежали, словно притихшие кроты.

— Куда это вы, на ночь глядя?

Старик покачал охапкой волос.

— Где-то пристанище надо искать — или на ночь, или... последнее. Насилу доплелся до вашего села.

— Да и торба ваша слишком тяжела.

— Тяжела торба полная, а еще тяжелее порожняя,— буркнул нищий.

— И нет у вас здесь знакомых?

— Если бы были.

— Тогда пойдемте ко мне на ночлег.

— К тебе? — будто заколебался нищий, присматриваясь к Данилу совиными глазами. — Вот [illegible]

[illegible], что не придется чужих собак дразнить. [illegible], [illegible]кого и холодного, сначала к председателю сельсовета или колхоза не поведешь?

— Нет, не поведу.

— Это ж почему?

— Я сам председатель колхоза.

— Ты?! — почему-то удивился и вытаращился старик, а потом спохватился, спокойнее забормотал: — Такой молодой — и уже председатель. Видно, стараешься и для себя, и для общества? — и что-то неприятное, отталкивающее проскользнуло в этом «стараешься».

— Стараюсь. Так потопали!

Не очень приглядываясь к нищему, Данило пошел впереди, повернул в переулок, где вербы неторопливо натрушивали изморозь на решета теней. По дороге почти не думал о неожиданном госте, ибо снова все мысли вертелись вокруг Мирославы. А когда обернулся, старика уже не было.

«Что за наваждение?!» Данило оглянулся вокруг, крикнул несколько раз: «Дед!», но никто не откликнулся, только где-то на шляху шаркали сапожища или полозья.

«Диво!» — сам себе сказал человек, пожал плечами, а в памяти ожил рассказ деда Корния. Не с этим ли старцем встретился он? И почему-то тревога охватила парубка, словно он приоткрыл завесу, за которой притаилось что-то зловещее. И стало страшно не за себя, а за Мирославу. Что это — суеверие, предчувствие?

Не долго думая, он круто повернул и быстро пошел, а затем побежал к приселку. А зачем? И сам не знал. И снова ему светили вечерние глаза, только не было покоя ни в них, ни в нем...

XV

И что оно только творится? Село никак не могло понять, откуда могло взяться столько врагов, и сторонилось, словно зачумленного, Семена Магазанника, который теперь черным вороном налетал со своей шомполкой на людскую беспомощность. Правда, он старался только при Ступаче, когда тот приезжал делать разнос, а без Ступача и Магазанник притихал, еще и Степочке наказывал не очень расшнуровывать свой рот, потому что каждое время имеет свои весы. Уже и так за те выступления, которых требовал от него Ступач, люди перестают здороваться с ним, а старик Ярослав Гримич при встречах язвительно допытывается: когда он успел из простого Черта со свечечкой перешерститься в пособника самого дьявола?

Тогда жерновообразное лицо лесника сразу набухает кровью и гневом.

— Не пустословьте, дед! Вы знаете, какие теперь международности и внутренности?!

— Где уж нам знать те внутренности, коли ты и в них залез, как крыса в муку, — издевался старик. — Я знаю только одно: кто дьяволу служит, тот с чер[illegible]. А что, неправду говорю?

— Это я служу дьяволу?! — приходил в бешенство Магазанник и хватался за шомполку.

— И служишь, и служил! Не сегодня парша начала разъедать твою душу, — на что-то намекал Гримич.

От этого «что-то» холодело нутро лесника. Что знает о нем старик? И снова его растревоженную память бичами истязали намыленные серым солдатским мылом петли, а между небом и землей качались на ветру молодые чубы. Это прошлое не сотрешь и теперешней сверхбдительностью.

А когда Гримич видел Магазанника со Степочкой, то презрительно бормотал:

— Какой бес печеный, такой и вареный.

И диво дивное: как Магазанник ни становился на дыбы против старика, однако не подкинул на него ни одного доноса, чем немало удивлял Степочку.

— Вы же слыхали, тато, что он болтает о нас: «Какой бес печеный, такой и вареный». Так до каких же пор можно ему спускать? Не пора ли прихлопнуть, и вообче?..

Магазанник, вздыхая, втягивал голову в плечи, изображал на лице глубокомыслие:

— Не будем подыскивать зацепку в чьей-то старости, она и так скоро отделится от мира гробовыми досками. А вот товарищу Ступачу надо помочь — еще подпустить шепота о Даниле.

— Мне же у него характеристику брать придется...

— Так одно другому не помешает. Он уже, считай, в мешке, только завязать нужно...

— Завяжем!..

Сегодня предпраздничный день. Бондаренко еще с утра уехал в район получать выговор, потому что уже нет той защиты, которую прежде имел. А теперь снимают с него стружку Ступачи. Жаль парня, но что поделаешь?

— Вот беда, — вздыхает в кабинете председателя мельник Микола Константинович, что пришел потужить к Ярославу Гримичу. Еще на рассвете Ступач забил гвоздями двери ветряка, и теперь у мельника предостаточно нудного и ненужного времени.

Старики сидят себе возле стола, прислушиваются к улице, к ветру, который меняет и меняет белые взлохмаченные облака и погоду.

— Так гвоздями и забил дверь? — печально переспрашивает Гримич.

— Забил, как гроб. Вбивает он гвозди в дерево, а мне кажется, что в меня! Опустился на ступеньки, посидел и уже не своими ногами начал обходить ветряк. Подошел к крыльям, а они плачут. Пока крутились, не видел их слез.

— Вот так и человек: останови его труд — невольно заплачет.

— И откуда этот бесов ненавистник взялся? И как он думает жить среди людей?..

— Вот уже и летушко пришло, а внутри холодина.

— Года.

— И года, и печаль.

Мельник покачивает головой, поднимается.

— Ну, пойду я к ветряку.

— Так он же заколочен.

— Хоть возле крыльев посижу, хоть их скрип послушаю. А может, Данило еще освободит ветряк? Ты скажи ему.

— Скажу, если не доконает его Ступач.

— Не дай бог... Как тяжко на душе, когда крылья молчат,— печально говорит мельник, безнадежно машет рукой и прощается с Ярославом. Ведь кто знает, что будет завтра. Что-то оно не то... И все равно надо идти к крыльям, которые, наработавшись, стали сизыми от времени и непогоды.

На колокольне тревожно загудел колокол. Это старый звонарь Корний звонит по чьей-то душе. А Ступач и по ветряку справил похоронный звон. Есть ли у него сердце, или вместо него шевелится там жаба?

Оставшись один, Ярослав Гримич достал из-под скамьи вербовую корзинку с душистыми купальскими травами, понюхал их и начал раструшивать по полу. Эти травы, или дух их, или та земля, где росли они, навевают ему разные мысли, и их становится столько, что начинают проситься на язык:

— И чего только не придумает природа! И татарскую траву, и чабрец, и мяту, и лисохвост, и шилохвост, и дурня заодно.

Погрузившись в думы, старик уже не замечает, что на подоконник опирается Василь Гарматюк, а за ним прядет ушами верный конь.

— Да, и дурня заодно. Но в старину дурень не умел ни читать, ни писать и отсиживался на печке. А теперешний дурень ох как научился и читать, и писать, и кого-то пинать под бок или под печенку. Это когда-то придурковатый кричал себе, как хотел, но никто и ухом не вел. Теперь же он за крик получает зарплату — раз, командировочные — два, суточные — три, премиальные — пять. Поднялся дурень в цене. Вот если бы ликвидировать грамотность дурней — и снова их с должностей на печку! Подумать — какую бы экономию имело государство!

— Вы, дед, даже теперь не держите язык за зубами,— уныло покачал головой Гарматюк.

— Если свяжешь слово, свяжешь сердце, четвероногим станешь,— не полез в карман за ответом старик. — Ты к нашему Данилу приехал?

— Заскочил по дороге. Как он?

— Плохо ему, ой, плохо стало с тех пор, как уехал из района товарищ Мусульбас. Теперь Ступач поедом ест нашего Данила.

— А он молчит?

— Если бы молчал! Он как врежет правду без недомолвок, так не знаешь, под какой гром попадет. После этого у Ступача есть дело — подавать сигналы. А у Данила одна работа — поле да мы,— «неукрощенная стихия». Это так вот Ступач говорит. Теоретик! Ты еще не выскочил в такие теоретики?

— Пока что нет. Где же ваша Ярнина?

— На лугу со сгребальщиками. Это не девушка, а пучок огня. Что только с нею будет, когда придет любовь?

Василь отвел лицо от старика.

— Дед, а что такое, по-вашему, любовь?

— Любовь — это тот сладостный дар, из которого люди делают горечь.

— Вот так сказали! — грустно улыбнулся Гарматюк. — Данилу передадите привет. Да и будьте здоровы! — Вскочил на коня, и тот галопом помчал на дорогу.

А Гримич снова начал говорить сам с собой и о траве, и о неправде, а затем снял со стены почерневшую от времени кобзу, провел высохшей рукой по струнам и заиграл свою любимую:

> Ой Морозе, Морозенку,
> Ти славний козаче,
> За тобою, Морозенку,
> Вся Вкраїна плаче.

И в седине веков старик видел Морозенко, у которого враги живьем вырвали сердце, видел гордое войско, что как мак цвело, и грустил о прошлом, и беспокоился о настоящем. Он не заметил, как в кабинет вошел Данило и тихонько встал у дверей, слушая песню. Вот и отгрустила она, и на Данила взглянули печальные очи старика. Он положил натруженную руку на струны.

— Так как, сыну, снимали с тебя стружку?

— Стружку столяр снимает, а меня по-плотницки обтесывали.

— Ступач больше всех старался?

— О...

— И ветряк вспоминал?

— И ветряк, и хлеб, и сено, и слово.

— А кто ж ему напомнит, как он на рассвете заколотил двери ветряка тремя гвоздями?

Данило сразу озлился:

— Забил-таки! Сейчас же пойду повырываю гвозди!

— Разве тебе мало досталось?

— Наверное, мало.

— Не доливай себе лиха.

И в это время кто-то осторожненько постучал в дверь.

— Войдите! — крикнул Данило.

На пороге, почтительно улыбаясь, появился в праздничной одежде Степочка Магазанник.

— Здравствуйте вам. Я не помешал, и вообще?

У Данила возле губ морщинами пробилась гадливость.

— Чего тебе? Какую-нибудь бумажку на торговлю?

Степочка заиграл мельничками ресниц, подошел ближе к столу.

— Да нет. Какой теперь, летом, торг? Это осень свое возьмет. Характеристичку мне исправную надо, а то уже, по сути, помаленьку перебрался на службу в район.

Бондаренко нахмурился:

— Пока я буду председателем, для тебя пером не поведу.

Степочка не очень расстроился ответом, а деловито расстегнул внутренний карман пиджака, отколол сначала английскую булавку, а затем вынул сложенный вчетверо лист бумаги:

[illegible] может, подпишете? Я сам написал, не [illegible], но и не преуменьшая своей роли и [illegible]

— И не подпишу, и не дам!

Только теперь молодой Магазанник наершился и невольно сжал кулаки.

— Интересное выходит кино. Это ж по какому праву, почему и как вы не дадите мне справочку?

— Вот так.

Степочка разозлился, вытянулся, угроза брызнула из глаз.

— Теперь, Данило Максимович, дадите! Еще и обрадуетесь, что дадите, потому как такое время!

— Ты всем торговал, но не торгуй временем: оно еще отомстит за себя.

— Это мы увидим, кому оно отомстит! Так никак не дадите?

— Нет!

— Тогда наше вам! — Даже коснулся рукой фуражки и попятился к порогу. — Эх, на свою голову пренебрегли мною. Вы еще не раз вспомните этот час! Я вырву себе свой завтрашний день, но не знаю, где окажется ваше завтра! — и Степочка хлопнул дверью.

Данило взглянул на старика:

— Видали такого рвача? И как этого хорька могла полюбить Катруся?

Старик покачал головой:

— Любовь сначала любит, а разглядывает потом. Ты куда же?

— К житу, к пшенице, к звездам, к ветряку.

— Эх, и судьба у тебя...

— Ничего, дед, нашу судьбу, хоть и нелегко ей теперь, никто не заколотит гвоздями!

XVI

На синих ладонях вечера темной печалью горбился старый ветряк и в мольбе протягивал застывшие руки то ли к небу, то ли к людям: привыкнув к работе, к помольщикам, он безмолвно терзался в одиночестве, и тихие слезы капали с его крыльев, вобравших в себя запах муки, запах степи, душицы, всех четырех бродов и четырех ветров. Сколько приходило и сколько уходило людей от этих крыльев?! А как славно под ними поднимались и вихрились пшеничные волосы Мирославы!

Вспомнив тот вечер из вечеров и те волосы, что собирали еще ранние лунные лучи, и влажные, с доверчивостью, с тревогой и ожиданием очи, и того шмеля, который зазвучал им на долгие годы, Данило подобрел и от крыльев пошел к подвесному крыльцу ветряка. Вот сейчас он освободит заколоченные гвоздями двери, сбросит тормоза, засыплет зерном короб и хоть на какой-то часок станет мельником, — хорошо, что знает и любит все те работы, которые начинаются с зерна и заканчиваются зерном. Наверное, ему для души надо было стать мельником. Да кроме своей души есть обязанность перед людьми, перед землей и перед тем, что называется временем. И как бы тебе ни было горько сейчас, не ропщи на свою беспокойную жизнь, так как время не дало нам спокойной судьбы.

На крыльце темнело несколько мешков: видно, привезли хлеборобы зерно, покружили возле молчаливого ветряка, да и в надежде, что разум перевесит глупость, оставили свой труд на скрипучих ступеньках. Еще, кажется, так недавно по этим ступенькам он, малый, поднимался с матерью, что несла на плечах свою вдовью ношу. С солнцем на плече нарисовать бы ее. С солнцем, а не с вдовьей ношей... «Были себе журавль да журавка». И не стало их. А тебе досталась иная ноша. Только бы не согнуться, не упасть под нею.

Неожиданно у самых дверей ветряка что-то зашевелилось, а потом поднялась фигура человека, и постарчески заскрипело, на что-то жалуясь, дерево крыльца.

— Микола Константинович, это вы? — изумленно спросил Данило.

— А кто же еще может тут торчать? — грустью поскрипывает голос старого мельника. — Вот на крыльце, среди мешков, и ночевать собрался.

— Почему же не дома?

— Надо же кому-то быть и здесь — возле хлеба, возле людского труда. Да и не могу я без ветряка, никак не могу! Он мне во всех снах машет крыльями. Я, слышишь, даже рая не хочу без ветряка.

— Ой, дядько Микола! — Данило взбежал на крыльцо, обнял старика, и тот прижался к нему, безмолвно моля о защите. — Крепко заколотил дверь Ступач?

— Да нет, — мельник на ощупь отыскал ладонью те гнездышки, которые пробили гвозди, — дерево-то хрупкое, старое, как мои косточки. Потянешь к себе — так и выскочит железо.

— А вы уже дергали дверь? — улыбнулся Данило.

— Понемногу дергал, а посильнее не решился, потому как нет в руках власти, — уже лукавит мельник и искоса поглядывает на Данила.

— Хитрите или подсмеиваетесь?

— Да нет, больше журюсь, — вздохнул старик. — Давно никто не орал на меня, уважая мой труд и старость. А сегодня Ступач обрушил на меня и громы и молнии и все пугал, что я отрываю от дела рабочие руки. А знает ли этот невежда, сколько он, когда остановится ветряк, озлобит рук на жерновах? Если у человека нечем думать, то думает он задом, завистью и злобой.

Слушая мельника, Данило засунул пальцы обеих рук в щель между обшивкой и дверьми, потянул их на себя раз и второй — шершавое дерево впилось в тело, выгнулось, отскочило от обшивки, и в темноте ветряка завиднелся стародавний король.

— Вот и имеем радость или параграф, — снова вздохнул мельник. — Жизнь! Так что теперь, постоим перед порогом или пойдем к крыльям?

— К крыльям!..

И щемящая боль и беспокойство сменяются радостью и подобием ее: потихоньку, еще веря и не веря себе, заскрипели крылья, заскрипел король,

[illegible] зерно по стенкам короба и зашелестел не[illegible] теплый ручеек муки, на котором держится хлеборобская доля. Мельник подставил под него руку и сам себе сказал:

— Жизнь!

«Жизнь, какая она ни на есть»,— мысленно ответил ему Данило.

Но не успел мельник взяться за деревянную лопаточку, как снизу по ступенькам крыльца быстро забухали чьи-то нетерпеливые шаги, и вскоре в синем проеме дверей черным крестом распялся запыхавшийся Ступач. Верно, от возмущения на нем шевелились торбы галифе. Отдышавшись, он вытаращился на мельника:

— Дед, как вы посмели? Под суд захотелось? Кто позволил пускать ветряк? Кто? Чего молчите?

— А если я не хочу говорить с тобой! — неожиданно отрезал кроткий мельник. — А что ты для меня и людей? Одно немилосердие и суд. Ты уж скоро не только с людьми, но и с богом будешь судиться и все, даже землю, на бесплодье обречешь.

Ступач остолбенел, и в сумраке было видно, как осенней водой наливались его глаза. А Данило вдруг услыхал в ветряке печальное жужжание пчелы. То ли она заблудилась здесь, то ли, отработав свое, забилась на последний отдых?

— Дед, еще раз спрашиваю: кто позволил тебе молоть? — уже зловещим шипением спросил Ступач.

— Хозяин.

— Какой хозяин, если я приказал?!

— Это я позволил,— спокойно отозвался из короба Данило и начал спускаться вниз.

— Ты?!— Ступач на мгновение оторопел. —Зачем?

— Чтобы кое-кому напомнить: ветряк имеет крылья, человек тоже.

— Снова за свое? — немного притих Ступач. — Залезть бы рукой в твою душу.

— Залезать в чью-то душу — это такое же преступление, как и залезать в чужой амбар.

— Тебе еще мало было в районе?! Тебя еще мало учили уму-разуму за эти дни?

— Что-то я не заметил ума у одного из своих учителей.

— Так скоро заметишь! — вскипел Ступач. — Хватит уже нянчиться с тобой, ты уж больно зарвался. В печенках сидят твои подозрительные действия.

— Пахать, сеять, жать — это подозрительные действия?! — не выдержал тона Данило, безрассудство прорвалось в его словах, и он как ножом полоснул по живому: — А как понять действия тех, кто ест нашу хлеб-соль и топчет наши души?

У Ступача задрожали губы и тяжелый подбородок.

— Конкретно: это обо мне?!

— Угадали.

— Чем же я топчу их? Чем?!

— Своей абсурдной подозрительностью и примитивизмом исполнителя. Для земли же исполнительства маловато, а для крестьянина — слишком много.

— Вот как!.. — на какое-то мгновенье Ступач растерялся, глянул на мельника, потом на Данила. — [illegible] отсюда.

Кипятясь оба, они вышли из ветряка, и синяя чаша вечерней степи обступила их запахами лета и шумом крыльев. Крылья ли это ветряка или недосягаемые птичьи крылья, что пролетают над нашим веком? Помолчать бы в этот тихий час, подумать бы о жизни...

— Так я, по-твоему, только исполнитель?! — клокоча от возмущения, спросил Ступач.

Ну что бы Данилу в это мгновение прикусить, проглотить язык или как-то схитрить на слове? Да, вишь, нет у него ни хитрости, ни осторожности.

— Не просто исполнитель, а еще и хуже. — Бондаренко через голову Ступача взглянул на небосклон, который как раз извлекал из-под земли первый ломоть месяца.

— Еще и хуже?! — «Вот когда враг заговорил». — Какое у меня преступление? — спросил будто глумливо, хотя всего его так и трясло от обиды и злости.

— Одно из самых больших: вы своей подозрительностью четвертуете веру в человеке. Еще в первые дни революции великий поэт сказал, что он хочет слушать музыку революции. А вы все думаете не о жизни, не о музыке, а о похоронном звоне по человеку.

— Ему еще веры и музыки захотелось! — и в груди Ступача перехватило дыхание. — Вот об этом ты и скажешь на своем суде! — продохнул наконец.

— Даже на Страшном.

— А он и будет страшным! — ошалев, выкрикнул Ступач угрозу. — Мы тебя, умник, накормим кровью!

— Хлебом, хлебом надо кормить людей, изувер!— повернулся Данило и пошел в луга.

Ступач спохватился: «Что я сказал? Что?! Неужели это ослепление ума?.. А если не враг он? Но почему так много бумажек на него и почему он сам такой? Верно, и черт не разберется в этом круговороте».

И в это время кто-то осторожненько коснулся его рукава.

— Степочка?!

— Ага, Прокоп Иванович, это я. За вами пришла машина из района, так я и мотнулся искать вас... Вот, слыхали, что вам Бондаренко сказал в глаза! А знали бы, какое за глаза говорит: что ваша должность выше вашего ума. Ох, как я боюсь ситуации: если не вы его, то он вас... А как я останусь без вас?

— Степочка, ты клевещешь на Бондаренко? — и Ступач схватил доносчика за грудки.

— Вот так так! — обиженно покачал головой Степочка, обиженно захлопал глазами. — Он тоже меня и обхаживал, и хватал за грудки, когда я приходил за характеристикой. Все хотел, чтобы я подал голос против вас.

— Это правда?

— А какой Степочке интерес говорить неправду? Разве ж я не ваш пособник? Проявляйте, Прокоп Иванович, инициативу сегодня, а то кто-нибудь проявит ее завтра, вот и опоздаете на свой поезд!

Ступач вздрогнул и не прощаясь быстро понесся к селу.

Как ошпаренный петух побежал,— пожал плечами Степочка и задумался. — А почему он сам так часто бродит по лугам да полям? Это на всякий случай тоже надо взять на заметочку, а то что будет, если не он Бондаренко, а Бондаренко его сковырнет? И хороший человек, а все может быть...» — и Степочка полез в карман за записной книжкой.

«Разве ж ты человек? Изувер, да и только,— в который уж раз мысленно повторяет Данило. — Да, не один молчит, и гнется перед тобой, и угождает тебе, словно лихой болячке. Но не всякий может наплевать себе в душу. Если уж снимать шапку, то снимать перед богами, да и то по своей охоте... Хорошо так рассуждать, а в это время твоя душа, наверное, просеивается на бумажках этого самодура». Безысходная тоска охватила Данила, он склонил голову и словно стал ниже.

— Вечер добрый, Данило Максимович! — тихонько от луговых верб пропел девичий голосок. — Почему в приселок не идете? — Перед ним с граблями за плечами остановилась смуглолицая Катря Лебеденко, месяц мягко играл в ее глазах, на влажных доверчивых губах и косе.

— Еще успею, девушка.

— Успеете? А кто-то кого-то ждет — дождаться не может,— напевно, ручейком, лепечет девичий голосок, да в этом напеве слышится грусть.

— Может, и тебя кто-то не может дождаться,— дружелюбно, с улыбкой, взглянул на ладную фигурку, словно выхваченную из вечерней пахучей мглы.

— Меня уже не ждет,— вздрогнула девушка, и месяц погас в ее очах.

— Почему, Катря? — насторожился Данило. — Говори, что-то случилось у тебя?

Девушка понурилась, махнула рукой, под косыми стрелками бровок залегла печаль.

— Нет, лучше не надо.

— Почему ж не надо? Может, чем-то пособлю.

— Тут, считай, помощи негде искать,— топольком задрожала девушка.

— Говори, Катря! — уже приказывает Данило.

— Вы же знаете, на этих днях случилась беда с моим родным дядей,— с болью и доверием поглядела на него.

— Ну и что из того?

— А Степочка после этого сразу и отшатнулся от меня... Ведь он теперь в район выдвинулся... Думает еще и выше пойти, а я, выходит, родственница «элемента», и это, говорит, ему на характеристику повлияет.

— А на сердце ему ничего не повлияет? — пролегла злая складка в межбровье Данилы.

— О сердце в характеристике не пишут, там только данные нужны.

— Тогда, Катря, хорошо, что он заранее отшатнулся от тебя. Не запаршивевший хорек, а настоящий орел найдет свою Катрю. Но если еще придет Степочка к тебе, гони его чем попало — палкой, кочергой, скалкой, что под руку подвернется! Ты же у нас как звездочка, а он каплун косноязычный и вообче... — передразнил Степочку.

Катря с удивлением и признательностью взглянула на председателя.

— А мы каплуном Ступача прозвали.

— Ступача? И за что же его так прозвали? — даже повеселел Данило.

— За неумолчный крик. Только вы, Данило Максимович, не задирайте его: недобрый он человек. Это такой, что злобу и в могилу заберет. Не рубите ему все сплеча, а то не с его, а с вашего плеча кровушка потечет. А вы очень нужны нам. Так все говорят в селе и боятся за вас.

— Спасибо, серденько, — обеими руками Данило придержал девичью руку. — Как ты красиво луной подвела свои губы.

— Ой, такое скажете,— Катря стыдливо усмехнулась, потом сжала губы и исчезла в серебристо-зеленоватой синеве вечера.

«Чем тебе не царевна?!» — подумал Данило и, миновав копны, подался в поля.

Над притомленной, завороженной степью стояла такая тишина, что было слышно, как снизу дышит колос, а сверху падают росы и лунное марево. Из настоя увлажненной полыни и ржи волнами пробивался запах уснувшего вьюнка, в его медовую нежность вплеталась пряная горечь глухих полей.

Данило остановился на полевой дороге, где сходились седина ржи и первая, тускнеющая при луне золотистость пшеницы, оторвал от колоса отвисший цветок вьюнка. На ладони его скрученное, в розовой одежонке, тельце исходило слезами, и такая неутешность была в каждой его складке, что снова подумалось о людском горе.

Зашевелились проклятые вопросы, проклятые мысли и боли: они отовсюду лезли в голову, справляли там и похороны, и поминки. И уже глаза и сердце не тешили ни детский шепот колоса, ни тихая звездная пыль, ни лунное марево. А оно сеялось и сеялось на серебристо-дымчатые поля, на далекие хаты, усыпляло людей, которым не спалось, успокаивало землю, когда мучилась она.

«Видишь, он меня кровью накормит, потому что я не склонил своей души к его ногам,— увидел ненавистью наполненные глаза, и недобрые предчувствия холодно зашевелились возле сердца. — Сжать бы его, оторвать рукой все боли. Да не те ткачи их ткали, ох, не те!»

Во ржи что-то зашуршало, и вскоре на дорогу выкатился еж. На его усыпанных росой иголках дробились лунные блестки. На миг он остановился возле людской тени, засопел, принюхался, обогнул ее и исчез в пшенице.

«Ты, еж, имеешь сотни иголок от гадюки, а как спасаться человеку от своей напасти? Даже когда случится со мной беда, о ней заговорят, озираясь по сторонам. Осторожность! Сколько теперь голов заползло под ее неверное прикрытие, а сколько глаз застелил проклятый страх. Кажется, только тела

[illegible] не сдвинулся он. Попытался Ступач как-то на[illegible], вызвал его в сельсовет, поставил [illegible] собой, а сам сидя начал допрос. Старик слу[illegible], кивал головой, а потом и сам загово[illegible] словно судья: «Почему ты расселся перед моими глазами, перед моей печалью и сединой? Разве для этого тебя ученые учили, а государство на должности держит? И где ты такой непочтительности к [illegible] нахватался? Думаешь, все начинается с тебя, с твоего скудоумия, которое ты хочешь выше ума поставить? Со скудоумием и неучтивостью можно идти в свинарник, а не к человеку... Что? Не нравится мое слово? А кому же твое, угрозами начиненное, нравится? И почему оно оплачивается нашими деньгами и слезами? Но это до поры до времени, до [illegible]далекого времени... Ну что я в колокола звоню — это не радость, а горе мое. Когда слышишь, что у какой-то души нету никакого чувства, то пусть над нею черт с ведьмой в заслонку бьют. А я печалюсь и плачу по праведным душам».

Вспомнил об этом Данило и обхватил голову руками.

На развилке, где заканчивались земли его села, зачернел старый крест, поставленный еще в двадцатом году, когда тиф перетаскивал людскую жизнь на кладбище. И сразу же за крестом, в долинке, тихо-тихо лепетала-замирала степная криничка. Ее тоже в двадцатом году, сразу после боя, выкопал Михайло Чигирин. Сколько об его удальстве было сложено былей и небылиц, даже таких, будто он знался с нечистой силой и потому был заговорен от вражеской пули и сабли.

Веселоокого Чигирина не очень смущали такие выдумки, и когда сомневавшиеся спрашивали его об этом, он покачивал головой и лишь иногда, с таинственным видом, нехотя бросал:

— На нечистых и надо нечистого напускать — свой своего пуще боится.

Добравшись до живого ключа, Михайло Чигирин подождал, пока очистится вода, набрал ее в брезентовое ведро, подхватил его пикой, вскочил на коня и гордо поехал полями к ветряку, где после жаркой битвы под крыльями отдыхали его побратимы...

Теперь постаревший Чигирин исправно председательствует в соседнем селе, иногда, хитро прищурив глаз, сетует на Данила за ненужную вспыльчивость и прямолинейность, учит, что порой надо пожалеть умный лоб, чтобы не отвечало за него глупое место, что пониже спины.

Это поучение так убедительно звучало у него, что Данило, забыв свои беды, начинал успокаиваться, и они вместе ехали в поле или к партизанской криничке, за которой теперь понемногу присматривает дед Корний. Он задернил ее, вырастил над нею плакучую иву, возле нее приладил на двух столбиках скамью, по бокам которой вниз головой свисали деревянные черпаки. Отрадно было старику смотреть, как бьется сердце ключа, как неровно дышит вся криничка и напевно перечищает воды. Тогда приходили на память разные годы, даже такие, что были или не были, и горы Болгарии, на которых он пролил кровь, и его Меланка, что отошла от него.

«Жизнь...»

Данило подошел к забытому кресту. Давно уже на нем ничего не было, кроме серых печатей лишайника. А теперь на нем Данило заметил рушник. Чья измученная душа принесла свою жертву и мольбу на перекресток глухих дорог?..

Не перед крестом, не перед богом, а перед чьим-то страданием снимает Данило картуз, и лунный дождь падает в его печальные глаза. Колыхнулся рушник, и колыхнулись на нем кроткие голуби любви. Где он видел их? И кому они ворковали о верной и чистой любви? И что теперь, кроме горя, осталось от той любви?

Под голубями свежими комочками земли чернели старые замысловатые буквы, какими теперь не пишут. Данило приподнялся на цыпочки, прикоснулся руками к рушнику и нашел на нем четыре слова мольбы: «Боже, спаси раба Ивана».

Рушник встрепенулся, и голуби отлетели от человека. Но Данило уже знал, кто принес свое горе на перекресток глухих дорог. Это тетка София, ничего не вымолив у людей, пришла с поклоном к богу и своего отчаянного Ивана нарекла рабом божьим. Как бы он кипятился и чертыхался, если бы узнал об этом. Да вряд ли узнает, вряд ли! Голуби любви снова бессильно припали к кресту, что смотрел в мир мертвыми глазами лишайников.

— Не спится, сыну? — послышался позади глухой, с табачным хрипом и давней простудой, голос. Посреди дороги стоял седой, весь в белой полотняной одежде дед Корний, от него пахло ульями, самосадом и застарелым деревом. Он подал председателю оплетенную жилами и до блеска натертую деревянными ручками плуга и веревками колоколов руку.

— Не спится,— поклонился старику.

Дед Корний одной печалью глянул на Данила.

— Откуда же, дитя, такая зловещность пала на нас? Ты не думал над этим? Или из-за планов выполнения да перевыполнения и не было времени думать?

— Ох, думал, деду, уже мысли в голове не вмещаются.

— А кто-то, верно, не очень болея и думая, ухватился за черные бумажки, за крик, за метлу железную, да и зарабатывает на этом выдвижение. А дурость на выдвижении наделает нам больших бед: одних людей придушит, других повернет к богу, третьих — к злобе, умным пригасит разум, и они замолчат в горе, а нахальным умножит нахальство, и они пойдут красоваться, как мухоморы. Так придет ли, сыну, через такие трудности настоящая мудрость к нам?

— Непременно придет, дед Корний, непременно! Иначе не может быть,— с верой и мукой глянул Данило на старика... — Вот увидите!

Дед грустно покачал головой.

— Может, и так, может, и так, вам, молодым, виднее. Это мне и Михайло Чигирин говорил. А я

[illegible] пал — человек есмь, старый человек [illegible] и [illegible]; почему же то добро должно [illegible] нашим печалям?

И на это Данило ничего не смог ответить. Невольно потянулся к старику, обнял его и, боясь предательской слезы, быстро пошел к своей Мирославе.

А старик еще долго, покачивая головой, смотрел ему вслед, потом взглянул на рушник, перекрестился на голубей любви, да и начал думать и о житейском, и о том, что уже заглядывало ему в притомленные мудрые глаза, звало в последний путь.

«И натрудились, и назвонились вы за свой век,— поглядел на свои годами подсушенные ладони. — Время, чтобы и над вами кто-то зазвонил. Только кто? Не всякий понимает печальную душу колоколов. Не пора ли сходить к вербивскому звонарю? Наверное, пора...»

Далекие миры, и звезды, и луна, и движущиеся поля, и сенокосы с копенками сена, и колокольня подступили к старику. Прислушиваясь к неровному дыханию земли, в думах, в тревогах, в горьких надеждах медленно пошел мерить свой последний путь дед Корний.

Вот он узенькой тропинкой пошел в безмолвие червонной пшеницы, стебли которой держали на себе и вбирали в себя мглистость [illegible] сна. «Это святой Юрай полями ходит, хлеб-жито родит»...

К старику отовсюду потянулись золотые сережки увлажненного колоса, потянулась и дремота, а в тело медленно-медленно начала впитываться [illegible] далеких-далеких лет. Даже оглянулся вокруг: не увидит ли их? Да увидел только тени, [illegible] лучись переходили с поля на поле.

Разве ж не этими полями в жатвенную пору он возвращался домой со своей [illegible] чернобровой женой, на руках которой то плакал, то агукал, то спокойным снопиком засыпал беленький узелок? И тогда не надо ему было ни маминой груди, ни маминой колыбельной, так как ее нашептывали колосья, шептал белочубый сон, шептали четыре брода, и привязанные, и непривязанные челны на них, и вербы над ними.

— Ты только погляди, как он спит! — счастливо оборачивалась к нему жена, и они оба наклонялись над сном ребенка.

— Хороший будет пахарь, если найдется для него земелька.

Шестерых словно в солнце выкупанных красавцев пахарей народила ему жена то в полях, то в лугах возле бродов, то в хате, в окна которой всегда заглядывали или подсолнухи, или солнце. Войны унесли половину их сыновей, а печаль унесла жену на кладбище, и самым большим утешением стали в старости ему колокола да внуки.

«Хорошо, что хоть у них, пока маленькие, меньше хлопот, чем у сыновей».

И то ли далекие годы, то ли колос, то ли хата [illegible] ему:

Ой колишу колисочку,
Ой голишу колисочку
Яворову,
Щоб у ній росла,
Щоб у ній росла
Дитина здорова.

Он протянул руку над полем так, будто в ней было зерно, и сказал далям: «Растите, дети, здоровые, растите красивые, растите работящие и добрые».

Нивы вбирали в себя тихие слова старика, как вбирали когда-то его посев, и вбирали посев месяца и голос перепелки, что кому-то советовала заснуть на ночь, а ему навсегда. Да разве это страшно, если ты честно прожил свой век?

Через хлеба старик вышел к татарскому броду, что спал и не спал под всплесками волны и рыбы. Вот тут когда-то ордынцы гнали ясырь в Крым и все до единого погибли от войска Ивана Сирка, как должно гибнуть все жестокое на свете. И до сих пор в непогоду стонут эти берега, ибо тяжелое время ходило по ним и впечатало свои следы в память земли.

От татарского брода Корний добрел до девичьего, где на лугу то ли недвижно стояли, то ли чуть-чуть шевелились нарядные копны сена. А на плесе, словно деды, сивели и плыли по течению клочья тумана. Вот в этом броде под Новый год он встретил свою судьбу — свою Меланку, что возвращалась от родни из приселка. От неожиданности она вскрикнула, потом засмеялась, будто серебро рассыпала на подсиненном снегу.

— Ты чего смеешься? — не нашел ничего лучшего спросить он, а в душе что-то ёкнуло и остановилось.

— Потому что тебя увидела,— и такой улыбкой озарила его, будто весна встала рядом с нею.

— Такой я красивый?

— Как месяц молодой.

— Умеешь ты сказать,— забормотал растерянно и взял ее за рученьки. Они вздрогнули, рванулись, а потом притихли в доверии, в ожидании. — Озябли?

— Озябли, Корний.

— Тогда я в шапке погрею их,— снял свою высокую смушковую шапку.

Девушка начала отнекиваться, но он втиснул ее руки в шапку, и пошли они по льду к берегу. А на берегу, возле заснеженных вербочек, Меланка так славно запела ему:

Ой учора ізвечора
Пасла Меланка два качора.
Ой пасла, пасла — загубила,
Пішла шукати — заблудила.
Ой вийшла у чистее поле,
А в полі Корній плужком оре.
Ой оре він, оре ще й сіє,
А за ним рілля зеленіє...

Напахался и насеялся он за свой век. И чернела, и зеленела, и сивела перед ним и за ним нивы, а теперь уже и он поседел, как долгий век: старость хоть кого одолеет. Вот и пора прощаться со светом. И взглядом прощальным посмотрел на те старые вербы, что были вербочками, когда возле них стояла его Меланка.

«Спать пойдем, спать пойдем...» С шорохом нивы, с шорохом старых верб, с пением перепелки он до-

[illegible] до села и направился к колокольне, в которой [illegible]рь дремали и праздничные, и скорбные голоса [illegible] колоколов. Корний открыл двери колокольни, и вдруг такая слабость охватила его, что должен был, держась за дверной косяк, опуститься на ступеньки. Неужели это пришел конец?

Лунный свет падал ему на седую голову и отражался в глазах. На леваде застрекотал коростель, а над головой не звонили, а шелестели колокола, да все равно их голоса начали входить в тело, и все оно отозвалось гудением. Тогда скорее, скорее к внукам, а то и попрощаться не успеешь.

Утомленный, вспотевший Корний едва доплелся до своего двора, а со двора до садочка, где, разбросавшись, спали белочубые внучата, как когда-то спали его сыновья. Наглядевшись на то, что называлось жизнью, он наклонился к детям, коснулся их губами, а колокола, что заполняли его тело, начали поднимать его вверх. Он вытянулся, рукой, словно землю, благословил внуков:

— Растите, дети, здоровые, растите хорошие, растите красивые и добрые.

Проснулась его самая младшая невестка, с тревогой взглянула на него.

— Ой, таточку, что с вами?! — Дремотность слетела с ее лица, продолговатых глаз и длинных ресниц, а руки крестом легли на грудь.

— Ничего, ничего, не тревожься, доченька. Это мой последний час за дверью стоит,— и оглянулся, словно мог его увидеть. — Не буди детей. Может, до утра доживу возле них...

Да колокола, что были в нем, застонали и начали опускать крылья...

XVII

На подворье Мирославы дремотно стояли стожки сена. Возле перелаза с черных черешен свисали тяжелые капли росы, и земля откликалась на их перестук. Скрипнула дверь, на пороге застыла гибкая девичья фигура с волосами русалки.

— Данилко, почему так поздно? — обиженно и радостно прошептала она, покачиваясь на пороге, и на ее плечах тоже покачивались распущенные волосы.

— Будто соскучилась?

— Бессовестный! — Надула губы, отвернула голову к косяку дверей.

— Вправду бессовестный?

— Соскучилась по тебе, так соскучилась,— с доверчивостью потянулась к нему.

И то ли от пережитого за эти дни или от чего-то другого к сердцу Данила подкатила такая волна благодарности к девушке, к ее вере, к ее любви... Неужели не понимает, что черная тень ложится, а то уже и легла на их любовь?.. Чем это только кончится?.. И смотрел на девушку, как на утреннюю звезду, а затем, словно ища защиты, так обнял ее, что Мирослава перепугалась:

— Данило, родной, что с тобой? Так перед смертью обнимают... Ой, что я, глупая, сказала? Напугал ты меня.

— Пугливая ты стала... — Он задумчиво поглядел в ночную даль и [illegible] вздох.

— Ты вечерял? — Мирослава успокаивающе положила ему голову на грудь, а он вплел руку в ее волосы.

— Вечерял с косарями.

— И снова галушки?

— Галушки.

Они зашли в хату, ее пол курился лунной пылью. Данило легко поднял девушку на руки, бережно положил на кровать, застланную полосатым рядном, и склонился над ней.

— Как хорошо, когда ты есть, такой сильный, такой славный,— улыбнулась и вздохнула Мирослава.

Он прикоснулся к ней рукой. А в это время послышалось гудение машины. Почему оно так насторожило его? Гудение нарастало, в окна ударил свет, и крестовины рам в его лучах испуганно метнулись по стенам к столу.

— Ты чего забеспокоился? — спросила Мирослава.

— Ничего, ничего... — Данило взглянул на окна, в которых дребезжали стекла от гула машины. «Остановится или нет? Пошла дальше. Что это со мной?» Он снова склонился над Мирославой, заглянул в ее полузакрытые глаза. — Как хорошо, что ты есть на свете. Самая лучшая!

— Так уж и самая лучшая? — От счастья в ее голосе прорвались те низкие звуки, которые так волновали его.— Только без этого! — отвела его руку.

— Можно и без этого,— пробормотал Данило, привлекая ее к себе и задыхаясь от запаха ее волос. — Чем они пахнут у тебя?

— Степью, любимый.

— Евшан-зельем тоже?

— Наверное. А у тебя чуб словно вытоптанная рожь.

— Если бы только вытоптанный чуб...

— Поспи хоть немного.

Он положил руку на ее грудь, и она не отбросила ее, а снова повторила:

— Засни, любимый. — В ее голосе прозвучала не любовь, а материнская забота...

Сон как-то незаметно отдалил его от девушки, перебросил в притемненную степь, в цветение подсолнухов и в луга со свежими копенками сена. А Мирослава долго-долго смотрела и насмотреться не могла на своего Данила, который даже во сне сердился и на свою судьбу, и на тех, кто выкручивал ей руки... С такими грустными думами и она погрузилась в сон.

И не успели забыться, как на подворье мягко затопали чьи-то шаги, как зашумели росами испуганные черешни, как зашипела земля. Сказка любви, молодости и ночи усыпила обоих: сейчас на белом свете, на черной земле было их только двое.

Но вот на окно, как ночная птица, опускается чья-то рука, тревожно зазвенело стекло.

— Ой, кто там? — соскочила на пол Мирослава. За ее спиной лунными бликами взметнулись волосы.

— У вас Данило Бондаренко? — слышит Данило [illegible] голос Гарматюка и не понимает: зачем он [illegible] забрел сюда?..

«Выскочить в другое окно?» Данило поднял занавеску. Из окна лунная ночь надвигается на него, словно хочет войти в его глаза.

Рука настырно клюет стекло.

— Гражданка Сердюк, у вас Данило Бондаренко?

— Кто это? — испуганно смотрит на Данила.

— Наверное, из колхоза кто-нибудь,— обманывает ее.

— У меня, у меня,— с облегчением выдохнула Мирослава.

— Пусть выйдет во двор.

— Что ж это, Данилко? — тревога снова вцепилась в девичье сердце.

— Ничего, ничего... — как мог, успокаивал ее, а в голове стучала та же самая мысль: «Как же это?.. Неужели лучший друг арестует меня?»

— Не ходи, Данилко, я боюсь! — Мирослава обхватила его, когда он встал на пороге.

— Подожди, любимая... Успокойся, я сейчас. Какое-то дело есть ко мне.

Оторвал от себя девушку. Она, вздрагивая, бессильно прижалась к косяку, а он, чувствуя, как замирает его обескровленное сердце, вышел из хаты.

В тени возле порога настороженно стоял Гарматюк. Он, заскрипев новыми ремнями, сделал шаг вперед и чужим, одеревеневшим голосом пронзил его грудь:

— Данило, ты арестован.

Пошатнулось, взорвалось небо, и бешено закружилась перепуганная звездная метель, она с небом валилась на него, валились деревья, и стрехи, и тени. Данило хочет удержать их, но может показаться, что он поднимает руки вверх; он прикладывает руку к сердцу, которое словно оборвалось, и не ощущает его, только чувствует, что опустошенной стала его душа.

— За что? — спрашивает не голосом, а опустошенной душой, что, кажется, даже загудела...— За что?

— Есть санкция Ступача...

Этот удар и рассек, и собрал его волю. Печаль глухих степей и печаль его предков до боли поразили его душу.

— Неужели ты, ты можешь поверить, что я враг? — Он смотрел в глаза друга, как в свою душу: не воскресит ли в них пору былой юности, не воскресит ли чувство верности, что соединяло и поддерживало их? Но на глазах Гарматюка, на его лбу, на его морщинах лежали и свои, и чужие тени. — Значит, и у тебя линяет душа, как шкура гадюки? — отрезал с болью и ненавистью.

— Не трогай сейчас моей души, без тебя достается ей,— еще больше нахмурился Гарматюк.

Настежь распахнулись двери, и Мирослава припала к Данилу:

— Скажи, почему пришли за тобой, почему?

Гарматюк отвернулся.

— Да успокойся, Мирослава. Надо в город поехать,— тихо сказал Данило, и даже как-то сумел улыбнуться ей, и коснулся рукой ее волос. Упадут ли они когда-нибудь на него пахучим дождем?

— Ночью ехать? — заглядывает ему в глаза Мирослава, и он прячет их от нее.

— Ночью. После Купала ночь перевешивает день. Ты не запирай двери — я скоро приеду. Слышишь: не запирай двери!

— Правда? — радость сразу высушила ее слезы. — А я так чего-то напугалась... — виновато улыбается ему и взглядом, и губами. — Так я буду ждать...

— Жди, любимая... — Взял ее за плечи и легонько толкнул в сени. На что он надеялся?

Когда за ней закрылась дверь, вздохнул и сквозь зубы сказал Гарматюку:

— Пошли.

Сразу же за хатой звенела и сладко пахла росой гречиха, за ней, щитами на восток, стояли подсолнухи, они ждали солнца, и Данило позавидовал им: он уже не видел перед собой солнца — оно было позади него.

Молча остановились на краю дороги. Данило потянулся рукой к подсолнуху. В его сердцевине отдыхал после работы шмель, с прозрачных крылышек стекала лунная роса.

— Где же твоя машина? — кусая губы, с болью и презрением взглянул на вчерашнего друга. Холодный пот выступил на лице Гарматюка, на виске дергалась и корчилась неспокойная жилка.

— Машина к твоей хате поехала.

— Меня там ищут?

— Ждут.

— Чего же ты?..

— А, не спрашивай... Разве так думалось... Данило, скажи, как на духу: ты не знаешь, не догадываешься, за что тебя...

— Во враги записали? — резко подсказал Данило. — Знаю, догадываюсь.

— Вправду? — еще больше нахмурился Гарматюк. — Ты можешь сказать?

— А для чего это тебе? Веди уж к тому, кто дожидается моей души.

Гарматюк вздохнул:

— Еще успеем, некуда спешить... Если б можно было на каком-нибудь рентгене просветить людскую душу... Так за что?

— За то, что я не захотел двурушничать ни перед крикливым Ступачом, ни перед молчаливой землей, за то, что я хочу, чтобы люди земли ели хлеб, а не пальцы грызли, за то, что не бросаю зерно в мерзлую могилу, а жду тепла и срываю график Ступача, потому что люди едят не график, а хлеб. Но для равнодушных сердец главное не суть человечности, а крикливая цифра. Ступачи же издеваются над землей, выдавая это издевательство за новаторство. Не подумай, я тоже за новаторство, но — ученых, а не выскочек, которые сумели на свое бесплодие и невежество натянуть тогу ортодоксальности и модных фраз. Такое левачество немало наделает нам беды, пока люди не увидят, что короли были голые. И от них я должен оберегать землю, ибо хочу, чтобы на

земле хлеб рос без людских слез. Погляди на мое поле, тогда и увидишь мою душу. Разве такую пшеницу, такую рожь, такую гречиху, такие подсолнухи могла вырастить вражеская рука? Ты веришь в это? Ты же сам пахал землю! Веришь?

— Не верю, Данило,— тихо ответил Гарматюк. Он покачнулся, обнял своего друга, прижался щекой к его щеке, но не поцеловал. — А теперь иди, Данило. Иди куда глаза глядят, куда знаешь... Но если попадешься, должен говорить: не видел меня. Мы разминулись. Не подведешь?

— Да что ты? — растерялся Данило. — Разве я тебя когда подводил... разве что сейчас... А как же ты?

Гарматюк нахмурился, недобрый блеск промелькнул в его глазах.

— Может, выкручусь. Может... Пусть никогда между нами не будет братоубийства. Иди.

— Подумай — головой рискуешь!

Парень озлился:

— Эх, что там голова... На ярмарке глиняные горшки сейчас дороже ценятся... В село не заходи. И к Оксане тоже. Иди, пора!.. Только куда же ты пойдешь?

— К Ступачу! — и сжал кулаки.

— Сумасшедший! — возмутился Гарматюк.

— Какой уж есть.

— И что ты будешь с ним делать?

— Вытряхну мерзкую душу!

— Хватайся за более умную мысль. Даешь честное слово, что не пойдешь к Ступачу?

— Должен дать,— склонил голову Данило.

Гарматюк обнял его и теперь поцеловал в щеку. Веря и не веря в то, что случилось, Данило, пошатываясь, пошел к татарскому броду, в котором вниз головой повисли хаты и аисты на них. У берега оглянулся. Возле подсолнухов уже не было его друга.

XVIII

Никто не знает, где его судьба. Данило верил, что его судьба — в труде, в неусыпном труде, в любви к земле, к колосу, к человеку.

До этого страшного вечера у него была большая любовь: и к верным девичьим очам, что таили в себе привлекательность и чары, и к седой мудрости, в надбровье которой сходились два века, и к материнству, что несет возле груди не белые узелки, а наше будущее, и к тому далекому пахарю, что на горизонте шел за плугом, и к той жнице, что держала на руках снопы и лето, и к тем аистам, что с рассветом будили его или он будил их.

Данило любил смотреть, как, изгибаясь, волнуя душу, чуть не до самого неба летели нивы, и радовался, когда июнь набрасывал седину на рожь, а золотистость на пшеницу; он любил слушать на рассвете, как июль отбивал косы, как август целыми днями тиховейно сеял в спокойную землю зерно и надежды, а сентябрь приглушал полусонную песню шмеля; он любил слушать, как летние вечера зве-
нели головками маковок, а осенние взрывались звез-
допадами; он любил запахи свежего хлеба и золо-
тую задумчивость подсолнухов; доверчивый и вне-
чатлительный, он тревожно прислушивался к чьей-то
жизни, и к течению воды, что лепечет и играет в
корнях прибрежных ив, и ко всей своей хлебороб-
ской стороне, что издревле держится на седой ржи
и добрых руках спокойных пахарей.

Вот и сейчас заиграла вода в корнях, но он не
обрадовался — вздрогнул. Все это, что прежде было
его,— уже не его, и уже не хозяином он идет по
своей земле, а испуганной тенью, которую пугает
пение воды в корнях и всплеск весла на татарском
броде. Гей, броде татарский... Два берега, два ме-
сяца тут, а жизнь одна, да и та неполная...

Большая обида, большая боль и первая уста-
лость духа обессилили его тело, растравили сердце,
затуманили мозг. Вот и ворвалась в твою молодость
осенняя тоска, и не выбросишь ее, и не избавишься
от нее.

Жаль было себя, жаль было дел и замыслов сво-
их, жаль было света белого, на который еще и на-
глядеться не успел. Знал только одно: за этот свет,
за родную землю сумел бы достойно умереть. И на
поле боя он был бы косарем. Так почему же и кто
делает его врагом? То копыто, что привыкло вби-
вать примитивы в головы да гвозди в ветряки? Что
бы там ни было, а он вовеки не станет глиной в та-
ких руках... Но как же не станешь, если тебя вы-
рвали из земли, словно стебель, что только-только
начал цвести,— с нивы?

Скошенными от боли глазами, прощальным взгля-
дом поглядел он на татарский брод, где зыбкая вол-
на играла в жмурки с лунным сиянием, на долину,
за которой туманилось болото; в давние времена
люди прятались там от орды. Вот туда, верно, ле-
жит его дорога: если и будет погоня, то вряд ли кто
отважится сунуться в это гиблое место. А может, и
в самом деле надо не хозяином быть, а поддакивать,
тихо сидеть в своем дупле и все делать с чужого
голоса и приказа, каким бы он ни был? Нет, он не
виновен ни перед людьми, ни перед государством.
Только это и может быть его оправданием. Но как
мало этого для ступачей, которые забыли, что про-
шли времена бессловесного послушания. Что же в
тебе, Ступач? Ложка подлости, ложка угодливости
и ведро честолюбия! Так неужели эта мешанина
должна обрекать кого-то на гибель?

Вихрь мыслей. Темный вихрь мыслей. Данило
барахтался в них и выбраться не мог, он шел с ни-
ми, с болями и омерзительным ощущением холода
и страха. А над ним, в ночном куполе неба, высве-
чивалась луна и серебряными веревочками подтяги-
вала к себе и покачивала обезлюдевшую землю и
ее тени, покачивала, как и тогда, когда Данило, па-
дая от усталости, возвращался с матерью домой.
Тогда луна садилась на плечо матери, где покоился
серп, тогда руки матери пахли зрелой рожью и пше-
ницей, а на ее губах лежала вдовья печаль.

«Утомилось, дитя? Вот мы сейчас домой придем,

[illegible] на минуту возвратился в [illegible] материнской руке, увидел ее плечо, [illegible] луна, услыхал ее песню, в ко- [illegible] журавль да журавка...

[illegible] за подсолнухами, там, где стоял яч- [illegible] услышал шарканье косы, и это не по- [illegible], всполошило его. А он так любил косови- [illegible]! Когда видел белую вереницу косарей, [illegible]: она выходит из лона самой истории.

Данило остановился, прислушался. Кто ж это такой нетерпеливый первым вышел на жатву? По [illegible] он поднялся к подсолнухам, что собирали в [illegible] миски лунный сон, тропинкой вышел к ячменю и впереди себя увидел высокую фигуру косаря, который широко и красиво захватывал полосу покоса. Ячмень вспыхивал на грабках[1] и тут же, скошенный, гас, вспыхивал под луной и соломенный брыль косаря. Данило все отдал бы, чтобы только стать таким косарем, вести свой широкий покос себе на радость, людям на добро. Да, выходит, и этого простого счастья он не может иметь.

А косарь неторопливо, уверенно дошел до конца поля, подбросил косу, умостил ее на плече и направился вдоль покоса назад. Так это ж Лаврин Гринич. Данило пошел ему навстречу.

— Не спится, Лаврин Ярославович? — спросил косаря, а сам пристально оглядел его: знает ли, что случилось с ним? Нет, кажется, ни одна жилка не дрогнула на лице человека.

— Я никогда спокойно не сплю ни перед сенокосом, ни перед жатвой,— косарь смущенно улыбнулся.— Меня тогда луна волнует, словно беременную женщину. Природа! Какой славный ячмень у нас в этом году!

— Славный,— с болью посмотрел, как с ячменного уса стекало и стекало лунное марево. Неужели он в последний раз видит его? — Дайте мне косу.

— Хотите косить? — удивился Лаврин. — Зачем это вам... ночью?

— Пройду хоть один покос. Правда, я такой широкой полосы, как у вас, не захвачу.

— У каждого свой размах — один в руках, а другой в душе. — Лаврин снял с плеча косу, отдал председателю.

Данило подошел к подсолнухам, обернулся, они своими орошенными решетами задели его плечи, и ему стало приятно от прикосновения этого шершавого груза лета. Вот и вошла коса в ячмень, он зашипел, словно его подожгли снизу, а с длиннозубых грабков лег на стерню. И снова наступило какое-то облегчение, да его приглушила горькая мысль: неужели это моя последняя косьба?

— Ровно ведете, как по шнуру,— похвалил Лаврин и вздохнул.

— Что тебе-то вздыхать, человече? Я на твоем месте земли бы не чуял под собою. Почему мы не [illegible] ценить простых радостей жизни до первого [illegible], до первого несчастья!

---

[1] Грабки — род длиннозубых граблей, прикрепленных [illegible]

Данило дошел до дороги, и тогда Лаврин взял из его рук косу.

— Чего вы? Я пройду еще один покос.

Косарь отрицательно покачал головой.

— Не надо, Данило Максимович.

— Почему?

— Вам пора идти.

— Куда?

Лаврин опечаленно взглянул на него:

— В свет. А свет не без добрых людей. Не люди, а только Ступач с мелкой душонкой замахнулся своей косой на вас. Так идите. Через какое-то время, надеюсь, все перемелется, тогда мы и накосимся, и напашемся, и насеемся вволю. А сейчас вам надо идти...

«Мне ли такое говорят, или это только сон?»

— Какой же дорогой идти?

— Неприметной. До сегодняшнего дня вы шли очень приметной дорогой, и не все этому радовались: злобный да ленивый не порадуется труду работящего. А теперь, до какого-то времени, вы должны приутихнуть. Берегите себя, ведь вы ой как нужны людям. — Лаврин вынул из кармана кисет. — Возьмите на дорогу.

— Я же не курю.

— Беда научит.

Он взял кисет, обнял косаря, а тот слегка сжал его своими могучими руками.

— Идите, а то кто-то, может, тоже не спит, разыскивая вас. Будьте счастливы.

— Какое уж там счастье.

— Что ж, и счастье не бывает без чьей-нибудь зависти. Идите.

— Сейчас побреду. А вас попрошу заглянуть в мою хату. Ключ на завалинке под дощечкой лежит, там откройте сундук, а сверху, в ящичке, найдете деньги. Занесите их вдове Пастушенко. Пусть моя копейка ее малым детям поможет... Вот и бывайте.

И Данило, погрузив руку в ячмень, одиноко побрел низиной к тому гиблому куску земли, над которым нависли клочья тумана, а позади еще долго раздавалось шарканье косы: косарь делал свое.

На журавлином лугу Данило остановился, тоскливо огляделся вокруг себя. Куда же он уходит?.. Нет, это от него уходило лето, уходила дремота колоса, уходила судьба. Догоняй — не догонишь, и все равно надо идти... Когда-то, в детстве, он верил, что на краю земли стоят золотые ворота, а за ними восходит солнце. А где же теперь его ворота и что — за ними? Наверное, все лихое, а не солнце. Ссутулившись, он потянул за собой сгорбленную тень, и казалось, что даже она сейчас имеет вес.

Позади послышался приглушенный вскрик. Данило испуганно оглянулся. К нему неровно, как луговая чайка, бежала какая-то женщина.

Вот она остановилась возле одинокой вербы, умоляюще подняла руки. И на них, и в широкие рукава сорочки начали наплывать тени или небо.

«Кто бы это? Неужели Оксана? Так оно и есть».

С [illegible] руками Оксана добежала до него, [illegible], упала ему на грудь, накрыла незаплетенными со сна косами.

— Данилко, братик, за что же тебя? За что осиротили нас?.. — и такая печаль, и такая вековечная тоска матерей была в ее голосе, что у него задрожали веки.

— Не плачь, сестра, не надо.

— Это не я, это моя доля плачет,— сказала давними словами. — Как же мне без тебя жить на свете? — и оглянулась на мир, что молча поднимал травы, раздвигал колос, дрожал лунной печалью и откликался скрипом коростеля.

— Детей, Оксаночка, береги, да хоть иногда вспоминай меня. Иди.

Он трижды поцеловал сестру, оторвал ее от себя и быстро пошел к болоту. Когда оглянулся, Оксана еще стояла на журавлином лугу, придерживая рукой сердце.

Там, где луг переходил в болото, ему на глаза попалась трилистная вахта, та целебная трава, что лечит человека и предупреждает: не ходи дальше — там уже начинаются опасные места.

Весной вот здесь, в осоке, на кочках, он вспугнул выводок дупелей. Вылетели они из-под самых ног, и только тогда Данило заметил их гнезда. «Мы по гнездам ступаем ногами»,— пришли на память чьи-то слова, и он вздрогнул — нашел что вспомнить.

Прошел еще какое-то расстояние, и болото дохнуло на него тяжелым запахом тины, нитчатки и того зелья, которое колдуньи собирают для своей отравы. Под ногами начала мягко прогибаться прогнившая почва, которая неведомо что скрывала под собой и зачем-то прикрывала смертельные продушины безобидными незабудками. Днем эти окна можно обойти, а как ночью, в обманчивом свете луны? Поворачивай, человече, пока не поздно, назад. Но к кому, зачем? Что ты оставил там?.. Свой труд, свое лето, свой колос. Но они безмолвны, не могут защитить тебя... Нет. Назад возврата нет.

Болото, точно живое, хватало его за ноги, зловеще чавкало, вздыхало, затем начало хрипеть, словно в его глубинах проснулись голоса затянутых им людей.

Страх пополз по спине Данила. Казалось, знал же, как перейти это гибельное место, да вот сбился в темноте. Еще этого не хватало ему. И вырвется ли он из этого предсмертного хрипения или останется в нем навеки, будто и не было на свете человека?

Дурманящий сок, дурманящие травы вокруг, дурманящие мысли в тебе. А надо жить, надо же как-то жить! Не только ведь для себя, он еще и кому-то нужен. А может, и не нужен с сегодняшней ночи? Какую колдовскую силу имеет бумажка, когда на нее ляжет бездушная рука изверга...

Разрывая болото, утопая в нем, вырываясь из него. Данило выбивается из сил, страх и отупение охватывают его, ибо не знает, куда ему брести и как выбрести из страшной западни. И вдруг вместо предсмертного хрипения топи он слышит впереди чистое переливчатое серебро птичьего голоса. Так это ж подала голос предрассветная журавлиная па[illegible] ба!

«Были себе журавль да журавка...» Вот и иди к ним: осторожные птицы хоть и живут на болотах, но гнезда вьют на сухом.

И, оживая, Данило пошел на тот журавлиный голос, что, словно судьба, окликнул его и замолк. Вот впереди затемнели кусты ольхи, он добрался до них, а за ними во тьме блеснул черный тяжелый плёс. Теперь можно и вздохнуть: тут не такое гибельное место. Он пробирается к воде, которая нацеливается на него копьями частухи и стрелолиста, вспугивает пару лысух, что ногами и крыльями бьют по плёсу и долго не могут оторваться от него. Выходит, и тут есть жизнь. Но где тот журавль, что спас его? И чем отблагодарить тебя, добрая птица нашего детства?..

В черной воде Данило умылся, вымыл сапоги, стоя передохнул и пошел по-над берегом. Он напал на едва заметный след человека, что петлял по болотам. Идти теперь было легче, хотя и увязал. Трясина уже не отзывалась голосами тех, кто остался в ней. Вот и вербы словно вышли из тумана, и неожиданно за ними он увидел привязанных волов. На роскошных полумесяцах их рогов крошилось лунное сияние, а в косых глазах стоял покой степи или далекого прошлого. И этот покой ножами полоснул Данила.

За болотом какой-то чародей сразу преобразил землю: холмами пошла она вверх, ближе к луне, и от такой радости бросила в золотой танец чубатые подсолнухи, а за подсолнухами засияли живая рожь, и пшеница, и овес, и ячмень, и замигал белыми и фиалковыми огоньками картофель и все то, что живет для человека и чем живет человек.

Праздничными нивами, заброшенными дорогами, полузабытыми тропинками он дошел до Копайгородка, что никогда не был городком, а только обычным селом, которое упоминалось еще в летописях тринадцатого века и входило в состав загадочной Болоховской земли.

Уже совсем побледнели месяц и звезды, когда он по-за огородами добрался до причудливых ворот своей тетки: они упирались не в деревянный столб, а в изъеденный камень плосколицей половецкой бабы, что стояла когда-то на подворье у Горденко. Века бросили тени на продолговатые глазницы, на обвисшие груди неразгаданного камня, которому поклонялись половцы-кипчаки. Где те половцы, перед которыми трепетали даже печенеги, где их дикая сила, где их жажда разрушения? Все это кануло в небытие, истлело, сгнило в земле. А после них на земле остался только отголосок творения — этот загадочный камень с плоским лицом и плоской неприкрытой грудью.

Вот и подворье тетки Марины. Из-за дровника Данило взглянул на хату и оторопел: прямо из белой стены к нему потянулись жаркие подсолнухи. Какая-то чертовщина... Не умопомрачение ли нашло на него? Боясь за себя, еще сделал шаг к стене и

[illegible] это же рисованные цветы выходили [illegible] дотянуться до живых. Вот какое ди[illegible] [illegible] руки его родной тетки. Как-то [illegible] примет его? И стучаться к ней или не стучаться, чтобы не накликать беды на это доброе жилище, которое собрало краски со всей земли? Но куда же ему деваться теперь, если уже скоро и светать будет? Сейчас он боится утра. Только от одного [illegible] можно лишиться сердца. Данило нерешительно постоял под защитой рисованных подсолнухов, нерешительно постучал в окно и, сам испугавшись стука, глянул на улицу. В хате послышались шаги, как ему когда-то давно-давно слышались материнские шаги, потом зажегся свет и к окну припало встревоженное лицо тетки:

— Кто там?

— Это я, Данило.

— Ой, Данилко! Я сейчас!

Тетка отпрянула от окна, засуетилась, забегала по хате, видно ища одежду, потом подбежала к дверям, застучала засовом и упала в объятия Данила. В ее еще суженных ото сна глазах было столько искренней радости, что захотелось припасть к ней отяжелевшей головой, как когда-то ребенком припадал к матери!

— Какой же ты молодец, что надумал проведать свою тетку! Пойдем же в хату!

Он переступил порог и вошел в запахи раннего белого налива, свежего хлеба и свежих красок. На стене, недалеко от красного угла, в рамке из потемневшей осины красовался теткин рисунок: на лесной поляне высоко, по-аистиному, поднялась копенка сена, а неподалеку от нее, на сенокосе, с косой и граблями стояли журавль и журавка. Древлянский наивный мир трогательно смотрел на человека вещими глазами птиц и покоем лета. «Были себе журавль да журавка...»

— Садись, Данилко. Я сейчас постель уберу, соберу завтрак,— веретеном закружилась тетка.

— А может, не надо? — Данило в изнеможении опустился на скамью.

— Почему ж это не надо? Разве я гостю не рада? — Марина, неся улыбку под ресницами, подошла к Данилу да сразу же встревожилась: — Ты что так осунулся? Не захворал ли случайно?

— Нет. — Данило подошел к лампе и погасил ее.

— Это зачем же?

— Чтоб не накликать на вас лиха.

— Что же случилось, Данилко?! — вскрикнула женщина и тревожно повела тонким станом.

— Так вот, тетушка, и я попал в беду — хотят меня арестовать.

— Тебя?! — застонала, не поверила женщина. — Не шути так страшно. Неужели это правда?

— Как слышите. Вот и пошел я из своего села, сам не зная куда.

— Хорошо сделал, что ко мне прибился. Только чем же я тебе помогу? — Она беспомощно припала головой к его груди, а руками отыскала его руки, причитаниями заговорила с ними: — Ой, рученьки родные, сколько же вы дел переделали, сколько вы людям пособляли, сколько же вы житечка посеяли, а теперь и к вам пришло горе!..

Он увидел на поле свое жито с туманцем, с росою-слезою и почувствовал росинку у себя на ресницах.

— Не надо, тетя Марина, не надо,— касается рукой ее лица, ее волос, что пахнут летом и сном.

Женщина отклонилась, взглянула на него:

— Что ж мы, Данилко, будем делать? Я же собиралась осенью на твоей свадьбе погулять, а видишь, какой свадьбы дождалась... А Мирослава знает?

— Да уже, наверное, знает. Плохая весть не лежит.

— Только бы жить да радоваться вам. И какой лиходей убивает жизнь?

— Если можно, я день-два побуду у вас?

— Хоть и год. Днем, чтоб никто не видел, будешь сидеть в клуне, там уже сено есть, а ночью — тут. Это ж ты даже рисунков не увидишь! За них мне Киев премию дал... Ой, что я, глупая, говорю. Разве теперь до этого?..

Уже рассветало, когда он, словно вор, перешел в старую клуню, забрался в боковушку, где его ждала немудреная постель — два рядна и подушка.

Этот день показался ему годом. И о чем только не передумалось и чего не вспомнилось, а спасения не было и сна не было. Он долго наблюдал, как на перекладине раскормленный паук ткал паутину, как поблескивал крестом из потемневшего серебра. Потом с другой стороны, где лежала прошлогодняя солома, услыхал тихое попискивание и негромкое квохтанье курицы. И снова попискивание, и снова квохтанье. Из любопытства пробрался туда и в углу увидел обеспокоенную квочку, возле нее желтыми комочками неумело поднимались и падали влажные, только что вылупившиеся цыплята. В бусинках их глаз еще не было никакой тревоги. А вот на току шевельнулась земля и волнистой полоской начала подыматься: какой-то неведомый пахарь снизу вел свою борозду, а землю подымал вверх. Данило к краю пропаханной бороздки приложил руку, и невидимый пахарь больно царапнул ее: не мешай работать. Вот и получил урок даже от крота.

Вернувшись на свое место, Данило увидел, что из-под подушки торчит уголок какой-то книжки. Это были украинские «Думы». Он раскрыл их и с жадностью, как, кажется, никогда раньше, припал к трагедийному и героическому слову, к трагедийной и героической истории, и она начала заглушать его боли большими болями и лечить надломленную ветку его духа. Он видел далекое килиимское поле, и казака Голоту в бою, и ту годину, когда из голубого вечера выезжал червонный казак Терентий.

Ой поле килиїмське!
Бодай же ти літо й зиму зеленіло,
Як ти мене при нещасливій годині сподобило!
Дай же, боже, щоб козаки пили та гуляли,
Хорошії мислі мали
І неприятеля під нозі топтали.
Слава не вмре, не поляже
Од нині до віка,
Даруй, боже, на многії літа!

«Нет, слава наша не умрет, не поляжет. Временное минует, а вечное останется. Но кто из нас не хочет и своими деяниями, и своими помыслами прикоснуться не только к скоропреходящему?»

Уже предвечерьем заголубел день, уже и сизые тени вползли в клуню, за селом пошел разноголосый рев коров, а улицы запахли пылью, лугами и молоком, когда дверцы клуни открыла и сразу же закрыла тетка Марина.

— Данилко, как ты там? — даже слышно, как бьется тревога не только в слове, но и в сердце женщины.

— Учу думы, может, когда-нибудь пригодится,— и что-то вроде улыбки выдавил на губах.

— Эту книжку мне тоже в столице подарили. А я тебе поесть принесла — первую молодую картошку с укропом. Ты любил ее когда-то, и твой отец любил,— сказала тетка Марина и метнулась в закуток, откуда вынесла бочонок, фартуком вытерла его, поставила на землю, перевернула вверх дном, умостила на днище горшок, из которого поднимался пар, кувшин с холодным кислым молоком, хлеб и огурцы — простую крестьянскую вечерю, напомнившую ему те годы, когда еще живы были его отец и мать.

— Может, вместе повечеряем?

— Да нет,— вздохнула женщина, сняла с его чуба засохшую травинку, а когда Данило начал вечерять, скорбно подперла рукой щеку. Вот так и его мать в тревожную годину стояла бы возле него.

Сквозь щели заглянул лунный свет, он еще больше подчеркнул тени женской печали, и Данило не знал, что ему сказать, как поблагодарить эту добрую душу, для которой чье-то горе всегда становилось ее горем.

— Спасибо, тетушка.

— Не за что,— снова вздохнула она. — А тебе, Данилко, где-то более безопасное место надо искать.

Он молча поглядел на женщину.

— Недавно как из пекла выскочил ублюдок Степочка Магазанник и рыскал вокруг хаты. В хату сунулся, о тебе спрашивал. А потом даже в хлев заглянул — там двери были открыты. Я и спросила: «Может, и в клуню хватит совести залезть?» Сверкнул он глазами, словно волк, пробормотал о «таком времени» и «вообче», да и подался куда-то. Вот и выпадает тебе снова дорога.

Тетка Марина прижалась к его плечу. Данило ощутил ее трепет, ее боль.

— Не надо, тетушка. — Поцеловал женщину, поклонился ей. — Я сейчас и пойду.

— Еще рано. Пусть совсем стемнеет. Я тебе еще торбочку принесу: там хлеб, кусок сала, рушник... Пусть никто не собирает так родных в дорогу, как собираю я тебя,— провела пальцем по ресницам, пригнулась и, словно тень, вышла из клуни.

И снова ночь тревог, и полынной горечи и неизвестности. Тетушкиным садочком осторожно выходит он к огородным воротцам и оторопело останавливается: ему показалось, что вдруг начала оживать половецкая баба. Чудится? Нет, в самом деле шевельнулся старинный камень, неожиданно развалился, и от него отделилась какая-то приникшая фигура.

— Степочка?! — невольно вырвалось у Данила.

— Эге ж, он! — злорадно отозвался Степочка, потом торопливо ринулся от половецкой бабы к дорожке, сжал увесистые кулаки. — Так вот, гражданин Бондаренко, вы не хотели мне ни написать, ни подписать характеристику. А сейчас я вам напишу свою характеристику! — со злорадством, победно становится против Данила.

— А разве ты до сих пор не писал на меня своих характеристик-доносов?

— Писал! По доброй воле писал! И верно делал, потому как это мой актив! Только не вздумайте бежать, а то я криком подниму на ноги всю улицу и село.

— Или сам, негодяй, слетишь с ног!

Разъярился и со всей силы ударил кулаком Степочку. Тот пошатнулся, пригнулся и в грудь, под ложечку, ударил Данила, но от второго удара упал на землю, застонал.

Данило наклонился над ним.

— Не бейте... Я больше не буду.

Корчась, Степочка обхватил руками голову, а Данило поглядел на свой кулак. Впервые он бил человека... А может, изверга?

Степочка вскочил на ноги и так драпанул по стежке, что только пятки засверкали.

За большим ясеневым столом, который, как и все в хате, смастерил Лаврин, печально сидела семья. Ни тебе пересмешек близнецов, ни задиристости Ярины, ни шуток или командования Олены. Только и слышались шелест огня в печи да шепот камышей и волны из брода.

«Давно печаль не ходила так по нашей хате. Да вот и у нас не завтрак, а поминки,— вздохнул Лаврин и снова вспомнил ночь, когда прощался с Данилом. — Где он теперь терзает душу кривдой?»

Муж первым положил ложку, поднялся и застыл, прислушиваясь: на подворье забухали чьи-то шаги. Чьи же? У соседей нет такой нетерпеливости в ногах.

И вот неожиданно, внося новые торбочки галифе в хату, порывисто входит Ступач. Кого-кого, а такого гостя никто не ждал. Десять глаз поднялось на него — и хотя бы тебе одно слово.

Ступач снимает картуз, бережно кладет его на ладонь и насмешливо нацеливается на хозяина, который почему-то меняется в лице: не страх ли заползает в него?

— Не помешал?

— Пока нет,— мрачно говорит Лаврин. Оно бы полагалось пригласить гостя к столу, да пусть его рогатые в казаны приглашают.

— Дядько Лаврин, вы, говорят, ночью видели Бондаренко?

— Видел,— еще больше мрачнеет хозяин.

— Куда он бежал? — уже начинает в душе гневаться Ступач: даже сесть не предложили.

[illegible], а шел себе.

— [illegible] куда шел? — еще грознее становится Ступач, [illegible] его бровей вскакивают на лоб.

После этого Роман и Василь сразу поднимаются со скамьи.

— Куда он направлялся, я вам потом скажу. — Хозяин вышел из-за стола и решительно стал напротив Ступача, высокий, золотистый, как подсолнух.

— Когда же это потом?! — не терпится пришельцу.

Лаврин бросает на него взгляд, в котором нет страха, а есть упорство и непримиримость.

— Вот послушайте. Вы, даже не поздоровавшись, уже задали мне три вопроса. Задам и я вам хоть один.

— Задавайте,— пренебрежительно прищурился Ступач: что ему может сказать этот медлительный, как минувший век, дядько? Про сено-солому?

— Ведь вы же учились по школам, по институтам, сушили голову над книгами да науками, а хоть раз когда-нибудь подумали: как и для чего живете на свете?

— Это что?! — ошеломленно вскрикнул Ступач. Он увидел другого Лаврина, на лице которого уже выражалось презрение и гнев. — Что это?!

— Вопрос, и только один. Если не хотите отвечать, то я вам скажу. За весь свой век вы не стали ни пахарем, ни сеятелем в поле, ни советчиком в хате. Почему же вы так стремительно бросились крошить нашу силу и нашу жизнь? Или у вас от злобы ум облысел?

— Молчи! — выкрикнул Ступач, сжав кулаки.

— А может, ты помолчишь предо мною, ведь это я тебя, нечестивца, хлебом, а не кладбищенской землей кормлю?!

— Тату! — вскрикнули близнецы. Они тоже не узнавали своего спокойного отца и стали подле него, готовые смолотить Ступача, как сноп.

Лаврин взглянул на них, утихомирил движением руки.

— Эге ж, сыны, я ваш тато. А спросите этого себялюбца: может ли он называться отцом своих детей?

Ступач хотел что-то сказать, но захлебнулся недосказанным и бросился к порогу.

— Думать надо,— вдогонку ему уже тихо сказал Лаврин. — А то чего стоит и служба, и ученость, и все года без хорошей мысли и настоящего дела?..

Как из огня выскочил Ступач на подворье, распугал кур и уток, а гуси, вытянув шеи, зашипели и двинулись на него. Еще смотри гусак, у которого почему-то лебединая, с венчиком, голова, и долбанет тебя, на радость новому твоему кучеру, что за воротами подпирает спиной бричку.

— Кыш, кыш, проклятые! — машет руками Ступач и поскорее уносит ноги на улицу. — Фу!

— Жарко? — весело кривит губы круглолицый кучер Лаврик, у которого всегда под ресницами ухмылка со слезой.

— Гони!

— Аллюр три креста? — прыскает кучер и [illegible] рукой к глазам.

— Еще что-нибудь очень умное брякни!

— Молчу — воды не замучу,— сжимает тот непослушные губы, которым так хочется повеселиться, погулять на широком лице. Лаврик садится на бричку, дергает вожжи, и кони с белыми пятнами на лбах, разбрызгивая росу с кучерявого спорыша, трусят на середину улицы. — Ох, и хорошо же тут! А берег так и поет челнами. Махнем через брод?

— Погоняй к парому,— хмурится Ступач, не зная, как быть с Гримичем: или как-то ущемить его, или на все махнуть рукой? За своими мыслями он и не заметил, что сзади зацокали подковы.

Лаврик лениво скалится на солнце, поворачивает коней на перекресток, оглядывается и вдруг, съежившись, в испуге кричит Ступачу:

— Пригните голову!

— Чего тебе?

— Пригните скорее!

В это мгновение над головами Ступача и Лаврика взметнулось, пролетело что-то темное и тяжелое: какой-то сумасшедший всадник перескочил через бричку и, поднимая пылищу, унесся вперед.

— Не бесов ли парубок?! — испуганно и восторженно вырвалось у Лаврика. — Как святой Юрий пролетел!

— Кто это? — оторопело спросил Ступач.

— Да Роман Гримич. Видите, ему не хватает дороги, так он напрямик махнул через нас. А вот брат его культурненько объезжает нашу бричку,— и кучер так начинает хохотать, что слезы сразу увлажняют его глаза, ресницы и морщины на щеках.

Ступач только теперь поднял руку к голове.

Василь догнал Романа уже в полях. И сразу напал на него:

— Ты ошалел, или впал в детство, или твой чугунок вверх дном перевернулся?!

Роман искренне рассмеялся, придержал коня, который тут же начал играть под ним.

— Почему ты, брат, так заговорил со мной, словно мы уже и не родня?

— Он еще и спрашивает! А если бы твой златогривый задел копытом голову Ступача?

— Так, может, тогда все клепки встали бы на свое место,— беззаботно ответил Роман и похвалился: — А здорово я перескочил через бричку и тех, кто сидел в ней?

— Только что будет нам за эти перескоки? — опечалился Василь.

— Да ничего не будет. Если Ступач захочет судиться со мной, то скажу: виноват норовистый конь. Пусть и судится с ним...

— Сегодня мы жнецы, а кем будем завтра из-за твоих проделок? — покачал головой Василь. — Думать надо все-таки головой, а не копытом.

— Оставь, брат, свои сетования, а то от них и день скиснет. А у нас еще столько дела сегодня! — Роман пустил коня рысью, еще и песенку шуточную замурлыкал про ту Гандзю милую, что брови накрасила купоросом...

XIX

[illegible]ми да крутоярами Данило выбрался на [illegible] травой проселок. По обеим сторонам от [illegible] сияла сизая рожь, тяжелый колос в последний ра[illegible] глядел на белый свет, ибо завтра-послезавтра он упадет на стерню. Вот так бы и самому прилечь возле колоса и под шорох стебля заснуть до утренней зари или до того венца, которым солнце рассекает ночь. Но ему теперь придется прятаться от солнца, от утреннего колоса, от утреннего поля.

Ой поле килиїмське!
Бодай же ти літо й зиму зеленіло,
Як ти мене при нещасливій годині сподобило!

«Килиимское поле не забыло казака Голоту. А вспомнит ли наше поле меня? Поле, может, и вспомнит, а люди? Что скажут, что подумают они?» До этого времени он старался как можно меньше беспокоить их своими хлопотами и невзгодами — у каждого хватает своих собственных тревог и горя. А что же завтра делать?

Под ногами что-то жестко зашуршало. Данило сначала вздрогнул, потом наклонился, и его руку защекотал куст перекати-поля, который еще крепко держался земли. Вот и он, Данило, сейчас становится перекати-полем.

«Так куда же, куда деваться теперь?» — безмолвно спрашивает ниву и одинокий подсолнух, что каким-то чудом вырос во ржи. Но безмолвствует рожь, безмолвствует и подсолнух. У них свои молчаливые заботы: отдать людям весь, до зернышка, урожай, а уж как людям жить — это не их забота. А вот и стебли овса касаются друг друга своими звоночками и вздрагивают даже от голоса перепелки.

«Спать пойдем, спать пойдем»,— дремотно обманывает своим словом перепелка, так как думает-то она не о сне, а о любви.

А о чем думает теперь Мирослава? Оплакивает или проклинает свою любовь? Зачем он сказал, что поедет в город? Это же может вызвать подозрение, что и в самом деле он таился с чем-то от нее. Хотел как-то успокоить девушку, а сделал хуже.

«Спать пойдем, спать пойдем». Куда же ему сейчас пойти, куда унести себя, свое сердце, что томится и поет? Может, заглянуть в школу, к тому человеку, который похож на казака Голоту,— к Шульге, а может, зайти к Максиму Диденко? Если не испугается, то что-то посоветует, ибо есть у него и ум, и понятливость в голове. Хотя какой теперь совет, если сам себя боишься?

На шляху заурчали машины. Какой груз они теперь везут людям — доброе или что-то дурное? Машины затихли, а вдали, навстречу Данилу, показался всадник. Как славно было раньше встретиться с всадником в поле, поговорить о том о сем, прислушаться к ночи, в которой бродят сонные туманы. Да это было когда-то... И, подавляя свою гордость, Данило втягивает голову в плечи, согнувшись [illegible] в рожь, подальше от человека, ближе к пе[illegible], [illegible]ает к земле. Никогда еще он не лежал во ржи, не вытаптывал ее, а теперь так позорно прячется. И от кого? От человека!

В поле гулко отдается топот копыт и слышится тихий напев:

Іде козак з України —
Мушкет за плечима,
За ним плаче дівчинонька.
З чорними очима.

Недаром столько девичьих слез в украинских песнях. Недаром!

Отстукали копыта, стихла песня, и Данило поднялся с земли. Ржаные колосья бились о грудь, о плечи и роняли росу или слезы на руки. И тут славное житечко вырастили люди, вот только он не будет жать с ними, не пройдется с косой, не свяжет тугой, нарядный сноп, не поставит полукопны, с которой днем будет стекать солнце, а ночью — луна. Был человек, а стал перекати-поле и даже что-то еще худшее. И все равно, в какой бы ты переплет ни попал, должен как-то действовать. Действовать! Данило осторожно перешел на другую дорогу, уже не прислушиваясь к шорохам нивы, к голосам перепелок, а лишь всматриваясь в залитую луной долину, которая в низинах поднимала кусты тумана.

«Ой, тумане, мій латаний талане!»... Да, таков мой [illegible]. Латаный со вчерашнего или позавчерашнего [illegible] [illegible] этого же как улыбался ему и надеждами, [illegible]ими очами! Неужели это все никогда не возвр[illegible] к нему? А может, пойти с повинной? Только с [illegible]ой повинной? Разве он, а не Ступач, провинился перед людьми, перед государством?

Нет, за Ступачову ошибку или злобу я не понесу свою жизнь на плаху, и так она наказана больше, чем надо. А стал бы Ступачовым подпевалой, так не терзали бы твою долю. Но ведь ты же сам как-то говорил: время не дало нам тихой доли... Делать что-то, делать надо! Только что? Как навязчиво роятся одни и те же мысли, даже голова пухнет от них...»

Он и не заметил, как из хлебов снова вынырнула фигура всадника. Ехал он не спеша, приглядываясь к ниве или к ночи, а медлительная лошадка его, опустив голову, подметала гривой дорогу и аппетитно пощипывала траву.

Снова прятаться? Да возмутилась уязвленная гордость, и Данило, выпрямившись, пошел навстречу всаднику. Тот, заслышав шаги, поводьями остановил лошадку, поднялся на стременах.

«Будто Михайло Чигирин кивает бородой? Конечно же он!» — узнал неутомимого председателя колхоза, вздумавшего на старости лет заочно учиться в институте: раньше крестьянин обходился молитвой, а теперь ему нужна наука.

И Чигирин узнал Данила, ловко соскочил на землю, нацелил на него небольшие глазки и сноп бороды, в которой уже гуляет белый цвет: еще в двадцатом году он прикрыл ею глубокий сабельный шрам.

— Неужели ты? — не то удивляясь, не то смущаясь, с улыбкой спросил Чигирин.

— Выходит, я,— не знает, что ответить, Данило.

[illegible] — трясет бородой Чигирин, протягивает [illegible] [illegible]ловатую руку. И весь он небольшой, [illegible] удивительно похожий на гриб боровик.— [illegible] оно?

— Плохо, Михайло Иванович. Страх как плохо.

— Верю,— вдруг погрустнел человек, потом глянул [illegible].— Неумытая совесть у того Ступача. И когда только переведутся правители одного дня?.. Куда же ты теперь?

— Куда глаза глядят.

— Как раз жатву надо начинать, а хозяин должен идти куда глаза глядят,— еще больше опечалился Чигирин.— Да будем надеяться на правду. Ты писал куда-нибудь?

— Нет.

— И напрасно. Где-нибудь схоронись, пережди эти дни, а правды добивайся. Если же потребуется свидетель, то и на меня можешь сослаться. Скажу, что знаю тебя с колыбели.

У Данила задрожали губы:

— Кому теперь нужна наша колыбель?

— И не говори такое! Зловредному и гадюковатому, известно, ни колыбель, ни мать над нею, ни наш ревностный труд, ни наша судьба не нужны. Но им не затмить наш день и время!

— Куда же вы на ночь глядя собрались?

— Я люблю и вечернее, и полуночное время в хлебах. Вот и хочу наглядеться на колос, а то ведь завтра-послезавтра тут будет только стерня, а она уже осень напомнит.— Помолчав, Чигирин положил руку на плечо Данила и тихо пробормотал:— Вот есть у меня чудной вопрос. До сих пор ни к кому не обращался с ним, чтобы не обозвали дурнем.

— Спрашивайте.

— Еще два года тому назад убедился, что жито-пшеница лучше родит, если сеять ряды с востока на запад. То ли тогда солнце щедрее омывает их и в ранние, и в призакатные часы, или что-то иное здесь кроется? Сверил в прошлом году — та же самая картина. Ты случайно не замечал такого?

— Не замечал,— удивленно ответил Данило. «Вот тебе и гриб боровик!»

— Если захочешь, проверь у себя. Это может людям пригодиться.

— Будет ли этот праздник у меня?..

— Непременно будет. Широкие крылья у недоли, но сломаем и их. Может, потихоньку пойдем ко мне? Ты, видно, притомился с дороги? Моя старуха нас душениками угостит, погрустим, подумаем вместе. Как ты на это?

— Я дальше собрался.

— Тоже понимаю,— согласился Чигирин.— Бывай живым и здоровым.— Он крепко сжал Данила в объятиях и быстро пошел к своей косматоногой лошаденке, которой месяц серебрил гриву.

И снова пшеница да жито, белопенная гречиха да чубатые подсолнухи, и покачивание лунных неводов, и загадочность дали... А вот и дремотные вербы обозначают путь дремотной речечки, и кладка, что тоненько, как вьюн, попискивает, и дикие петушки, что так красиво подняли желтые свои светильники, и нарядные, в лохматеньких юбочках, стожки, и привяленная грусть татарского зелья.

За речкой, возле пригасшего костра, спали косари, в их сон вплетался скрип коростеля. И Данило не выдержал, подошел к спящим, что привольно разметались на свежем сене. Над посивелым костром, на рогулях, висел задымленный казан, в котором стыла немудреная крестьянская еда — пшенный кулеш, от которого пахло не лавровым листом, а мятой. Взгляд Данила остановился на лице белочубого, с длинными ресницами парня, что неожиданно начал улыбаться во сне. Или, может, проснулся хлопец и из-под ресниц смотрит на него? Данило замер, а парень едва слышно спросил у своего сна:

— Это ты, Оксана?..

Было за полночь, когда Данило зашел на подворье той школы, в которой когда-то несколько дней прожил среди святых и грешников. Тогда он больше присматривался к святым, потому что художник передал им все лучшее, что было у людей. На окнах школы крошилась отсыревшая луна, а вокруг стояла такая тишь, что было слышно, как из кирпичного желоба по капле стекала вода. Как же его примет теперь Терентий Иванович, который четыре раза встречал смерть? Что скажет мудрый Диденко? Ведь на рассвете придется тревожить их.

Данило сел на ступеньках, что вели в школу. Напротив стоял старый навес, под которым и теперь поблескивала сталь плугов, справа выгибал руки обильно усеянный плодами сад, а далее холмами раскинулась школьная земля, по которой и он вел плуг, сеял зерно. К нему отовсюду начали подступать воспоминания и усталость. Вспомнилась и тетка Марина, и половецкая баба, и одинокий подсолнух в поле, и всадник среди ржи, и косари, и тот белочубый паренек, что во сне звал свою Оксану...

— Это ты, Мирослава? — спросил он...

— Данило Максимович, ты?.. Какими судьбами?

Данило встрепенулся и, пробуждаясь ото сна, быстро поднялся. Перед ним, удивленный, стоял Терентий Иванович. На его вислых усах угасал поздний месяц.

— Пришел к вам, в школу,— снова не знает, что сказать, Данило.

— В школу? — удивился Терентий Иванович. И уже после молчания: — И не побоялся?

— Как видите,— прямо глянул в глаза.— Я не виноват перед людьми.

— И мы это знаем...— осмотрелся вокруг Шульга.— Уже скоро и светать будет. Куда спрятать тебя от злого глаза?

— Может, в ту церквушку, к грешникам? По чьей-то вине и я стал грешником,— обхватил Данило голову руками.— Как это страшно, Терентий Иванович. Как это страшно!.. Шел к вам полями, а навстречу человек, и я вынужден был прятаться от него во ржи.

— Когда-то и у меня было приключение во ржи,— вспомнил прошлое Терентий Иванович.— Столкнулись мы в восемнадцатом году с державной стражей Скоропадского. Ударили по ней! А когда к скоропадчи-

[illegible] подмога, бросились в спелую рожь. Да [illegible] «экспедиторы», не долго думая, со всех сторон подожгли хлеб. Горит он, горим и мы и должны были, пылая, словно снопы, подняться с земли. Это наступала моя третья смерть... И самыми страшными тогда были голубые огни, которыми стали наши побратимы. Голубые... Что же, Данилко, делать с тобой?

— В церквушку, к грешникам.

— И грешников, и святых замазали глиной, только кое-где пробиваются их глаза. Анита таки добилась своего, а теперь мажет дегтем людей. Недаром говорят: ученая ведьма всегда злее обыкновенной. Даже завивка у нее на голове как у ведьмы. Тьфу!

— Что же Максим Петрович на это?

— Разве ты не знаешь ничего?

— Нет.

— Максим Петрович уже с месяц работает директором совхоза в соседней области. Теперь он развернется на тысячах гектаров. Наверное, и я перейду к нему, а то не только душа, но и моя вербовая нога грустит по нему,— повел своей сухой вербочкой, что снизу была окована железом.— Раз как-то весной возле речки я срезал себе две ноги про запас, отесал снизу, а тут рыбаки едут на челнах, к себе приглашают. Воткнул я свои вербовые ноги в берег да и поехал на рыбалку. Наловили мы тогда и рыбы, и раков, наварили ухи, выпили по-христиански по чарочке и только утром вернулись домой. А тут как раз подоспели работы, завертелся я в извозе и вернулся на берег к своим ногам только дней через десять. Смотрю, а одна нога уже и листочки мелкие выбрасывает. Не тронул я ее. Вот и начала расти моя нога, вербочкой стала, шумит себе листьями, цветет, а роса у нее горькая. Жизнь!

— Неужели пробовали на вкус? — верит и не верит Данило рассказу или притче червонного казака.

— Пробовал,— правдиво смотрит на него Терентий Иванович.— При своих четырех смертях какого я только зелья не пробовал, и все равно верил, что буду жить. И ты, сыну, должен жить.— Он шагнул вербовой ногой, обнял Данила.— Где же ты переднюешь у меня? Может, в лесной смолокурне? Туда никто летом не заглядывает.

— Где скажете,— скорбно, душой, благодарил человека. И доверие казака, и его рассказ изумили Данила и запомнились на всю жизнь.

— Тогда ты немного подожди, а я запрягу своих ветрогонов — да и в леса.

— А может, не надо? — внезапно заколебался Данило.

— Почему не надо? — не понял, насупился Терентий Иванович.

— Еще беду накличите на себя.

— Если бы я не верил тебе, то иное дело. А пока у нас есть добрая вера, дотоле нас не сломит несчастье. Вот увидишь: все минется, а правда останется.— И, постукивая вербовой ногой, он пошел к школьной конюшне.

Вскоре кони были запряжены, Данило вскочил на обшитую грядку нового воза, и колеса зашипели по росистому спорышу. Выехав со школьного двора, Терентий Иванович повернул не к селу, а к речке, у которой между деревьями уже мохнатился рассвет.

«Бегство от недоли»,— с горечью думал Данило. То раньше он, как мог, догонял крестьянскую долю, а теперь убегал от своей недоли. Разве это жизнь?

Терентий Иванович положил ему руку на плечо.

Данило встрепенулся, одновременно охватывая взором и плес, и вербы над рекой, и челны на берегу.

— Вон видишь раскидистую вербу у самой воды? Возле нее челн качается.

— Вижу.

— Так это она из моей ноги выросла... А потом какой-нибудь парнишка сделает из нее челн и повезет свою любимую. Только бы спокойно было в мире. Да, на беду, ухватился Гитлер за косу смерти...

Поздний жатвенный вечер, когда даже дороги пахнут рожью. А к этим степным запахам в селе примешиваются запахи цветущих подсолнухов, белого палива, молодого укропа и молодого картофеля, который, ожидая косарей и жнецов, варят не в хатах, а на подворьях. Вот над казанком, под которым дышит пламя, склонилась бабуся. Что-то шепча, она, словно зелье какое, сыплет в картошку соль, разгибается, огонь высвечивает на ее лице морщины. Услыхав шаги на улице, поворачивает голову к воротам и спрашивает:

— Это вы наконец?

— Нет, бабуся, это не те, кого вы ждете,— с сожалением отвечает Данило, завидуя в душе простому деревенскому обиходу.

Старуха выпрямляется, подходит к воротам.

— А кто же ты, дитя, откуда будешь?

— Я издалека.

— Тогда заходи к нам. Скоро придут мои дети, внуки, вот и повечеряешь с нами.— И такая доброта стоит в ее старческих очах, что хочется неведомо у кого выпросить ей еще более долгого века.

— Вы не знаете, где живет директор вашего совхоза?

— Почему ж, дитя, не знаю, где живет добрый человек? Это с плохим не хочется знаться. Вот перейдешь мостик через Сниводу и сразу же бери по левую руку к школе, а от нее — по правую руку, то прямо и дойдешь до панского дворца.

Вскоре Данило доходит до бывшего панского, с белыми колоннами, дома. Тут только в двух окнах горит свет. Он припадает к одному, полураскрытому, и сразу же видит склонившуюся над столом фигуру Максима Диденко. С карандашом в руке он хмурится над какой-то сводкой-скатертью и тихонько напевает ей:

Скатертино, скатертино,
Над тобою марно гину.

И хоть как тревожно на душе у Данила, но он не выдерживает:

— Максим Петрович, живите себе и нам на радость, не погибайте.

[illegible] вскрикнул Диденко, подошел к ок- [illegible] брови и шепотом спросил: — Ты?
— [illegible] притих Данило, как перед судом.
Диденко невольно оглянулся.
— Так заходи скорее.
— Стоит ли?
— Заходи без лишних разговоров.

Данило зашел в просторный, обвешанный плакатами и грамотами кабинет, в углу которого стоял [illegible] ржаной сноп нового урожая. Диденко положил руки на плечи Данила, поморщился, не зная, о чем расспрашивать, что говорить. Повисла неловкая тишина, в которой Данило слышал биение своего сердца. А в это время в окно, что выходило в сад, донеслись тихие голоса:

— Какие у тебя красивые очи.

— Разве их сейчас видно? — не верила девушка хлопцу.

— А я их всегда вижу перед собой.

— И в темноте?

— В темноте они мне светят, словно звезды.

— Ой! — с болью встрепенулась девушка.

— Ты чего?

— Мама говорила, что ей в молодости то же самое говорил отец. А когда женился, то начал пригашать те звезды.

— Так это при капитализме было. У нас такого никогда не будет.

— И не должно быть..

Диденко смущенно улыбнулся:

— Кому-то любовь, а кому бумажки... Так как же ты, Данило, ко мне попал?

— Пришел как к отцу. Посоветоваться пришел, что мне делать на этом свете... Вы уже все знаете обо мне?

— Знаю. Худая молва не лежит,— вздохнул Диденко. — Ступач тебя преследует?

— Ступач.

— Это безрассудный, жестокосердный человек. Когда-то он был батраком у такого дьяка-плута, которого даже попы называли сатаной. Наглотался там зла, да и начал лихом копать свое поле. Ох, эти недалекие, озлобленные копачи... Что же делать с тобой, с самым лучшим председателем в районе?

— Вы думаете, я знаю? Голова совсем кругом пошла. Легко было моей родне говорить: «Держись ума и плуга». Да иногда ум и плуг не держатся нас...

— К сожалению. — Диденко начал ходить по комнате. — Что же я тебе могу посоветовать, что могу сделать для тебя? Что? Ведь у меня тоже нет большой власти... Когда-то ты мне говорил: нам время не дало легкой доли. Помнишь?

— Помню,— понурился Данило.

— И это, очевидно, правда: пока время не даст легкой доли. И какая бы доля ни выпала тебе, какие бы испытания ни выпали бы на твои дни, ты [illegible] быть Человеком. Даже в самую тяжелую [illegible], когда уже все покинет нас, мы должны оста[illegible] со своим свитан-зельем, с безграничной лю[illegible] Отчизне. А она нас не забудет. Это говорю тебе как человек верящий — как большевик и твой друг, который, правда, не очень сумеет теперь защитить тебя. Понимаешь?

— Думаю.

— Вот и думай, что оно и к чему, казнись своими горестями, но оставайся человеком. Это если о великом и высоком думать. А теперь о будничном: подави свои печали как мужчина и пока что оставайся у меня садовником. Переходи в курень, что стоит посреди сада, да и орудуй. А далее будет видно. Я верю в это, ибо верю в разум людской, в разум времени. Согласен?

— Спасибо. — Данило с благодарностью глянул под утомленные, потемневшие веки, за которыми стояла большая печаль.— Не страшно вам с таким «элементом»?

— Не так страшно, как неудобно. По рукам? — и протянул темную от загара руку.

— Еще раз спасибо. Пасека есть в вашем саду? — спросил Данило, забывая и не забывая о своем.

— Стоит небольшая. Вот так-то, голубь сизый. Пусть наш сад убережет тебя от недоброго глаза. Работы же в нем ой как много.

— Разве меня когда-нибудь пугала работа?

— Это я знаю. Вечерял?

— Нет.

— Повечеряем холодной индюшатиной. И поведу тебя в курень. Там есть сено, одеяло, подушка.

— Не знаю, Максим Петрович, как и благодарить вас.

— Обойдемся без этого. Неужели ты думаешь, анонимка или нашептывание смогут сделать нас мелочными?.. Мы же советские люди. Советские! Слышишь?

— Слышу.

Вдалеке запели петухи, а в саду испуганно отозвалась девушка:

— Ой, уже петухи поют. Бегу, бегу!

— А, пропали бы они! Вот пакостная птица. Ну, еще капельку постой.

— Знаю я твою капельку. Прощай, бегу.

— Я тебя на руках донесу...

— Вот для чего нужны руки человеку,— подбадривая Данила, усмехнулся Диденко.

XX

Над самым татарским бродом за какие-то две недели расцвела подснежником новая хата-белянка. Летом ей о чем-то дремотно шепчут обленившаяся волна и камыш, осенью испуганным звоном откликаются привязанные челны, а зимой в деревьях потрескивает или дедом покряхтывает мороз и в окна бьют крыльями ветровеи, стучат метелицы.

А когда же постучит Данило?.. Где он теперь, где его очи и где его большие добрые руки? Может, время взяло и их, и то, что считалось-звалось любовью?..

[illegible] из той метелицы, что никак не может найти [illegible] пристанища. Так и у души Мирославы нет те[illegible] пристанища: все бьется она в кручине, в отчаянии, все кружит в поисках той дороги или стежки, на которой лишь в снах появляется Данило. Только сны связывают ее с ним. Только сны...

А вокруг так беснуется метель, что не поймешь, где небо, где земля, где речка, где приселок. Мирослава наугад, увязая в сугробах, бредет из амбара домой. Метель выбивает из нее дух зерна, выжимает и слезы. А сколько их вылилось в новой хате-белянке, в которой никогда не запираются двери?!

«Ты не запирай двери, я скоро вернусь...»

Это «скоро» обернулось месяцами. Да какими месяцами?! Пусть бы их и через века никому не довелось пережить...

Кто из нас в тревожной молодости, хотя бы тайком, не мечтал о необычной любви: ты будешь так любить своего суженого и он тебя так, как никто не любил. Как никто! Вот и пришла к ней такая любовь, какая, верно, мало у кого была. Да только веет от нее сейчас полынной горечью. Тот день, когда она узнала обо всем, стал для нее роковым и мучительным. Даже седой тато, приехав как-то в гости к ней, еще больше опечалил Мирославу:

— Уже можно и не ждать. Видать, не судьба. Выходи, доченька, за другого. Ведь что такое девичья краса? Блеснет, словно роса, и туманцем сойдет, как роса летом. А жизнь есть жизнь, и она требует своего: если не любви, то материнства.

Может, в этом тоже есть какая-то мудрость старости, но как любви смириться с нею?

И дочь напомнила отцу, как он к ней, еще ребенку, наклонил с нивы несколько сизых, со слезой, колосков.

— Тогда вы сказали: всегда заботься о колосе, о хлебе святом. А разве о человеке надо меньше заботиться?

Отец озабоченно покачал головой, что тоже испытала на веку всякое, посмотрел на свои большие руки, которые словно взвешивали что-то.

— Так где же он, тот человек? На земле или в земле? Наверное, беспощадной мачехой стала ему судьба. — И пошел запирать на ночь двери.

— Не запирайте, тато.

— Это ж почему? — удивленно соединил дуги седых бровей: не тронулась ли его дочь? — А если кто-нибуль заберется и обворует?

Одной скорбью посмотрела на него Мирослава:

— Самое дорогое уже украдено, а тряпок не жаль.

— Оно-то так, тряпок не жаль, а рода жаль. — Словно седой туман, зашатался у дверей старик. — Мне чуть ли не каждую ночь снятся внуки. Неужели я не дождусь их? Может, ты уехала бы из этого села, чтобы забыть все?

— Я ничего не хочу забывать! Ничего...

Да и вправду, как она могла забыть ту первую ночь в полях и первые хлопоты жатвы под прищуренным взглядом Данила, и тот ветряк, который поднимал ее волосы, и те руки, что [illegible], и те ворота, что стонали чайкой, и [illegible] уста, что искали ее уст? Увяли ее уста, и вся она стала словно оброненный после жатвы стебель.

Хоть печаль сковала ее душу, да не смогла выжать любви ни к Данилу, ни к людям. Наверное, потому уважают и жалеют ее в селе. Даже эти горделивые парубки, что колдуют возле машин, не подшучивают над ней, как подшучивали прежде. Они же и подбили приселок сообща поставить ей хату: может, в новом жилище меньше станет печалей у молоденького товарища агронома. Да не угадали добросердечные парубки, которые назвали ее хату гнездом перепелки. Надо же такое выдумать!..

Вот и постаревшие прибрежные вербы да гибкий ивняк. Придерживаясь за его веточки, с которых свисали нерасцветшие сережки, Мирослава осторожно спустилась на лед, прошла несколько шагов и почувствовала туман от испарений, которого не могла одолеть и метель. Это, видно, рыбаки сделали проруби и до сумерек ловили вьюнов. Вот и обходи стороной, чтобы не бултыхнуться в воду.

Пошатываясь от порывистого ветра и изнеможения, она перешла брод и подошла к калитке, но не смогла ее открыть: столько намело со двора снега. Тогда взялась обеими руками за ворота, немного приоткрыла их, и они неожиданно отозвались тревожным стоном чайки. Даже вздрогнула: неужели дерево дерева может передать свой голос? Так почему же тогда Данило не подает своего голоса?

Отряхнувшись на пороге, Мирослава концом платка вытерла влажное лицо и тихо вошла в жилище, наполненное живительными запахами летнего поля и луга. Каких только снопов, снопиков, связок трав здесь нет! Увидел бы их Данило, взял бы ее руки в свои и сказал: «И чего только эти рученьки не умеют! Что-то колдовское есть в них».

«Ты и про глаза так говоришь...»

«И в глазах есть колдовство. Вот бросили вечер и луна в них чары — и уже сохнешь, как трава».

«Не мелите несусветного, товарищ председатель. И только без рук».

Где они, те руки, теперь?

Стукнула ставня, и Мирослава бросилась к окну. Но это лишь вьюга зацепилась за хату и понеслась дальше, к татарскому броду, и там застонали вербы, как вдовы. А кто же она? Ни жена, ни вдова. Неужели такая ее судьба?

Будто кто-то возится у порога. Вот хлопнули двери сеней, скрипнули — хаты, и в жилище влетела разгоряченная Яринка. Кое-как стряхнув с платка и кожушка снег, она повела задорным глазом на Мирославу и продекламировала:

— Не варила, не пекла и в сельклуб пошла... Как ты на это?

— В такую метелицу?

— Метелица, метелица, почему старый не женится?.. А что нам эта вьюга-метелица? Ноги же взаймы не брали и не покупали! Разве ты не любишь метель?

— [illegible]. Она так хорошо укрыла озимые, что теперь и мороз не страшен им.

— И как в таком хрупком теле вместились все хлеборобские заботы? — засмеялась Яринка. — Так побежали?

— Ты же видишь, что делается на дворе. Хаты качает!

— Что нам непогода! Разве плохо бежать и разрывать петли метели?

— Ой, Ярина, Ярина, кому ты и красотой, и характером счастье принесешь?

Девушка вдруг задумалась, вздохнула.

— А может, не пойдем в клуб? Вместе будем грустить?.. Когда уж эта грусть отойдет от тебя? — Обняла подругу и снова вздохнула. — А к нам позавчера Степочка приезжал, о тебе почему-то спрашивал. Он в область собирается, «набил руку в районе». «Набью в области руку — и подамся выше»,— передразнила молодого Магазанника, засмеялась и начала поправлять снопики, что стояли на сундуке. — Запахи от них волнами идут. Эта пшеница с селекционной станции?

— Ага. В прошлом году мне ученые только одну шапочку семян дали, а в этом году у нас уже несколько мешков и впрямь золотого зерна. Как бы этому радовался Данило!

— Я тебе хоть вечерю подам.— Ярина отодвинула печную заслонку, вынула миску с рыбой и грибами и, прислушиваясь, поставила на шесток. — Не гости ли к тебе? Кто бы это?

— Наверное, Геннадий Шевчук,— подумала о председателе колхоза.

— А если?.. — Ярина из-под ресниц глянула на подругу.

— Разве это может быть? — пугаясь, спросила сама себя Мирослава.

— А почему не может?.. Вот в какой-нибудь вечер постучит в двери, встанет на пороге, вот так, улыбаясь, как он умеет, и спросит: «Соскучилась?» А ты его назовешь бессовестным.

— Я бы его и совестью своей назвала, лишь бы только откликнулся.

Возле сеней затопали чьи-то шаги, затем кто-то постучал в дверь.

— Заходите! Заходите! — в один голос ответили Ярина и Мирослава.

И вот медленно открылась дверь, и на пороге появился Степочка в новом добротном кожушке и в сивой смушковой шапке. Он снял ее, рукой бережно поправил волосы, заиграл мельничками ресниц. За своими думами и не заметил, что за ним не закрылись двери.

— Здоровы, чернобровы! — с деланной веселостью поздоровался и начал расстегивать кожушок, чтобы увидели его новехонький, из синего сукна, френч.

— И чего тебе тут надо?! — возмутилась Мирослава.

— А чего вам сразу гневаться? — передернул плечами Степочка. — А-а-а! Вы все еще, Мирослава Григорьевна, сердитесь за давний выговор в переходный период? Пора бы уже и забыть. Каждый из нас, если поскрести душу, наберет на выговор, и вообче...

— Скреби свои руки и не лезь с ними в людские души,— отрезала Ярина.

Степочка хитровато-примирительно усмехнулся ей, приложил шапку к сердцу.

— А почему мне, скажи, не лезть к людской душе, если я уже поэт?

— Ты — и поэт?!

— А почему бы и нет? — Степочка вынул из внутреннего кармана френча вчетверо сложенную газету. — Вот, почитай, если не разучилась. Это ничего, что в райгазете. Набью руку в ней — и в областную, набью там руку — и в энциклопедию с портретом.

Девушка вспыхнула:

— Если бы тебя с портретом — да в самую глубокую прорубь! Вот была бы радость и энциклопедии, и всему селу.

— Эх, сельская самодеятельность,— презрительно махнул шапкой Степочка. — Еще влепи какую-нибудь реплику.

— И влеплю: ты не замечаешь, что у тебя в глазах полпуда нахальства?

— А не врут ли твои весы?

— Степочка, сделай одолжение, удались туда, откуда пришел,— попросила Мирослава.

— Не могу! — покачал головой Степочка. — Это выше моих сердечных и интеллектуальных сил. Я, конечно, знаю, что у каждого человека есть сладкое время любви. Было это время, догадываюсь, и у вас, Мирослава Григорьевна, и вообче. Да сладкое время быстро проходит, а приходит реальность, от которой никуда не сбежишь, даже на коне не ускачешь. И вот, чтобы вы поверили в серьезность моих планов, я даже при Яринке, при свидетеле своей юности, значит, скажу, что есть у меня мечта и намерение жениться на вас...

Вдруг из сеней послышался знакомый голос:

— Я невольно становлюсь вторым свидетелем,— и в хату вошел запорошенный снегом Ступач.

— О, это вы подоспели? — словно растерялся, но в то же время и обрадовался Степочка. Поклонившись, снова приложил шапку к сердцу. — И как вы попали к нам?

— Метель загнала. Правда, она уже будто успокаивается. Так ты имеешь мечту и намерение жениться?

— Точно так, Прокоп Иванович. Это скажу и при вас, и при всем приселке, ибо уже и для Степочки наступила семейная пора.

Мирослава гневом опалила и «жениха», и Ступача:

— Пусть он женится на рубле, на котором повисла его торгашеская душа и совесть!

Ступач смущенно глянул на Мирославу:

— Это вы напрасно. Степан Семенович человек скуповатый, но теперь не рубль, а поэзия руководит им.

— Вы еще не раскусили его: он за рубль продаст и поэзию, и вас вместе с нею.

— Что она мелет, как элемент?! — вдруг налился свекольным соком Степочка. — Вот в чьей душе, видать, сидит враг. Она и до сих пор любит того, что вон на стене висит. С ней надо что-то делать.

Ступач махнул рукой:

— Это уже не наше дело.

— Как не наше, когда она отбрасывает принципиальную любовь во имя вражеской? Ее надо прорабатывать, громить, и вообче!.. — расфыркался женишок.

— Ого, какой ты воинственный, Степочка. Ты забыл, что перед тобой девушка. — И что-то дрогнуло в голосе Ступача, и вина мелькнула в глазах. Он обернулся к Мирославе: — Простите, что не вовремя зашел. Проси, Степочка, и ты извинения.

— Ну, если даже вы говорите, то куда мне деваться? Сдаюсь! Хотя бы на вашем месте... — Степочка поднял руки вверх и так вышел из хаты.

Ступач поклонился Мирославе и почему-то вздохнул. Почему бы?

— Еще раз извините. Будьте здоровы,— и пошел вслед за Степочкой, который что-то недовольно бормотал в сенях и повторял свое «вообче».

Яринка спровадила непрошеных гостей со двора, потом вбежала в хату, обняла Мирославу.

— Когда много красоты, то еще больше хлопот. Ох, и растревожил мерзостный греховодник! И все равно — лихое минует и ты будешь с Данилом, чует мое сердце! — Она снова подошла к печке. — После такого сватания и повечерять можно. С каких позиций ты смотришь на рыбу, грибы, и вообче?.. — передразнила Степочку.

— Ой, Яринка, Яринка... А где же твоя любовь?

— Чего нет, того нет. Да я могу еще подождать. А вот почему Роман и Василь до сего времени никого не нашли? Столько же есть красивых девчат...

— Что они пишут?

— Примерно служат на заставе. Соскучилась я по ним и их шуткам! Где они идут, там и смех раструшивают. О, да метель уже утихла. Прощай, сестра. — Она поцеловала Мирославу, выскользнула из хаты, и подковки ее чеботков звякнули на мельничном кругу у входной двери, который после жатвы Роман и Василь привезли Мирославе.

Мирослава походила по хате, зябко пожимая плечами, посмотрела в окно, за которым уже чувствовалось колдовство еще невидимого месяца, и подошла к фотографии Данила. Он доверчиво, чуть грустно улыбался ей или кому-то... Может, и вправду теперь улыбается кому-то, забыл ее,— чего не случается в жизни? С такими невеселыми думами она разделась и снова глянула на фотографию.

«Хоть во сне приди, если не можешь иначе. Слышишь?»

Поправив снопики, выключила свет и не легла, а упала на постель. Еще какую-то минуту слышала, как возле хаты, стихая, кружился и вздыхал ветер. Потом в окна так хорошо врезались промерзшие звезды, в стекла постучал месяц, покачнулась земля, и она перенеслась в детство, когда с поля, бывало, ждала мать, у которой тоже был сноп золотых волос и с вечерней синевой глаза. Очень рано упали они в землю и барвинковым цветом проглянули на могиле.

Теперь ветер всхлипнул, как дитя... А отец так хочет дождаться внуков...

И уже не слыхала, как слегка звякнула щеколда, скрипнула дверь и в хату крадучись вошел Данило. Он не закрыл за собой дверь, боясь ее скрипа, боясь себя, боясь лунного марева, в котором, словно жнецы в белом, стояли снопы. Захлебываясь настоем лета и тоски, так и застыл у порога человек или тень его. Как его теперь встретит Мирослава: проклятиями или печалью да слезой? Ведь ничего же не дал ей, кроме горя.

Когда немного угомонилось сердце, он услышал дыхание и тихонько подошел к кровати, склонился над нею, вглядываясь в лицо Мирославы, что было полузакрыто волной волос: они и дымились, и блестели в лунном свете.

Скорбь выступила на ее пересохших губах, между бровей, и во сне трогательно вздрагивали венчики ресниц и тени возле них. Прикоснуться бы к ним губами, услышать, как просыпаются глаза: испуг, а потом улыбка... И такое дорогое слово — «бессовестный».

Да имеешь ли ты право на это? Посмотри на свою любимую, словно на дорогую картину, и иди куда глаза глядят. Не терзай и не карай эту красу, эту нежность, эту печаль.

И, преодолевая себя, он шагнул назад, прощальным взглядом окинул Мирославу, ее ножки, что выбились из-под тонкого одеяла, вдохнул запах ее волос и повернулся к дверям — так, верно, лучше будет для нее. Он оставит ей свой подарок и пойдет в холодные снега, в безнадежность.

И тут, вопреки разуму, взбунтовалась любовь или сомнение: а может, только тебя, дурня, и ждала Мирослава, может, для тебя и ночью не запирала дверей?

Еще не зная, что делать дальше, он тихо-тихо прошелся по хате, постоял возле снопиков и неожиданно увидел в простенке свою фотографию. Где же она взяла ее? Такая была только в его хате... Вон оно что... Глубокая благодарность наполнила его душу, и он, неуверенно улыбаясь, снова подошел к постели, смотрел и насмотреться не мог на свою любовь.

«Мирослава, любимая»,— звал ее в мыслях, а затем, незаметно для себя, позвал и вслух.

И вдруг Мирослава проснулась, положила руку на грудь, вздохнула. Даниле стало страшно, он отклонился в тень.

А девушка, откидывая волосы со лба, села в кровати.

— Так ясно услыхала его голос... Ой, что это?! — В голосе ее зазвучали испуг, удивление, слезы, а в настороженные глаза вошла луна. И только погодя спросила: — Сон?

— Сон, Мирослава.

— Данило! Данилко! Ты?!

— Я.

— Пришел?

— Пришел.

Мирослава со слезами бросилась к Данилу, потянула его к окну.

— Данилко, родной, это ж ты!.. Не может быть, ой, не может быть! — и упала ему на грудь, веря и не веря, что это он. — Не может быть...

— Выходит, может,— поцеловал ее волосы, что и теперь, как в давнее время, собирали лунные блики и грусть маттиолы.

Вдруг Мирослава испуганно отшатнулась от него.

— Ой, подожди, я же раздета...

Прикрыв рукой вырез сорочки, она метнулась к кровати, подняла руки к вешалке, зашелестела одеждой и через минуту, смущенно улыбаясь, терла пальцами ресницы. Затем подошла к нему, положила руки ему на плечи, потрогала: вправду ли это Данило?

— Почему же тебя так долго не было? Чего я только не передумала. Как ты, любимый?

Данило помрачнел.

— Как?.. Разве это жизнь? Будь она проклята вместе с теми, кто покалечил ее!

— Данило, ты озлобился?! — ужаснулась Мирослава, отстраняясь от него.

— От такой жизни и мертвый камень может озлобиться. Бьюсь словно рыба об лед и не могу придумать, как мне жить, что делать.

Мирослава сжалась в болезненный комочек и, не спуская взгляда с Данила, твердо сказала:

— Что хочешь делай, как хочешь делай, только не озлобляйся. Тебя же не Родина, не люди осудили, а слепая ненависть Ступача.

— Вот как! — подобрел, разгладил морщины Данило, обнял Мирославу и не стал ей пояснять, что не озлобился он, а только у него большая душевная боль. — А для тебя кто я теперь?

— Ты для меня все: любовь, муки, надежда, муж, отец моего сына или дочки.

— Неужели это может быть? — не поверил ей, не поверил своему будущему.

— Это все будет, Данило. Увидишь: и я, и наши дети, и добрые люди будут еще гордиться тобой, если ты не озлобишься и не измельчаешь, как мельчают в злобе.

— Какой же ты стала!.. — с удивлением глядел на нее и наглядеться не мог.

— Какой, Данилко? Постаревшей?

— Нет, мудрой... словно лето.

— Хотя и не было у нас весны,— загрустила Мирослава. — Вот у меня в разлуке и морщины появились.

— Это не морщины, это мудрость!.. — Данило начал целовать тот сноп, что вобрал в себя солнечное утро, те очи, что подобны синеокому вечеру.

Мирослава льнула к нему, как никогда не льнула, не отстраняясь ни от его уст, ни от его рук.

Что-то бухнуло у завалинки, и они от испуга замерли.

— Это, наверное, груда снега свалилась с крыши,— подошла Мирослава к окну. — А еще возле хаты иногда зайцы прыгают. Я для них сноп овса положила. Вот, смотри!

Припав к стеклу, они увидели, как по золотисто-белой скатерти луга катился живой клубок; вот он вскочил на подворье — и прямо к снопу.

— Вот и есть у нас кусочек сказки,— горькая усмешка мелькнула на устах Данила.

Мирослава лицом прижалась к его плечу.

— Не забыл, как нам с поля или из леса родители приносили хлеб от зайца?

— Не забыл. Я тебе тоже что-то принес.

— Не мели несусветное... — и запнулась, чуть было не сказала удивительное: «Не мели несусветное, товарищ председатель».

Данило расстегнул портфель, вынул из него что-то завернутое в белую бумагу, бережно развернул ее.

— Вот тебе,— подал ей какие-то три стебелька.

— Что это? — удивилась Мирослава.

— Посмотри.

Она включила свет и увидела три молодых пшеничных колоска, что нежно-нежно набирали цвет.

— Это откуда же такое диво?

— Из теплицы Диденко. Новый надежный сорт выводит он, а я возле него верчусь.

— Спасибо, Данилко. Пусть этот колос будет для нас колосом надежды, счастья.

— Если бы оно так было,— помрачнел Данило, а потом достал из котомки большой тернового цвета платок. — Вот тебе мой первый, пусть будет не последним.

Мирослава, положив колоски, радуясь, погрузила руку в красные цветы платка.

— Значит, помнил?

— Не было и часа такого, чтобы не думал о тебе.

— А обо мне и не спрашивай,— и слезы появились в глазах и в голосе. Чтобы погасить их, сказала буднично: — Данилко, может, повечеряем?

Он глянул в окно, покачал головой звездам, что уже меняли ночные краски на предрассветные, вздохнул.

— Мне уже надо идти. Скоро рассвет. Я теперь боюсь рассвета.

Мирослава, наверное, не расслышала его последних слов.

— Какой ты хороший, Данилко.

— Я хуже стал в своей душе.

— Ты лучше стал в моем сердце.

— Мне пора...

— Нет-нет! Ты сейчас не пойдешь. Эта ночь будет нашей.

— Что ты, Мирослава! Я же вне закона.

Она пригнула его голову к себе, он чубом коснулся ее груди.

— Любовь не может быть вне закона.

— Это говоришь ты?

— Нет, моя любовь.

— Ты не боишься ее?

Мирослава одной искренностью заглянула ему под ресницы:

— Материнства не боятся — ждут...

Эта ночь была их первой ночью. Забыв обо всем, Данило и переднeвал у Мирославы, только она, идя в амбар очищать зерно на посев, впервые за эти месяцы заперла хату... И вторая ночь была их, и третья. С этих пор, кажется, вся его жизнь стала ожиданием этих зимних лунных вечеров, из которых, словно сама любовь, приходила к нему Мирослава. Она приносила запахи мороза, встревоженного зерна и лучшую на свете улыбку. Кого благодарить, кому кланяться до земли, что ты, моя доля, есть на свете?..

А на четвертый вечер, когда Мирослава вернулась домой, возле их ворот блеснули фары машины...

«Кто бы это мог быть? Неужели снова по мою душу?»

Зароились мрачные мысли, Данило побледнел, но ничего не сказал Мирославе, которая возилась возле печи. Кажется, само сердце отстукивало шаги неизвестного. Но почему он один? Данило не выдержал:

— Мирослава, к нам кто-то идет.

— Ой! Так я сейчас!.. — отчаянно вскрикнула, заметалась, бросилась к дверям, закрыла их, хлопнула другими.

«Нет тебе счастья, моя забота чернобровая». И вдруг, словно с того света, услыхал:

— Добрый вечер!

«Кому-то, может, добрый, а кому-то...» Но в голосе прибывшего послышалось что-то знакомое. «Вот сейчас и узнаешь обо всем». И Данило так посмотрел на пшеничные колоски, словно искал защиты у них.

Вот открываются двери — и он не верит своим глазам: в хату вслед за Мирославой шагает улыбающийся Диденко, вносит с морозом свою широкую, будто колокол, кирею и несколько полумесяцев морщин вокруг уст.

— Максим Петрович!

— Узнал? — словно удивляется человек и не стирает улыбки с лица.

— Да вроде узнаю. Но, как говорят старые люди, каким ветром?

Диденко поздоровался с Данилом и подпер бровями высокий лоб. Своей широкой киреей он занял почти половину хаты.

— Чтоб не мучить тебя догадками, сразу все расскажу, но при одном только условии: на столе должно быть и жареное, и тушеное, и пареное, ибо по твоей милости голодный, как старый волк.

— Из-за меня? — не верит Данило.

— Конечно,— коротко отвечает Диденко и уже серьезно, даже как-то торжественно начинает говорить, словно читает грамоту: — Так вот, человече добрый, писал ты в инстанции письма о себе, а я тихонько писал о тебе. Замирая, ожидал ты ответа, тревожась, ждал и я. И вот сегодня ко мне прилетела добрая весточка, как ласточка прилетает весной.

— Откуда? — побледнев, не голосом — душой спросил Данило и приложил руку к груди: голова это или весь свет пошел кругом...

— Из высокой инстанции! Спасибо ей, все напасти от тебя отброшены. Слышишь?

— Ой! — вскрикнула Мирослава, сделала шаг к Максиму Петровичу, да остановилась и посмотрела на Данила.

А тот в круговерти нахлынувших чувств онемел, потом встрепенулся, будто освобождаясь от некогда навалившегося на него горя и бездонной тоски; молча подошел к Диденко и молча, вздрагивая, крепко обнял его. Припала к гостю и Мирослава, не вытирая слез, что катились и катились по щекам.

— Да хватит, хватит! — с деланным неудовольствием начал отбиваться от них Диденко. — Кирея станет мокрой от слез. — А потом повел глазом на печку: — Вижу, самому придется варить картошку, ибо вам уже не до меня.

Мирослава и Данило улыбались, еще веря и не веря в то, что произошло.

— Подсмеиваются над стариком,— махнул рукой Диденко и только теперь увидел в вазочке на столе свои колоски и снова изломом бровей подпер лоб: — Воровство напоказ?

— Такой мне подарок привез. А я и сказала: пусть этот колос будет для нас колосом надежды, счастья,— защебетала Мирослава. — И сбылось загаданное.

— Пусть так и дальше будет! — снова торжественность пробилась в голосе Диденко. — По этому случаю прочту вам слова выдающегося польского писателя: «Вырастить на голой земле что-то такое таинственное, такое чудесное своим строением, своей жизнью и смертью, как колос пшеницы, разве это не значит стать сотворцом дива?»

— Хорошо сказано! Эти слова — как постижение разумом чуда! — наконец заговорил Данило. А его лицо до сих пор то бледнело, то лихорадилось огнем.

Максим Петрович пристально посмотрел на Данила:

— Знаю, ты у меня работать не будешь, так скажи, что думаешь делать?

И тот, коснувшись снопа, твердо ответил:

— Снова пахать, сеять, изучать мудрость земли, растить урожай, человечность и любовь.

— Растить урожай, человечность и любовь... — задумчиво повторил Диденко. — Для этого стоит жить и работать, даже до изнеможения...

Часть вторая

I

— Ты уже уходишь? — спрашивает, как спрашивали в те дни, не голосом, а жгучей болью.

— Иду, любимая,— хочет как-то успокоить свою любовь и не знает, как это сделать, ибо что наши слова в часы разлуки?

Горячие руки, молящие очи, уста ищут его. Беззащитностью, стоном, преданностью она обвивается

[illegible] ку, ибо кто знает, вер-[illegible]

— [illegible] еще, Данилко. Подожди!

— [illegible] уже.

— Пора, пора,— соглашается Мирослава.— Но ты [illegible]

— Я ждал бы, да время не ждет,— отрывает и [illegible]жет оторвать ее от себя, а сам слышит за ок-[illegible] знакомый скрип. Это коростель, как и прежде, [illegible]рывает рассвету калитку.

У Мирославы задрожали губы, задрожали веки.

— Данилко, а как мы будем без тебя?

И хоть тяжко на душе, он грустно улыбается:

— Кто ж это — мы?

Она вскидывает на него слезой притуманенный взгляд, а голос ее звучит низко, по-матерински тревожно:

— Я... и ребенок наш. Ты не подумал о нем?

«Ребенок?!» И впервые — в ее первом предчувствии, в первом прикосновении к тайне материнства — ему слышится [illegible] того, для чего мы живем, того, что должно быть с нами и после нас.

— Любимая... — хочет что-то сказать и не знает — что, а сердце уже заполняет всю грудь.

Правда, как он не подумал, что у них может быть ребенок, которого, возможно, и не увидит он. Это уже судьба. А сейчас он с благодарностью склоняется к Мирославе, обнимает, целует ее губы, брови, глаза, в которых отблески синего вечера сменились потемневшей печалью черной ночи.

— Я всюду буду думать о тебе... о вас. — Он поднимает ее, словно ребенка, на руки, прижимается головой к ее груди, а на память из детских лет приходит мамин голос: «Были себе журавль да журавка, накосили сенца полны ясельца». Вот и прощай, журавка, прощай. Журавль идет навстречу войне или смерти...

Не жаль было себя и своей кривдой ущемленной молодости, а жаль было всего обиженного мира, и своей журавки, и рук своих, которые еще и до сих пор не наработались вдоволь. Так на войне наработаются, будь она проклята!

Верил: не промахнется он, посылая смерти смерть. Верил, что до последней капли крови будет биться с недолей, до последней, ибо разве он не сын своей земли? Хотя и хлебнул горькой несправедливости, однако никогда дурные помыслы не забредали в его голову. Никогда!

Он бережно ставит Мирославу на пол, устланный саблями татарской травы, вглядывается в окно, за которым утро размыкает ресницы и вода из брода подает голос, а молодая рожь раздвигает над собой сизый сон. И на рожь он не насмотрелся, не налюбовался ею, не наслушался ее шелеста. Да и наслушается ли когда-нибудь?

— Вот и прощай, мое сердце...

— Данилко, побудь еще немного с нами,— стоном отзывается такой родной и такой сейчас непри-[illegible] голос, и снова Мирослава обвивается вокруг [illegible], не пуская от себя.

— Не могу, любимая.

— Почему ж ты не можешь? — словно спросонья спрашивает, о чем и спрашивать не надо, и смотрит, как никогда не смотрела: издалека или из прошлого. — Почему?..

— Потому что уже утро.

— Потому что ты уже там? — повела головой в ту сторону, где витала смерть. Стояла перед ним, беззащитная и печальная, словно стебелек в росе, а руки все искали и искали его и падали вниз.

— И там, и с тобой... Только ты, любимая, как бы оно уже ни было, не смотри на мир сквозь слезы. Слезами не защитишь ни себя, ни нашего ребенка, никого. Слышишь?

— Слышу, Данилко... Кого только умолять, чтобы ты возвратился?..

— Я приду к тебе, непременно приду.

— Придешь?.. — зачем-то переспрашивает она. — Буду ждать тебя, как свою долю. Как долю...

Его будут ждать, как долю!.. Только из-за этого стоит жить, страдать и до последнего биться с черным вороном недоли.

Когда Данило по саблям татарского зелья дошел до порога, что стал порогом прощания, Мирослава встрепенулась, вскрикнула, зарыдала:

— Подожди, Данилко! Подожди! Я сейчас...

Взмахнув своим пшеничным снопом, она бросилась к одежде, зашелестела ею, потом рукой вытерла ресницы, пересохшие губы и через какую-то минуту, держась за его руку, как тень, шла и к Гримичам, и к Оксане, и к татарскому броду, за которым сизо мохнатилось утро и женской печалью горевали луговые чайки.

А где тот погоныч птах, что по ночам напевал: крыйок-крок, крыйок-крок? И где тот журавль, что спасал его на болотах? Теперь ты сам должен стать тем журавлем, что спасает жизнь...

Данило так поглядел вокруг — и на землю утреннюю, и на голубизну неба,— словно весь простор хотел вобрать в себя, еще раз обнял, обхватил узлом рук Мирославу и быстро, уже боясь себя, подошел к берегу, сорвал с привязи цепь, столкнул челн на воду и прыгнул в него. Качнулся челн, качнулся его зеленый мир, качнулось все, что годами укладывалось в душе.

— Прощай, любимая!

— Ой! — бросилась к нему Мирослава, да полоса воды с затопленными тенями верб, с затопленной печалью камышей уже пролегла между ними.

— Данило! Данило!.. — с мольбой протянула руки к нему, к легкому вербовому челну, к неразгаданному.

Всплеснул вскрик, всплеснуло весло, оттолкнулся берег, с глаз капнула слеза, с весла — капелька времени. Еще и еще всплеснуло весло. И уже на этом берегу — она, а на том — он, а между ними влажное золото отмелей и заспанное или непроснувшееся солнце в броде.

Ой, броде татарский, два берега, два солнца тут, а жизнь одна, да и та неполная...

В райвоенкомате Данило без всяких осложнений прошел мобилизационную комиссию и, облегченно вздохнув, вышел на просторное, поросшее спорышом подворье, которое теперь стало печальным пристанищем родных и близких, что прощались и проститься не могли, украдкой выпивали по чарке, а упивались горем.

Обходя группки и пары, обходя печали матерей, он пошел вдоль ограды, за которой неизвестно куда бежали сполохи ржи. Приглядываясь к ним и вбирая в себя беспокойство нивы, Данило склонился к плетню, а по ржи, оживая, пошли его годы, добрые и недобрые, пошли его воспоминания, его тревоги, всплеснули волной родные броды, и послышался ее голос, ее шепот, ее слезы. Журавкой звала Мирославу мать... «Были себе журавль да журавка», и вот коса смерти замахнулась на них, замахнулась на все.

Неожиданно сбоку тихий вскрик:

— Данилко!

Он оторопел. К нему бежала она, бежали маки на ее платьице, бежали, перетряхивая те маки, ее ножки, бежал ветерок в ее волосах, от которых веяло степью и грустью маттиолы. «Откуда ж ты? С какого ты поля, из какой мечты?» Даже не верилось, что это его нареченная, что он обнимал, ласкал ее, что ее пшеничные волосы дозревали на его руке и что сквозь сон она доверчиво звала его: «Данилко».

Мирослава, грустя и улыбаясь, протягивает руки через плетень, крепко обхватывает шею Данила, крепко, как может, прижимается к нему.

— Данилко, родной...

— Пришла?

— Прибежала. Как ты?

— Как и люди.

— Вот я сейчас кинусь к часовым, упрошу, чтобы пропустили,— и тут же метнулась и вмиг прилетела к нему, уже держа руку возле сердца. — Ты не сердишься, что... мы пришли? — смотрит на него с надеждой.

И как сказано было это — мы!

Снова волна благодарности всколыхнула его сильное тело. Он обнял Мирославу, целует, глядит не наглядится на нее, удивляясь ее голосу, который сегодня уже с рассвета звучит тайной материнства. С какого ты поля, из какой мечты?

— Любимый... Самый лучший...

— Это ты самая лучшая.

— Будет ли время, когда мы хоть наглядимся на тебя?

— Будет, любимая.

— И на ранних, и на вечерних зорях буду молить судьбу, чтобы берегла тебя,— уже обращаясь к невидимым звездам, сказала так, как говорят наши седые матери. — Может, мы выйдем с этого двора вон к тому житечку?

— Нельзя, любимая, к житечку: часовые без пропуска не пустят.

— Пустят... Я говорила с ними.

Данило покачал головой.

— И что они?

— Сказали: «Если уж такая жена просит, то отпустим мужа. На два часа». Как ты?

— Еще два часа счастья...

— Когда же больше станет его?

— Еще придет наше доброе время.

— Тогда — «к житечку, чтобы нам было життячко»,— сказала, как заклинание.

— Тогда к житечку,— взглянул на нивы, что бежали да бежали к самому небосклону, просеивая солнце и тени.

И в это время чья-то рука нагло, тяжело опустилась ему на плечо. Данило обернулся. Против него, налившись злорадством, широко расставив ноги, стоял усмехающийся Степочка Магазанник, за его спиной ветерок шевелил сатиновый горб сорочки.

— Кого я только вижу и кого лицезрею?! Вот не думал, не гадал, и вообче!..

— Чего тебе, Степочка? — Данило хотел движением плеча сбросить руку, но она уже клещом впилась в него.

С лица Степочки слетела усмешка, и оно стало леденеть, а в окостеневших глазах появились злые искорки.

— Спрашиваешь, чего мне надо? — и процедил по складам: — Справоч-ку! Когда-то, припомни, как ты издевался надо мною: я прямо изгибался, вымаливая справочку. [illegible] и покажи мне свою!

— Какую тебе справочку?! — бледнея, крикнула Мирослава.

Степочка одной желчью полоснул ее:

— А чего это вы, товарищ агроном, будто всполошились и даже перепугались? Видать, не все в порядке в вашей любви? Пусть мне ваш добродетель у самого военкома документально подтвердит, что он идет в армию при всех исправных бумагах. Как вы на это и вообче?

Данило разъяренно сбросил с плеча Степочкину руку.

— Я сейчас дам такую справочку, что и солнце потемнеет для тебя!

Степочка отскочил, испуг метнулся из-под его желтоватых ресниц, но он пересилил его, угрожающе поднял руку, резанул ею по воздуху.

— Он еще и ерепенится! Если не пойдешь со мной к военкому, сейчас же позову людей! Теперь каждая душа должна пройти проверку.

— А может, война проверит наши души?

Степочка оскалился неуверенной ухмылкой:

— Война еще где-то, а Степочка тут проявляет бдительность. Так пойдем или звать людей?

— Не играй, подлец, на чужом горе — со своим встретишься.

— Это мы еще посмотрим, кто с чем встретится. Вот так! Пойдем!

— Данилко, родной... — надламываясь, припала к нему Мирослава.

— Подожди меня. Я приду. Я непременно приду! — сказал, как и в минуту прощания, оторвал от себя ее руки и быстро пошел к зданию военкомата.

[illegible]. хотя могло быть и иначе.— [illegible] плеча глянул на Мирославу, сжал [illegible] за Данилом, сам сомневаясь, надо [illegible] ввязываться в такое дело, когда [illegible], что будет завтра. А? Да, может, проявив [illegible]ьность, он останется тут, в районе? Пусть [illegible]рвутся на фронт, а голова Степочки и в районе [illegible].

Вот они остановились перед кабинетом военкома. Степочка постучал кулаком в дверь, пропустил вперед Данила, которого начала бить дрожь.

«Успокойся, успокойся же!» — приказывал себе Данило и до боли сжимал кулаки.

Из-за стола поднялся майор Зиновий Сагайдак, против него сидел Стах Артеменко. Военком не раз встречался с Данилом, не раз защищал его на пленумах райкома от Ступача и не раз рассказывал в их селе о червонных казаках, ибо сам вышел из этого легендарного племени. Он кивнул Данилу черным, как ворон, чубом, невесело улыбнулся. Когда-то от него Данило услыхал, что у каждого человека есть четыре брода: голубой, как рассвет,— детства, потом, словно сон,— хмельной брод любви, затем — безмерного труда и забот и, наконец,— внуков и прощания. А тут хотя бы дожить до своего ребенка... Данило стоял, каменея от напряжения, и только слышал говор четырех бродов своей реки и слышал, как время проходило сквозь него и как в сердце боролись страдания и надежды. Почему же он такой невезучий? Не потому ли, что и до сих пор не научился хитрить ни с людьми, ни с землей?

— Мы, товарищ военком, к вам,— выражает угодливость не только лицом, но всей фигурой Степочка.

— Садитесь. Рассказывайте.— Сагайдак пристально смотрит не на Степочку, а на Данила, оценивая его лицо или душу, и снова грустная улыбка ложится на его темные уста. Какой же ты хороший, человече, да судьба тоже не жалела тебя, оставила свои шрамы на теле и на душе...— Рассказывайте!

— Но тут ведь есть свидетель,— глянул Степочка на Стаха.— А нам бы надо без свидетеля, ибо дела и вообче...

— Тогда мы, товарищ Артеменко, чуть позже потолкуем,— сухо сказал майор, а когда Стах вышел, насмешливо глянул на Степочку: — Рассказывайте без свидетелей.

Степочка, выказывая угодливость военкому и глубокое подозрение Данилу, быстро-быстро заговорил:

— Товарищ военком, я сейчас персонально и собственноручно чуть ли не волоком притащил к вам гражданина Бондаренко, хоть и упирался он.

Сагайдак тряхнул чубом, который упал на стрельчатые брови, насмешливо прищурился:

— Даже упирался? Почему же?

— О, тут дело по всем параграфам сомнительное, а может, и темное! — И Степочка так растопырил руки, словно хотел в кого-то вцепиться. — Вы хорошо знаете историю Бондаренко. Как-то, правдами или неправдами, он выскочил из нее, притих было [illegible], а затем при помощи непроверенных вынырнул на руководящую должность в колхозе и сразу же взялся все переворачивать на свой лад, подрывать экономику и вообче.

— Подрывать экономику? Факты! — бросил Сагайдак.

— Вот вам самый важный: этой весной он организовал на поле столовую и не брал у людей за обеды и ужины ни одной копейки. Так как же это понять, если взрослая душа не платит за пропитание? Разве это не есть экономдиверсия? Соответствующие органы уже имеют сигналы и возбудили дело. Не удирает ли Бондаренко от своего дела в армию?

Данило вздохнул, ибо такое дело и впрямь было начато против него, глянул на военкома, но тот перевел взгляд на Степочку и глухо спросил его:

— Товарищ Магазанник, вы помните, за что вас недавно сняли с работы?

— Да...— замялся Степочка.— Разве ж теперь, когда война, до этого?

— Скажите, почему вы нигде не найдете себе места?

Голос военкома приковал Данила к месту. Что же это?

А Степочка поморщился, махнул той рукой, которая недавно сжимала плечо Данила:

— Опорочили меня, товарищ военком. Оговорили подозрительные элементы, и вообче...

— Имейте хоть немного мужества! — резко сказал Сагайдак.— Не вас, а вы, где могли, оговаривали и поедом ели честных людей, как оговорили когда-то и теперь оговариваете товарища Бондаренко.

Данило оторопел: неужели не послышалось? А ты, дурень, уже и отчаяния глотнул...

На побледневших скулах Степочки вспухли раздвоенные желваки.

— Но ведь сам товарищ Ступач...

— Не прикрывайтесь чьей-то фамилией. Вы знаете, как вас прозвали в вашей конторе?

— Нет.

— Ничтожеством и дегтемазом! И небезосновательно. Идите!

Степочка напыжился и огрызнулся:

— Как же мне идти, если у меня есть подозрение...

И тогда Сагайдак рубанул его словом, как саблей:

— А твое сверхбдительное нутро никогда не подымалось выше подозрения. Никогда. И меня теперь можешь взять на заметочку, ибо и я из тех непроверенных, которые поддерживали Бондаренко. Иди!

— Я пойду, так как должен подчиниться и вообче, но проверьте, в порядке ли документы у Бондаренко! — завопил Степочка.

Военком презрительно ответил:

— Документы у него в порядке, и совесть тоже. Не рассудило вас мирное время, так, может, рассудит война.

— Что-то видится тут не то. Вот незадача,— растерялся Степочка.— Тогда позвольте мне на пару часов отлучиться в город.

— Не позволяю! — в отчаянии вскрикнул Степочка.

— Но почему?!

— Потому что из Жмеринки уже вышли за вами машины железнодорожного полка.

— И я буду вместе с ним? — содрогнулся от испуга Магазанник.

— Вместе.

— Вот тебе и на... Попал из огня да в полымя... — подавил страх Степочка и, нахохлившись, бочком подался к дверям. Там он обернулся и на всякий случай кивнул головой военкому: — Наше вам...

— Иди.

Когда за Степочкой закрылись двери, Сагайдак крепко пожал Данилу руку:

— Вот так оно бывает, хлопче. Черт и жизнь делает дьявольской. Посидим перед дорогой, перед судьбой. Пусть оберегает тебя доля от всего лихого.

— Спасибо, Зиновий Васильевич, спасибо.

— Нашел за что благодарить! — И кивнул головой на дверь: — Дегтемаз и богов измажет дегтем. А нам теперь надо люто биться с врагом, может, до последнего вздоха биться. Знаю, каким ты был ревностным хлеборобом, а теперь в каждой жилке должен почувствовать кровь солдата! Так теперь надо Отчизне! Слышишь?

— Слышу, Зиновий Васильевич. Верьте мне.

— Я тебе всегда верил, ведь сам видел, какой ты в работе, какой среди людей. Мне не надо напоминать тебе: с людьми мы сильны, с народом — непобедимы. А кто отступится от этого, тот пропадет и для себя, и для всех... Что же напоследок сказать тебе, человеку, не нюхавшему пороха? Самое тяжелое, по себе знаю, будет перед первым боем и в первом бою. Не окаменей, когда услышишь, когда увидишь, как возле тебя станет орудовать смерть. Стреляй в нее, проклятую, громи ее, безжалостную, ибо, видать, такая наша доля: никто не сломит ей хребта, кроме нас, Иванов, Данил, всех сынов, что верностью своей земле живут. Вот и будь здоров. Посидели бы подольше, да время не ждет.

Они обнялись, прижавшись головами друг к другу. На пороге встали близнецы Гримичи и Стах Артеменко. Неужели и у них не в порядке документы?..

— Данило Максимович, и вы с нами?! — обрадовались близнецы, тряхнули буйными, с солнцем, чубами.

— У Данила Максимовича другая дорога,— строго посмотрел на хлопцев Сагайдак.

— А жаль,— разом погрустнели хлопцы. У них же так: начнет смеяться или грустить один, сейчас же засмеется или загрустит и другой.

II

Проводив Степочку в военкомат, Семен Магазанник уныло возвращался к себе в леса.

Один. Теперь совсем один...

По обе стороны обсаженной липами дороги взбегали с пригорка на пригорок хоругви молодого жита. Но ныне они не умиротворяли, а растравляли душу. Что ни говори, а хлеба Магазанник любил тоже извечной, беспокойной любовью, что входит в плоть и кровь крестьянина. Любил и трепетно-серебристые переливы теней. Но сейчас и переливчатые тени помрачнели, потеряли серебристый отблеск, потяжелели, потяжелело и само солнце в небе: война!..

Только беспросветный глупец и закоренелый преступник может радоваться войне — этому страшному одичанию, жатве свинца и мертвых костей. Магазанник на собственной шкуре испытал, что такое война, сам познал ее извилистые и смертельные пути, ибо она сначала поманила его обманным блеском шелковых гетманских шлыков, а потом толкнула на те загаженные дороги, о которых и поныне жутко вспомнить. Если б не война с ее ежечасной грязью, меньше пришлось бы изворачиваться, жульничать, увязать в смердящем болоте. И, может, не так безнадежно все естество его погрязло бы в грехах и плутнях. О грехи наши, грехи! Как вы затягиваете в свои сети и нечестивой копейкой, и злобой, и любовными утехами, опутываете всю жизнь, чтобы человек жил и умирал в страхе...

Если б вернуть годы детства, когда скромный цвет одуванчика казался чистым золотом, а каждая лужайка, лес, река и ветряк, будто вросший в небо, хранили в себе неведомые тайны!

Но миновала пора волшебных тайн, пришло время опустошения, хоть и не однажды добивался он манящих тайных ласк, хоть и накопил и надежно схоронил в укромном местечке и серебро, и чистое золото... «Исцели меня, господи, ибо встревожились кости мои и душа встревожилась моя...»

Едва ли не впервые за долгие годы Магазанник так остро ощутил и бремя своих прегрешений, и гнетущее бремя одиночества. Каков ни был Степочка, а все же сын, да еще единственный! Почему он так не хотел детей? Ох, как снова подешевеет жизнь человеческая и как вздорожают хлеб, соль и золото! Он уже ухитрился припасти два воза соли, как ни честили его бабы. Одним только утихомирил их:

— У меня ж целое лесничество на плечах, а вы что — индивидуальные рты!

А поспеет жито — все до зернышка надо припрятать подальше. Кто знает, на каких сатанинских весах станет взвешивать война хлеб насущный?!

Чуть слышно колышутся хоругви молодого жита, чуть слышно поскрипывают колеса, и когтит душу печаль, вороша думы о минувшем, донимая заботами дня нынешнего и всем тем отравляюще мелким и ничтожным, что никогда, верно, не уходило из его нутра. «Ну и что из того! Ведь не высокими материями да идеалами жив человек, да и что ни говори, а в человеке больше мелочей, чем великого»,— и снова он взглянул на разливы хлебов. Стало жаль их, будто уже покатилась по хлебам смертоносная колесница войны. А ведь не удержать ее, не удержать!.. Фашисты не в шарабаны, а в танки сели. Когда-то говорил ему об этом Оникий Безбородько. Говорил, и лихорадка трясла его от ненависти к большевикам.

[illegible] своими засаленными лох[illegible] [illegible] дьявольскую печать своей [illegible]

[illegible] из бездны прошедших лет перед ним [illegible] гетманские виселицы, да петли, намылен[illegible] серым солдатским мылом, да вытянутые шеи [illegible] ними, да между небом и землей молодые с вет[illegible] чубы.

Неужто это было?!

Неужто это будет?!

Непривычная тишина стояла повсюду в лесниче[стве]. Ни человеческого голоса, ни звука косы, ни песен и шуток сгребальщиц! Словно в мертвое цар[ство] вступил.

Магазанник обходил свои владения — поляны, леса, вырубки, где среди осиротевших пней подсыхает нескошенная трава и млеет спелая земляника,— и нигде ни души. Только на пасеке пчелы расстилают дрожащее золото снованья. Для кого они так стараются [illegible] кому достанутся их труды — своим или чужим? А какие ульи у него! Все на восемнадцать и на двадцать четыре [illegible] [illegible]ить на главный медосбор маток [illegible], чтобы меньше было червы, а больше меду... Нашел время о чем беспокоиться.

Когда-то здесь, на пасеке, точно сама мо[illegible] подошла к нему легкостанная Марийка [illegible] косами, что даже оттягивали ее голову [illegible] косах трепетала седая паутина «бабьего лет[а»] [illegible] знала, что ей делать — прильнуть к челов[еку] [illegible] улететь в небо. Магазанник вырезал в эт[illegible] ты из дуплянки и не сразу заметил девушку. [illegible] дев, застыл от ее взгляда, от ее улыбки. [illegible] это была за улыбка! Непорочность и греховность, робость и соблазн, опасение и доверие отражались в ней. А глаза! Зеленые, как весна, полные хмельной юности.

Не зная, куда девать руки, с которых тягуче стекал мед, он едва выжал из себя:

— Чего тебе, дивчина?

— Работы, дяденька, ищу, хотя бы поденщину какую,— вымолвила напевно и снова осветила его своим взглядом.

— А что ты умеешь?

Она посмотрела на свои сильные, натруженные руки.

— Все умею: шить, стирать, варить, полоть, жать, пахать, сеять, косить...

— Вот ты какая, даже косить!

— Мы без батьки рано остались,— сразу погрустнела девушка.

Магазанник травой вытер руки.

— Возьми тогда косу возле сарая и пройди покос, покажи свое уменье. — Не так косьба его интересовала, как хотелось подольше побыть с девушкой, полюбоваться ее улыбкой, слышать ее голос.

Мария стремглав метнулась к сараю, взяла [косу], привычно взмахнула ею, а на плечах ее [illegible] тяжелые косы с паутиной «бабьего [illegible]

Он любовался ее косами, девичьей фигуркой и загорелыми ногами, на которые осыпалась предосенняя роса. Для работы или для греховной услады родилась ты? Недаром же говорят: грех родился недалеко от красы.

С того дня лесника потянуло к Марии, что так манила и так стремительно убегала от него. От сенигра. А когда опустились на землю метели — пришла девичья беда. И уже не радость, а слезы задрожали на ее испуганных ресницах. Да и у него было мало радости от тех сладких и греховных дней. В холодный звездный вечер пришлось ему тайком спровадить Марию к бабке-знахарке: не хотел, чтобы у Степочки появился братик или сестричка. А теперь бы счастьем казался ему детский лепет. И некому теперь принести меду с пасеки, некому положить руку на головку, не от кого услышать слово «тато».

И сейчас Магазаннику стало жаль Марию, что куда-то исчезла со своим горем, жаль стало нерожденной жизни, да и себя жаль, что не стал при здравом уме человеком. Но ведь не кто-то же обокрал тебя, а сам обокрал и растоптал свою душу.

Эх, где теперь те ветряки и червонцы одуванчиков твоего детства? Где тот душевный покой, что был у простого хлебороба возле его плуга и его семьи?

Магазанник подошел к улью, стоявшему на деревянном круге. Под ним он закопал часть своего золота. Да что за радость от припрятанного добра! И не видишь его вовсе! А он так надеялся, что будет любоваться своими сокровищами вместе с Оксаной!..

Ох, Оксана, Оксана! Если б не она, может, и не так сложилось бы все с Марией...

Между деревьями мелькнула чья-то высокая, вся в белом, фигура. Это был конюх Гордий. Летом он неизменно одевался только в домотканое. В теплый, солнечный полдень старик шел как посланник скорби.

— Эй, дедушка! — окликнул его Магазанник, радуясь, что хоть одна живая душа забрела к нему в лес.

Старик подошел к леснику, печально поздоровался.

— Ну как там? — спросил Магазанник Гордия, не зная, о чем говорить с ним.

— Внуков проводил вот на войну. Хлопцы как соколы, а вернутся ли? Видать, у треклятого Гитлера детей нету!

— И в самом деле нету... Идите к скотине, дед, и за моими лошадьми, и за приблудными коровками присмотрите, а то сегодня на работу никто не вышел.

Старый конюх опустил голову.

— Кто ж придет, когда такое деется!

— Доведется, дед, теперь и вам ночевать в лесу.

— Да уж оно так. Все внуки ушли на войну.

Один я со старухой дома. Опять земля на руках у старых да малых.

— Сколько ж у тебя внуков?

— Одних призывников двенадцать, как апостолов! И все словно на подбор! — Дед стянул с головы картуз и вытер им набежавшие слезы. Еще больше сгорбившись, он поплелся в лесничество.

Магазанник долго смотрел ему вслед, а потом напрямик углубился в чернолесье. Деревья стояли недвижно, разомлевшие на солнце. Там и сям рдели капли доспевающей черешни. На опушке, куда подступала еще не расцветшая гречиха, он увидел мальчика с девочкой: они собирали землянику, которая теперь напоминала ему капли крови. Услышав шаги, дети поднялись ему навстречу. И вдруг он увидел знакомые зеленые глаза и завитки волос на шее. Его обдало холодом. Почудилось? Да нет... Стоит перед ним девчушка и тревожит зеленой задумчивостью взгляда. Пройдут года, и в ней вспыхнет жар и трепет расцветшей юности.

— Откуда вы? — спросил он, запинаясь, жаждая и страшась ответа.

— Я из Балина, а Оленка из другого района. Родичи мы, она в гости приехала,— охотно ответил мальчуган.

— Оленка, а как твою маму звать?

— Марией,— не глядя на него, ответила девчушка.

Боль тяжелой лапой стиснула сердце. Перед Семеном возникло давнее утро на пасеке, он услышал далекий звон косы, увидел загорелые ноги с упавшими на них росинками.

— Оленка, а отец у тебя есть?

— А как же! — удивленно и чуть испуганно ответила девочка.

— А как его звать?

— Дмитром,— опередил Оленку мальчик.

— Хорошее имя.

«Значит, вышла замуж Мария! И, выходит, есть у меня ребенок... И есть — и нет. А старость уже не за горами».

— А вы кто такой будете, дядько? — спросила Оленка.

— Пасечник,— усмехнулся неуверенно. — Пойдемте со мной к леснику, я вам меду вынесу.

— Туда мы не пойдем! — всполошилась девочка и отступила назад. — Мама наказывала и близко к хате лесниковой не подходить. Проклятое, говорит, место...

— Так и сказала? — вздрогнул Магазанник.

— Ага...

На миг его охватил суеверный страх. Он покосился вдаль, туда, где была его хата: а может, и вправду это проклятое место?!

Снова украдкой взглянул на Оленку. Она уже принялась собирать землянику и присела на корточки подле куста. С трудом отрывая от земли отяжелевшие ноги, Магазанник двинулся прочь. Оглянувшись, он уже не увидел детей. Но глаза Марии и Оленки неотступно преследовали его, а в ушах стоял звон косы.

Не отправиться ли искать Марию? Но чего го... ко не наплетут тогда злые языки!.. О грехи наши грехи!

Гнетущее одиночество и слова Оленки о проклятом месте погнали Магазанника не домой, а в село, где давно уже пустовала его хата, когда-то пугавшая в непогоду боязливую покойницу жену и маленького Степочку.

Когда в восемнадцатом году гетман Скоропадский удрал к фон Гинденбургу, Магазанник дал тягу из гетманской стражи. Заметая следы, он обменял щегольской кожушок, синие шаровары, смушковую шапку со шлыком, сапоги с загнутыми кверху носами и кривую турецкую саблю в придачу на селянскую свитку и опорки. В таком виде и заявился к отцу.

Облобызались на пороге. Придирчивый старик, во всем любивший порядок, немедля спросил:

— С чем прибыл — с грошевóй или вошевóй?

— И с тем, и с другим,— засмеялся Семен.

— Тогда в хату не спеши,— брезгливо поморщился старик,— в сенцах разденься. Белье твое спалим, тебя отскребем, а потом можно и душу ублажить — самогонки хватит...

Весной отец, которого просто воротило от жадности сына, решил отделить его. Первым делом выбрали место для фундамента. Старик оглядел бревна, любовно потрогал их руками, а потом с хозяйской рачительностью сказал:

— Жаль дерева, не в землю, а на камень надо класть его — два века тогда простоит!

— А камень откуда взять? Карьеры-то в самой Виннице!

И тогда в разговор вмешался лавочник-пройдоха Влас Кундрик, который как раз приехал из соседнего села, чтобы купить или выцыганить у старика меду.

— Можно и ближе найти,— чего-то не договаривая, намекнул он.

— Так скажи, где думаешь взять?

— У пана Дашковского. — И Кундрик хитровато улыбнулся.

Семен вспомнил чудаковатого помещика, который больше всего любил всяческие древности и отовсюду свозил в усадьбу половецких и скифских каменных баб. Стоявшие под открытым небом неуклюжие бабы пугали детвору и женщин на сносях.

— Откуда же у пана камень взялся?

— А разве те бабы, что на могилах стояли, не камень? Пан-то удрал, вот и пользуйся этим добром!

На том и порешили. За одну ночь с помощью батрака несколькими подводами свезли каменных баб и опустили их в вырытые под фундамент рвы. Чтобы камень лег по углам ровно, несколько фигур пришлось раздробить на части. Так и уложили их — где головы, где руки, а где туловища. В то утро, когда собирались приладить заготовленные дубовые бревна, выпала обильная роса, и Семен с мастерами увидел слезы в глазах каменных баб.

[illegible] камень,— покачал головой [illegible] мастер, [illegible] хату поставивший на своем [illegible]

— [illegible]! — пренебрежительно отмахнулся [illegible], хотя и ему не очень хотелось закапывать скиф[illegible].

— Не скажи! — возразил мастер, что смолоду [illegible] у помещика, и осторожно вытер им глаза, [illegible] не легли они в землю со слезами.

Магазанник долго не мог забыть плачущие каменные зеницы. Но не сбылось предсказание старого мастера: добро рекой лилось в новую хату, и причиняла она беспокойство лишь в непогоду, когда бесновались ветры и метели. В такую пору слышались стенания погребенных под землей каменных баб. До смерти пугаясь, не в силах вынести эти стенания, жена Магазанника хватала на руки Степочку и спасалась бегством к отцу или соседям.

В одиночестве даже Магазаннику становилось не по себе от вековой каменной скорби.

Люди, ясное дело, дознались об этом, и по селу поползли слухи, что Магазанник знается с нечистой силой. Кто-то видел, как из трубы его хаты в полнолунье вылетела на огненном помеле молодая ведьма с картами в руках. Заглядывая в черную масть, ведьма покружила-покружила над селом — да и шасть в хлев к Приходько! С той поры у бедняги на корову напала порча. Со временем слухи эти поутихли, но не стихал в ненастье камень. Может, утихомирился за эти годы, что Семен прожил в лесу?

Походив по огороду и просторному двору, лесник нехотя отомкнул хату. На него пахнуло духом запустения. Паутина заткала все углы, выцветшие фотографии, потемневшее от старости зеркало, божницу с дорогими, еще матерью купленными иконами.

«Ох, Одарка, Одарка, напрасно я тебе дрова задаром даю!» — подумал он про вдову-соседку, видя, как мало порядка в хате, которую она взялась прибирать.

Он настежь распахнул все окна, связал из чернобыльника веник и обмел паутину, а потом достал из шкафа бутылку водки, чарку и миску с отборными волошскими орехами от дерева, которое, прожив чуть ли не двести лет, все еще приносило плоды. Можно было бы кликнуть чернобровую Одарку, и она что-нибудь приготовит на ужин, но сегодня, наверно, и она встретит его только слезами.

Уже наполнив чарку, он снова подумал об Оленке и залил воспоминания водкой. Лесник быстро захмелел, скинул сапоги и не раздеваясь завалился в постель. Во сне ему привиделась то ли Оленка, то ли Мария. Услышал и посвист косы. Что же косит она — траву или жизнь?..

А потом отчетливо услышал плач и причитания. Они и разбудили его. Он подумал, что это голосят каменные бабы, погребенные в своей подземной темнице. Но почему же завывают они теперь, когда даже ветерок не шелохнется?! Одно беспокойство от этой хаты. Пора, видно, распроститься с ней. Ну чего ты воешь, скаженная?

С этими мыслями Магазанник вышел во двор и только тогда понял, что произошло,— голосили не камни, а матери на соседнем подворье, они провожали сегодня своих сыновей...

А над скорбью матерей, над их слезами, будто с того света, с завыванием летели пить кровь упыри двадцатого века — те бомбовозы, которые неведомо почему несли на себе кресты.

III

> Братья и дружина! Бог никогда не отдавал Русской земли и русских сынов на поруганье, они всегда и повсюду отстаивали свою честь.
>
> *Галицко-Волынская летопись, 1425*

На опечаленных подольских нивах наступила преджатвенная пора, а немного дальше — на запад — шла неумолимо жестокая жатва.

Черными огнями до самого неба поднимались города, пылали белые, по-девичьи беззащитные села, горели растерзанные поля ржи, горела в самолетах и танках наша юность, и, поднятые огнем багряных взрывов снарядов, уходили в вечность артиллеристы.

Это было трагическое время не только для нас, но и для всей земли, хотя не все ее дети понимали и понимают это. Тогда на весы человечества жестоко были брошены жизнь и смерть, и, как казалось многим, перевешивала смерть. Своими слепыми глазницами и притемненными зелено-голубыми глазами современного василиска она уже видела тень свастики над всей планетой. С победоносным видом становился в опереточные позы Адольф Гитлер — «вождь армий, которые победили судьбу». Так, пренебрегая историей разума, возвеличил он себя недалеким умом самовлюбленного тирана. Веря в свою гениальность, веря в благосклонность к нему провидения и в гороскопы, веря в свое владычество над миром, он не верил, что конец всех тиранов одинаков, и терзал жизнь со всей сатанинской изобретательностью самого жестокого палача двадцатого века и всех веков.

Никогда еще земля не поглощала столько слез и крови...

Никогда воронье не выклевало столько глаз...

Никогда у дикой жестокости не было такой страшной жатвы...

Перед войной в какой-то зарубежной радиопередаче Данило слыхал, как диктор, говоря о «геополитике» фашизма, назвал Гитлера ангелом разрушения. Не нарочито ли ошибся ты, радиовещатель, перепутав ангела с ночным дьяволом? Ночной дьявол! Из какой страшной отравы, из каких сгустков мрака, из каких призраков средневековья вылупился ты?

Когда-то Данило в библиотеке Академии наук прочел разыскание о демонологии восточных славян.

[illegible] было в древности страшилищ, которые пугали доверчивые души и сны наших предков! Но все эти даже вместе взятые страшилища [illegible] ни в какое сравнение с Гитлером и его дьявольским сонмом.

Что же тебя, зловещий могильщик, назвавшийся «лидером нации», сделало таким? Неужели только те две опухоли, которые называются безграничной властью и расовым превосходством?.. Как и всегда, рассыплется в прах тирания, как и всегда, превратится в тлен фальшь жестоких теорий. Но чего это будет стоить нашим неутешным матерям и покалеченным народам?..

Под однообразный перестук колес болезненно бьется мысль, и ничто теперь не может успокоить сердца: ни тихий синий вечер, который медленно приближается к тебе, ни вздохи колоса, который пугливо сторонится колес, ни потемневшие степные буераки, ни те пруды, где васильковая сон-вода купает вечернюю звезду, ни те первые жницы, что жнут недозревшую рожь и слезой провожают бойцов. Ох, эти женские слезы на снопах... Да только ли на снопах?.. Не думать бы, не думать об этом, но нельзя не думать, пока ты живой.

За черным паровозом «Е» громыхают, вздрагивают, постукивают колесами две обычные платформы с необычным грузом — взрывчаткой, толовыми шашками, глицерином, селитрой, зажигательными трубками. Сначала страшно было ехать с таким грузом, да человек привыкает ко всему, даже спать на мешках со взрывчаткой. Вот и сейчас бойцы ложатся на смерть, кое-как прикрытую грубым брезентом, и только возле зеленых спаренных пулеметов, словно аисты, дежурят пулеметчики. Уже не первый раз на них оседают утренние росы и свинцовая роса войны. Поначалу, увидев, как на тебя пикирует вражеский самолет, хотелось на полном ходу соскочить с платформы, а теперь свыклись.

И снова жницы глядят из-под руки и слезами провожают их. И ни одного мужчины на полях. Вон только под двумя снопами краснеет из краснотала колыбель — может, хоть в ней под колосом растет будущий пахарь. «Дитя спит, а доля его растет». Какой же будет твоя доля, дитя?..

Чьи-то пальцы осторожно ложатся Данилу на плечо, и по телу проходит дрожь: сразу припомнился тот гнусный случай во дворе военкомата. Неужели и теперь Степочка? Да, это он, только нет уже в его руке и на лице былого нахальства.

— Чего тебе? — сбрасывает с плеча руку и хмуро смотрит на Степочку.

— Да ничего,— вздыхает тот и опускается на сундучок с толом.— Грустно стало на душе, и вообще. Вот и думаю: пойду к земляку, а то к кому здесь пойдешь, если все чужие? Еще не ложитесь?

— [illegible]

— [illegible] так как смерть витает и сверху, и под боком, и в [illegible] имеем соседство — хуже, чем на кладбище.

— Привыкай.

— Легко сказать «привыкай»! — надулся Сте[illegible] почка и ткнул пальцем в сундучок.— Один запа[illegible] тола убивает душу кислятиной. Думаю, вы тоже не очень привыкли к нему. Не дай бог детонация, так и клочка тряпья, не то что тела, со всех нас не соберут, и вообче.

— Зачем, Степочка, думать о худшем?

— А где, за какие деньги теперь возьмешь луч[illegible]шее? — И понизил голос до шепота: — Слыхали же?

— Что?

— Наши оставили Львов. Фашисты там, как капусту, шинкуют людей. Так разве это война?

— А что же это?

— Одно самоубийство. Где же та чужая территория, на которой мы должны бить врага?

— Будет и эта территория!

— Но когда же она, спрашивается в задачке, будет? Когда нас не будет?

— И такое может случиться. На то и война.

Лицо Степочки болезненно скривилось, и он безнадежно махнул рукой.

— Я, Данило Максимович, надеялся утешение [illegible]кое-нибудь услышать, а вы тоже словно политрук. Вот и мы уже завтра полезем в пасть смерти...

— А как же иначе?

— [illegible] я и думаю: а как же иначе? — что-то говорит, да чего-то не договаривает Степочка.— Уже Львов сдали...

— Не паникуй, Степочка, не паникуй,— хочет как-то успокоить его.— Увидишь, еще изменится фортуна войны.

— Если бы это увидеть, но что-то другое видится, не к тому идет. А потому закрываю язык на два замка — за губы и зубы. И спокойной ночи, хотя где теперь та спокойная ночь? Впереди или позади?..

Степочка, так и не договорив чего-то, запер язык на два замка и пошел спать. Он долго возился на мешке с селитрой, а в это время от спаренных пулеметов тихо послышался голос пулеметчика Ивана Перепелюка:

— Василь, ты спишь?

— Уже дремлю.

— А у тебя нет чего-нибудь поесть?

— О господи, неужели у тебя сейчас еда в голове? — поднялся со своего ложа веселогубый, с копной кудрей, сержант Василь Мирошник.

— Я всегда, когда волнуюсь, очень есть хочу. Такая уж у меня душа.

Мирошник тихо засмеялся:

— Душа или желудок?

— И то, и другое,— нисколечки не смущается Перепелюк.— Как-то, когда умирал мой дед пасечник, я, сидя возле него, каждый раз съедал по миске меда.

— Миске?! — не поверив, прыснул Мирошник. — И что потом было?

[illegible] скуповатый дед, глядя, как я упле-[illegible], от переживаний за убытки немного заболел. Так есть у тебя что-[illegible] выздоро-[illegible]?

— Нет. Вот лучше споем. — Мирошник тряхнул [illegible]ной кудрей и подошел к Перепелюку.

— Так спят же солдаты,— заколебался пулеметчик, у которого был незаурядный тенор.

— А мы так будем петь, чтобы не разбудить, а усыпить их. Споем нашу любимую — «Зоре моя вечірняя».

— Где там наши вечерние зори и зироньки? — даже вздохнул Перепелюк и оглянулся на те дали, которые покидали они. — Стоят себе девчата где-то под вербами, и нигде тебе ни одного хлопца. Вот бы положить руку на грудь своей зироньке и услыхать от нее: «Только без рук»... Что ж, начнем.

И тихо-тихо, то ли от житечка, то ли житечку навстречу встрепенулась песня, в лад полились два голоса:

Зоре моя вечірняя,
Зійди над горою...

Да не угадали хлопцы, что их не услышат. То тут, то там с ящичков и мешков взрывчатки начали подниматься бойцы и присоединять свои голоса к голосам пулеметчиков. Поднялся и коренастый, круглолицый лейтенант Виктор Кириленко. Он хотел прикрикнуть на певцов, но передумал и сам густой октавой поддержал их голоса.

На каком-то уже разрушенном, без стекол, полустанке услыхала эту песню пожилая, в свитке, женщина, неизвестно кого высматривавшая из темноты, и сразу заплакала.

— Мама, не плачьте! Мы вернемся! — улыбаясь, крикнул ей Мирошник.

— Ой, возвращайтесь, сыночки! Ой, возвращайтесь, родненькие! Как же нам жить без вас?..

— Он знает, что вернется,— пробубнил Степочка, который тоже подошел к певцам. — Не с богом ли советовался?

Мирошник, услыхав это, слегка, двумя пальцами, подергал Степочкино ухо:

— У тебя от страха заячьи уши растут.

— И ноги тоже,— усел Перепелюк.

За рекой уже спадал накал битвы. За рекой черными масляными огнями горели и догорали танки, немецкие и наши. За рекой, раскалывая небо и душу, дико визжали, падая на цель, штурмовики, только немецкие, и противно бухали минометы. Не плуги — бомбы, мины и снаряды высоко поднимали прибрежную землю. Она, тяжело стеная, покрывалась воронками, и они тут же заполнялись черной [illegible]. Кому и для кого захотелось вот так ко-[illegible] криницы, в которых оказывались мертвые и [illegible]?

Это было за рекой. А над рекой, на железнодо-[illegible] мосту, тоже шла битва, безмолвная битва [illegible]. По мосту с той стороны проходили и проезжали раненые, а под мостом и над мостом, стиснув зубы, бойцы лейтенанта Кириленко подвешивали к нижним и верхним поясам ферм квадратные пакеты взрывчатки, переплетали их детонирующим шнуром и скрепляли с электрокабелем, который уже был соединен с капсюлем-детонатором, что шел от толового колодца среднего быка к подрывной машинке. Эта небольшая машинка, от искры которой теперь зависела судьба и моста, и бойцов, смирным зверьком лежала на зеленом берегу реки, а возле нее, в окопчике, скрючившись, сидел молоденький русочубый сапер и, округлив глаза, напряженно ждал своего часа: он верил и не верил, что от одного движения его руки взлетит вверх такая громадина.

— Ты только погляди! — остановился возле него пораженный Иван Перепелюк.

— Что это? — испуганно поднялся сапер, которого бросило в дрожь, как от лихорадки.

— Не туда смотришь. Вон!

На том берегу из-за ивняка в заученном строю выходили оседланные кони, но ни одного всадника не было ни на них, ни возле них. Ни одного! Передние кони подошли к речке, остановились, а потом с тихим ржанием ступили в воду — и вплавь. Все они перебрались на этот берег и, позванивая стременами, понуро прошли мимо онемевших подрывников.

Вот и не стало уже всадников — кони пережили их...

По мосту пробежали пехотинцы. Пригибаясь от тяжести плит и стволов, прошли минометчики, проскочило несколько машин, на бешеном лету промчали на конях закопченные артиллеристы, потом прогромыхали броневик и два танка, от одного из них поднималась вверх угарная смолистая полоса огня. А через несколько минут из долины, нагнетая рокот, начали выползать немецкие темно-серые, с раздвоенными крестами танки. Из их вздрагивающих пушек вырывались и гасли снопы огня. За танками, держа на животах автоматы, бежали в землистых, с рожками касках автоматчики.

Побледнев, лейтенант Кириленко скатился с моста на берег, где возле машинки сидел все тот же молоденький сапер. Увидев командира, он одну руку положил на машинку, другой взялся за ключ.

— Подожди!

Вот первые танки рванулись на мост.

— Давай!

Сапер повернул ключ один раз, и второй, и третий, потом с ужасом посмотрел на отверстия зажимов: не выскочили ли из них провода? Нет, не выскочили. И тогда к лейтенанту:

— Где-то осколок перебил кабель! Что делать?!

— Бери машинку — и к платформам!

Как ветром подхватило командира. Не чувствуя онемевшего сердца, он бросился к мосту, навстречу танкам. Пот отчаяния катился с его округлого побелевшего лица. Так по-глупому может погибнуть и его труд, и его взвод. Еще не добежав до первой,

…гнутой, словно радуга, фермы, он заметил, как по мосту подползает к среднему быку сержант Василь Мирошник. Пилотка слетела с головы, и ветерок играл копной его кудрей... Увидев в руке бойца тлеющий пеньковый шнур, лейтенант понял все и невольно вздохнул. Но вот вздрогнул боец: гимнастерка его на плече начала пропитываться кровью.

Лейтенант упал на землю и тоже пополз к мосту.

— Товарищ сержант...

— Ничего, ничего,— поднял голову боец, даже улыбнулся и зачем-то показал командиру дымящийся шнур. — Возвращайтесь назад! Я сам... Отводите платформы.

Мирошник дополз до среднего быка, вцепился руками в железо фермы, нашел ногами отверстие толового колодца и осторожно опустился на смертоносный груз, который годами ждал своего часа. Тут боец вырвал уже ненужный электродетонатор, вместо него вставил обрывок бикфорда и, заколебавшись на мгновение, приложил к нему пеньковый шнур. Огненный глазок бикфорда смертью взглянул на хлопца. Он еще услыхал над собой рев и гудение вражеских танков, а со вчерашнего вечера прорвались слова песни: «Зоре моя вечірняя, зійди над горою». Вот и не взойдет больше над ним заря — оборвалась в восемнадцать неполных лет...

Блеснули молнии, содрогнулись земля и река, зловеще поднялся вверх средний бык, раздались в стороны железные фермы и настил моста, и только потом неистово прогрохотал взрыв...

На двух платформах, груженных толом, селитрой, глицерином, детонирующими шнурами, поднялись бойцы, сняли пилотки, молча поклонились речке и своему товарищу.

И только один Степочка, уже надев пилотку, не выдержал:

— Вот и возвратился один сыночек...

— Замолчи, гад! — чуть не ударил его Данило.

Степочка смерил его ненавидящим взглядом, хотел сказать что-то язвительное, да передумал и только презрительно буркнул:

— Ох уж эти ученые. Жди от них добра...

IV

То приближаясь к самому пеклу фронта, то выскакивая из его огней и механизированных лапищ, неутомимо нес свою опасную службу взвод лейтенанта Кириленко. Взрывая мосты и станции, железнодорожные пути и телеграфные линии, взвод откатывался от ада войны, чернея от копоти взрывов и боли утрат.

Почернел, постарел за эти дни и Данило Бондаренко. От командования он имел уже две благодарности — первые благодарности за разрушения. Думалось ли когда-нибудь о таком человеку, который жил зелеными всходами, белым цветом и отяжелевшим колосом своей доброй, спокойной земли? А теперь он взрывчаткой вздыбливает, обжигает ее, как кирпич, и несет пережженную пыль не только в волосах, но и в самой душе.

Сегодня тоже довелось...

Утро началось почти так, как начинались все утра этих дней. Где-то в самом небе, отрывая его от земли, бушевали пушечные громы и молнии, под небом захлебывались от перенапряжения бомбовозы, а тут, за обезлюдевшим, разрушенным полустанком, бойцы колдовали возле громоздкой, сваренной из кусков рельсов петли Червякова. Вот ее, неуклюжую, подвели под разрушенную колею, лейтенант дал знак машинисту, паровоз двинулся — и петля начала с мясом вырывать и разбрасывать по сторонам рельсы, шпалы, костыли. Работа была непосильной для железа: металл, вырывая металл, издавал скрежет и визг, затем петля начинала раскаляться и где-то на двенадцатом — пятнадцатом километре разламывалась. После этого надо было ехать в депо, снова сваривать рельсы и все начинать сначала.

Именно тогда, когда треснула петля, к лейтенанту Кириленко на коне без седла прискакал связист из батальона и подал пакет.

По лицу командира бойцы поняли, что ничего утешительного в том пакете не было.

— По коням! — махнул рукой лейтенант, а сам быстро подошел к запыленному машинисту, который, словно скворец из скворечни, выглядывал из своего оконца.

— В депо? —спросил тот.

— Нет, немного ближе,— показал кружочек на карте. — Гоните как только можно!..

— Есть гнать как только можно! — по-военному ответил машинист, хотя был сугубо штатским человеком.

Степная станция встретила их зеленым шумом молодых осокорей и красным цветом мальвы. Начальник станции, прочитав приказ, побледнел, почему-то скинул картуз и побежал выводить своих подчиненных из помещения станции. А бойцы Кириленко не мешкая стали ее минировать. Потом наступила очередь большого каменного зернохранилища, что стояло за дорогой. По обеим сторонам от нее бежали к блестящим нитям колеи вспышки цветущих мальв, а за колеей, на обсаженной акациями дороге, беспокойно топтались четверо оседланных коней.

Когда Данило со взрывчаткой на плечах вошел в зернохранилище, его поразило отборное золото пшеницы, которое поднималось чуть ли не под самую крышу.

«Вся сортовая»,— подумал он и вздохнул, не отваживаясь сбросить на это богатство смертоносный груз.

— Жаль превращать пшеницу в пепел? — тихо спросил лейтенант Кириленко, который тоже вышел из хлеборобского рода.

— Еще как жаль. Я этой пшеницей все поле до самого неба засеял бы.

— А мы до самого неба поднимем дым пожарища. — Лейтенант зачерпнул горсть зерна. — Когда

— В этой пшенице перепелка птенцов выводила...— горько усмехнулся: — Ох, эти крестьянские горе-

— Прорвались немцы?

— Прорвались... Делайте ямки! — приказал бой-

Солдаты руками выгребли в пшенице ямки, положили в них смертоносные мешки, немного присыпали и начали соединять детонирующим шнуром. Когда все было готово, лейтенант еще раз с грустью окинул взором горы золотой пшеницы и спросил Данила:

— Подожжешь? Не дрогнет рука?

— Тут и каменная рука дрогнула бы... Но должен поджечь.

— Смотри.

— Лучше было бы не смотреть на такое.

Данило вытянул из кармана обрывок пенькового шнура, зажег, дунул на него и, увязая в пшенице, подошел к тому мешку, к которому была прилажена зажигательная трубка. Поднеси огонь к ней — и весь человеческий труд станет тленом. Никогда в жизни не приходилось ему бросать на ветер хотя бы горсть зерна, а сейчас он предавал огню сотни тысяч пудов... Ох эти крестьянские горести...

Когда из зернохранилища повыскакивали бойцы, Данило поднес огонь к зажигательной трубке и бросился бежать от того обреченного золота, которое уже не порадует землю, человека и птицу. Данила, выбежавшего из темноты, ослепило солнце и цвет мальвы, в глазах задрожали слезы. Но не так понял эти слезы лейтенант Кириленко.

— Терпи, казак, атаманом будешь.

— Не много ли теперь появится атаманов?..— Данило в напряжении обернулся к зернохранилищу, с опаской глядя на него. Вот оно стремительно поднялось вверх, на миг застыло, словно остановилось в воздухе, и, окутываясь пылью, начало разваливаться. И только после этого прогремел взрыв. Теперь поднявшийся дым и огонь сразу начал пожирать и отравлять людской труд.

— Вот и все. Ни себе, ни людям,— хмуро сказал лейтенант. — На конях умеешь ездить?

— Почему же не умею?

— Тогда с Ромашовым и Магазанником оставайтесь на станции. — И пошел отдавать приказ, чтобы весь взвод ехал в депо, где теперь расположился батальон.

Когда паровоз, набирая скорость, исчез за кромкой леса, лейтенант велел Ромашову и Магазанику взобраться на крышу станции и следить за всем, что происходит вокруг. Данила он оставил на перроне, а сам пошел в комнату начальника станции. Собираясь лезть на крышу, Степочка, отупевший в эти дни то ли от взрывов, то ли от потаенных мыслей, спросил Данила:

— Долго ли мы будем уничтожать все на земле?

— Разве это мы уничтожаем? Это беда наша орудует.

— Не думал я, что вы пустите под огонь эту пшеницу,— показал рукой на пожарище, от которого сладковато веяло дымом и тоской святого хлеба.

— Я тоже не думал,— тихо ответил Данило, не в силах оторвать взгляд от руин, сотворенных его же руками. — Лезь на крышу!

— Бондаренко, ничего не видно? — высунул голову из окна лейтенант.

Данило пристально оглядел все пространство, которое сизо дозревало в трепетном мареве лета.

— Ничего, только пшеница горит.

— А не слышишь — будто пушки ближе бьют?

— Будто ближе. — И вдруг в дальних полях он увидел, как из-под знойной мглы вырвалось несколько танков. — На западе появились танки.

— Танки! — крикнул с крыши Ромашов.

— Наши?

— Не видать. Кажется, немецкие.

Лейтенант выскочил из дома, подбежал к Данилу, поднял к глазам бинокль.

— Немецкие.

— К нам идут. Надо скорее по коням — и драпать! — заметался на крыше Степочка.

— Помолчи немного! — обозлился Ромашов. Он первый заметил, как на проселочную дорогу выскочили три пушечные упряжки, развернулись и с ходу ударили по танкам. Один из них клюнул пушкой книзу и остановился.

— Прощай, жизнь,— сказал Степочка.

— Чего ты раскис? Со страху зубы застучали? — вытаращился на него всегда спокойный Ромашов.

— Тю на тебя! Это ж я не о себе, а о тех пушках-сорокапятках. Разве не знаешь, что их прозвали «Прощай, жизнь»? О, а танки повернули от них. Диво!

Вправду, танки, отстреливаясь, повернули назад, но не растаяли вдали, а через какое-то время растянулись цепочкой у самого небосклона.

— Как там? — обратился к Ромашову лейтенант.

— Танки идут стороной.

— Ох, как бы не отрезали нас,— заскулил Степочка.

Лейтенант через окно вскочил в комнату начальника станции, позвонил и, подавляя раздражение, положил трубку.

— Что батальон? — спросил Данило.

Горькие складки задрожали возле губ лейтенанта.

— Сказали, чтобы не паниковать... Это мы паникуем!..

В это время со стороны небольшой пристанционной площади Данило услыхал скрип возов и тихое понукание:

— Гей-гей, волы! Гей-гей!

Когда он взглянул за линию осокорей, то сначала не поверил своим глазам: с обсаженной мальвами улицы к зернохранилищу тянулось до двадцати подвод, запряженных большерогими степными волами. Возле них в белых полотняных сорочках медленно, словно в вечность, шли седоглавые деды. И так они шли, что это уже казалось не действительностью, а

кадрами необычного фильма, экраном для которого стала вся земля и все небо.

Вереница приближалась к пожарищу, и теперь тяжело заревели волы, боясь подойти к огню. Деды начали словом и руками успокаивать их, потом взяли рядна с возов, подошли к пшенице и вдруг, словно сговорившись, бросили рядна, упали на них и стали срывать с зерна обугленную корку. Через какое-то время на солнце, дымясь, блеснула пшеница.

Данило кинулся к пожарищу.

— Люди добрые! — крикнул изо всех сил.

Перед ним медленно поднимались деды, бросали на него тусклые от лет и горя взгляды.

— Чего тебе?

— Езжайте отсюда скорее. Уже вот-вот немцы подойдут! Слышите стрельбу? — махнул рукой в даль, которую потрясали взрывы.

И тогда к нему подошел величавый, с высо вдоль и поперек перепаханным морщинами ли на одной брови у него темнела пыльца сож зерна, на другой держалась солнечная пыль вы. Он успокаивающе посмотрел на Данила:

— Ты не тревожься, сыну. Они себе с потому как такая их собачья служба, а поле сеять: земля теперь переходит в наш

— Так могут же убить!..

— Это мы тоже знаем: время такое — кр литное. Потому все в белые сорочки оделись. К богу надо в белой сорочке идти. — Старик глянул на небо, что, верно, ждало его, зачерпнул ведром продымленной пшеницы и понес к своему возу, где беспокойно стояли степные косоокие волы. На их лоснящихся рогах отражался отблеск пожарища, на их губах от перепуга выступили капельки пота.

(Окончание следует)

Михаил Афанасьевич Стельмах
ЧЕТЫРЕ БРОДА
Роман

Редактор Л. ХАНДРУЕВА

Художественный редактор *С. Гераскевич* Технический редактор *Л. Ковнацкая*
Корректоры *Т. Филиппова, Л. Овчинникова*

Фото Н. Кочнева

Сдано в набор 05.01.82. Подписано в печать 12.02.82. А04036. Формат 84×108 1/16. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 12,6. Уч.-изд. л. 16,661. Тираж 2 340 000 экз. (2-й завод 500 001—2 340 000 экз.). Заказ 252. Цена 1 р. 47 к.

Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Г. Чехов Московской обл.

Зак. 665

Михаил Афанасьевич Стельмах

ЧЕТЫРЕ БРОДА

Роман

Редактор Л. ХАНДРУЕВА

Художественный редактор *С. Гераскевич* Технический редактор *Л. Ковнацкая*
Корректоры *Т. Филиппова, Л. Овчинникова*

Фото Н. Кочнева

Сдано в набор 05.01.82. Подписано в печать 12.02.82. А04036. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 12,6. Уч.-изд. л. 16,661. Тираж 2 340 000 экз. (2-й завод 500 001—2 340 000 экз.). Заказ 252. Цена 1 р. 47 к.

Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Чехов Московской обл.

Зак. 665

Рукописи ранее не опубликованных произведений не рассматриваются.

PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190